

ОКтябрь

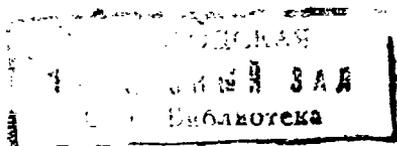
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

15/70.

ПЯТАЯ—ШЕСТАЯ
КНИГА

МАЙ—ИЮНЬ



ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1942

Содержание

	<i>Стр.</i>
Доклад Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. Молотова в Верховном Совете СССР	3
В. ИЛЬЕНКОВ — Жизнь, Весна, Глаза, <i>рассказы</i>	8
С. ЦИПАЧЕВ — Тебе, Новгород, <i>стихи</i>	19
В. КОСТЫЛЕВ — Иван Грозный, <i>роман</i>	20
А. ПОЛЯКОВ — Белые мамонты	81
А. ЯПИН — Землянка, <i>стихи</i>	95
АВ. ИСААКЯН — Песня Зили-Султана, Чингиз-хан, Гарибальднец, <i>новеллы</i> . .	96
ПУБЛИЦИСТИКА	
Ген.-полковник О. ГОРДОВИКОВ — Героическая конница русского народа . .	102
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ИСКУССТВА	
МИХАИЛ НЕСТЕРОВ — Н. А. Ярошенко	113
С. ДУРЫЛИН — Рыцарь театра (А. Южин-Сумбатов.)	121
КРИТИКА	
Е. БЕДРИНА — Испытание характера (К. Симонов.)	138
Н. НИКИТИН — Поэт-трибун-патриот (В. Маяковский.)	144

ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Доклад Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. Молотова в Верховном Совете СССР 18 июня 1942 года

Товарищи депутаты!

Правительство признало необходимым представить Верховному Совету на рассмотрение и ратификацию англо-советский Договор, заключенный 26 мая в Лондоне. Это сделано в виду важного политического значения этого Договора. Договор укрепляет сложившиеся между Советским Союзом и Великобританией дружественные отношения и взаимную военную помощь в борьбе с гитлеровской Германией и превращает эти отношения в прочный союз. Договор определяет также общую линию наших действий вместе с Англией в послевоенный период. Всем своим содержанием Договор подчеркивает его большое политическое значение не только в развитии англо-советских отношений, но и в дальнейшем развитии всей совокупности между-народных отношений в Европе.

Англо-советский Договор, как и результаты переговоров, которые мы, по поручению Советского Правительства, пришлось вести в Лондоне и в Вашингтоне, свидетельствуют о серьезном укреплении дружественных отношений между Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Для народов Советского Союза, которым приходится нести главную тяжесть борьбы с гитлеровской Германией, это имеет тем большее значение, чем больше это ускоряет нашу победу над германскими захватчиками. Договор, как и другие результаты переговоров в Лондоне и Вашингтоне, должны ускорить разгром гитлеровской Германии и ее сообщников по агрессии в Европе и, вместе с тем, послужат надежной базой для дальнейшего развития дружественных отношений между СССР и Великобританией, а также между обеими странами и Соединенными Штатами Америки. Договор и достигнутая как между Советским Союзом и Англией, так и между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки договоренность по ряду важнейших вопросов нынешней войны и о совместной работе после войны означают укрепление боевого содружества всех свободлюбивых народов, возглавляемых в наше время Советским Союзом, Англией и Соединенными Штатами.

Я напомним события, которые предшествовали заключению англо-советского Договора 26 мая и которые явились главными этапами в развитии новых, дружественных отношений между Советским Союзом и Великобританией.

Известно, что уже в день нападения Германии на Советский Союз — 22 июня прошлого года — Премьер-Министр Великобритании г. Черчилль выступил с твердым заявлением, что Англия окажет помощь Советскому Союзу в войне с германскими захватчиками, так как английский народ считает разгром гитлеровской Германии общей задачей с народами Советского Союза. (А п л о д и м е н т ы). Последовавшие после этого переговоры с английским послом в Москве г. Криппсом, в которых тов. Сталин принял самое активное участие, привели к подписанию известного

англо-советского соглашения 12 июля 1941 года. В этом соглашении правительства СССР и Великобритании взаимно обязались оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии, а также не вести переговоров и не заключать ни перемирия, ни мира, кроме как с обоюдного согласия.

Это соглашение сорвало планы Гитлера на разведение его противников и гитлеровские расчеты на борьбу в одиночку с каждым из них. 12 июля прошлого года произошел поворот в развитии англо-советских отношений. Тогда было положено начало дружбы и боевого сотрудничества между нашими странами в борьбе с общим заклятым врагом и в интересах великого будущего наших народов.

Следующим этапом развития англо-советских, а вместе с тем, и советско-американских отношений, была известная конференция трех держав в Москве при участии представителя Великобритании г. Бивербрука и представителя США г. Гарримана, закончившая свои работы 1 октября прошлого года. На этой конференции был выработан план военных поставок в Советский Союз из Англии и Соединенных Штатов. В результате этого танки, самолеты и другое вооружение, а также такие дефицитные материалы, как алюминий, никель, каучук и другие, стали поступать в Советский Союз в соответствии с крушной программой поставок, выработанной на Московской конференции.

Мы должны, конечно, помнить, что доставка вооружения и материалов в Советский Союз представляла и представляет не малые трудности. Занимающиеся разбоем и пиратством в Атлантическом океане германские военные корабли, германские подводные лодки и самолеты делают постоянные налеты на суда, транспортирующие это вооружение в Советский Союз. Ряд судов с грузами для СССР, несмотря на конвоирование их военно-морскими силами наших союзников, погибли на пути к Мурманску и Архангельску. Тем не менее, поставки вооружения и материалов из США и Англии не только не сократились, а усилились за последние месяцы. Эти поставки являются необходимым и важным дополнением к тому вооружению и снабжению, которое Красная Армия получает в своей подавляющей массе из наших внутренних ресурсов. Мы считали и считаем необходимым заботиться об увеличении и улучшении этих поставок как теперь, так и в дальнейшем. Надо также признать, что осуществление этих поставок сыграло и будет играть в дальнейшем важную роль в укреплении дружественных отношений между СССР, Англией и США.

Новым важным моментом в развитии англо-советских отношений был приезд в Москву в декабре месяце прошлого года Министра Иностранных Дел Великобритании г. Идена и плодотворные переговоры, которые с ним велось тов. Сталиным при моем участии. Эти переговоры получили свое дальнейшее развитие в последующем. При этом через некоторое время выяснилось, что переговоры обещают привести к определенным положительным результатам.

Тогда в апреле месяце последовало предложение Британского Правительства о том, чтобы Советское Правительство направило меня в Лондон для завершения этих переговоров и для обсуждения соответствующего проекта Договора.

В это же время Президент Соединенных Штатов Америки обратился к тов. Сталину с предложением направить меня в Вашингтон для переговоров по важным военно-политическим вопросам, имеющим неотложный характер.

Как вам известно, моя поездка, вместе с группой ближайших сотрудников, состоялась, и я имел продолжительные дружественные беседы как в Лондоне с г. Черчиллем, г. Иденом и другими деятелями Британского Правительства, так и в Вашингтоне с г. Рузвельтом, г. Гопкинсом, г. Хэллом и другими руководящими представителями США. В этих переговорах в Лондоне участвовал советский посол г. Майский и в Вашингтоне — советский посол г. Литвинов. Кроме того, в обсуждении военно-стратегических вопросов близкое участие принимали начальники всех военных штабов Великобритании и Соединенных Штатов, а также соответствующие советские военные представители.

В результате успешных переговоров, в Лондоне, 26 мая был подписан «Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенным Королевством в Великобритании о Союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны».

Договор состоит из частей: первая часть содержит две статьи, определяющие взаимоотношения СССР и Великобритании на период войны с гитлеровской Германи-

ей, а вторая часть содержит статьи, определяющие взаимоотношения обеих стран в послевоенный период.

Что касается первой части Договора, то можно сказать, что она в основном повторяет содержание известного англо-советского соглашения от 12 июля прошлого года, превращая это соглашение в формальный Договор. Уточняя прошлогоднее соглашение, эта часть Договора говорит об оказании друг другу военной и другой помощи и поддержки не только против Германии, но и против «всех тех государств, которые связаны с ней в актах агрессии в Европе».

Вторая часть Договора является сравнительно новой. Значение этой части Договора заключается, прежде всего, в том, что здесь впервые устанавливаются основные принципы дружественного сотрудничества СССР и Великобритании после войны. Предусматривается также сотрудничество обеих стран с другими объединенными нациями при заключении мира и в послевоенный период, при чем это сотрудничество мыслится в соответствии с основными положениями известной Атлантической хартии, к которой в свое время присоединился и СССР. Не может быть сомнения, что такого рода соглашение имеет большое значение для всего будущего развития Европы.

Обе страны пришли к соглашению совместно работать после восстановления мира «в целях организации безопасности и экономического процветания в Европе». В Договоре говорится, что обе страны «будут принимать во внимание интересы объединенных наций в осуществлении указанных целей и будут также действовать в соответствии с двумя принципами — не стремиться к территориальным приобретениям для самих себя и не вмешиваться во внутренние дела других государств». Эти принципы Договора находятся в полном соответствии с известным заявлением главы Правительства СССР тов. Сталина 6 ноября прошлого года:

«У нас нет и не может быть таких целей войны, как захват чужих территорий, покорение чужих народов, все равно, идет ли речь о народах и территориях Европы, или о народах и территориях Азии, в том числе и Ирана».

Подчеркивая отсутствие стремления к территориальным приобретениям для самих себя и невмешательство во внутренние дела других государств, Советский Союз и Великобритания провозглашают дружественные принципы своей политики в отношении всех свободолюбивых народов и, вместе с тем, указывают на коренное отличие их политики от агрессивной политики гитлеровской Германии, которая волею за захват территорий других народов и за их порабощение. В этой связи следует напомнить слова тов. Сталина о целях нашей отечественной освободительной войны против фашистских захватчиков, обращенные еще 3-го июля прошлого года к народам Советского Союза:

«Наша война за свободу нашего отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера». (А н л о д с м е н т ы).

В соответствии с указанными выше целями и принципами Договора, в нем заявляется, что оба правительства стремятся «объединиться с другими единомышленными государствами в принятии предложений об общих действиях в послевоенный период в целях сохранения мира и сопротивления агрессии», а также к тому, чтобы после окончания войны «сделать невозможным повторение агрессии и нарушение мира Германией или любым из государств, связанных с ней в актах агрессии в Европе».

Обе страны также договорились, чтобы в случае, если одна из них в послевоенный период снова подвергнется нападению со стороны Германии или другого агрессивного государства, то другая сторона «сразу же окажет договаривающейся стороне, вовлеченной таким образом в военные действия, всякую военную и другую помощь и содействие, лежащие в ее власти. Ясность и категоричность этого взаимного обязательства представляют большое значение для наших стран, стремящихся к тому, чтобы обеспечить прочный мир после победоносного окончания этой войны.

Всем, далее, понятна важность того, что оба правительства договорились, чтобы все указанные обязательства, относящиеся к послевоенному периоду, действовали в течение длительного срока. При этом предусмотрен 20-летний срок и возможность его продления.

Спрашивают еще, не заключено ли кроме опубликованного Договора каких-либо секретных соглашений между СССР и Великобританией? Со всей ответственностью я должен заявить, что такие предположения не имеют под собой никакого основания, что никаких секретных англо-советских соглашений не имеется, как не имеется и никаких секретных советско-американских соглашений.

После всего сказанного нельзя не присоединиться к словам г. Идена в его речи при подписании Договора:

«Никогда еще в истории наших двух стран наша ассоциация не была столь тесной. Никогда наши взаимные обязательства в отношении будущего не были столь совершенными. Это, безусловно, является счастливым предзнаменованием».

Договор встретил сочувственный отклик как в СССР, так и в Англии. В широких народных массах обеих стран укрепление дружбы и сотрудничества в борьбе с германско-фашистскими захватчиками, насильниками, угнетателями получило горячее одобрение и поддержку. Соединенные Штаты Америки, которые были своевременно информированы о ходе переговоров и заключении Договора, а также другие свободолюбивые страны, испытавшие гнет и кровавое насилие гитлеровских орд, или находящиеся под такой угрозой, с одобрением встретили наш Договор с Англией. В лагере же наших врагов, в лагере германских фашистов и их сообщников, Договор вызвал растерянность и злобное шипение. Лагерь наших врагов оказался застигнутым врасплох. Тем сильнее Договор будет служить нашему правому, справедливому, освободительному делу. (Продолжительные аплодисменты).

При всей важности вопросов, которым посвящен Договор и которым было уделено большое внимание в лондонских переговорах, эти переговоры, как вам известно, не ограничивались только указанными вопросами. В Лондоне, как и в Вашингтоне, обсуждались и другие важные вопросы. Дело идет главным образом о вопросах, теснейшим образом связанных с актуальными проблемами нашей войны против гитлеровской Германии.

Проблемам второго фронта в Европе, естественно, было уделено серьезное внимание как при переговорах в Лондоне, так и в Вашингтоне. О результатах этих переговоров в одинаковой форме говорят как англо-советское, так и советско-американское комюнике. В обоих комюнике заявляется, что при переговорах была достигнута «полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году». (Продолжительные аплодисменты). Такое заявление имеет большое значение для народов Советского Союза, так как создание второго фронта в Европе создаст непреодолимые трудности для гитлеровских армий на нашем фронте. Будем надеяться, что наш общий враг скоро почувствует на своей спине результаты все возрастающего военного сотрудничества трех великих держав. (Бурные, продолжительные аплодисменты).

Кроме того, обсуждались вопросы дальнейшего улучшения и увеличения военных поставок Советскому Союзу из Соединенных Штатов и Англии. И в этом отношении можно засвидетельствовать положительные результаты. Со второй половины текущего года военные поставки и снабжение для СССР со стороны союзников будут увеличены и ускорены. (Аплодисменты). Это видно, прежде всего, по увеличивающимся размерам поставок из США. Как известно, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты Америки решили предоставить Советскому Союзу заем в сумме 1 миллиарда долларов для оплаты военных поставок в Советский Союз. В новой программе поставок Соединенные Штаты Америки определяют общую их сумму в размере 3 миллиардов долларов. (Аплодисменты). Таким образом, мы имеем дальнейший существенный рост в отношении военно-экономической помощи Советскому Союзу со стороны Соединенных Штатов Америки, а также согласие Англии на дальнейшее улучшение военных поставок.

В связи с этим надо признать важнейшее значение подписанного в Вашингтоне 11 июня с. г. «Соглашения между Правительствами Союза Советских Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии», по примеру такого же соглашения между США и Англией. Это соглашение имеет предварительный характер и предусматривает только основы будущего соглашения между двумя правительствами по этому вопросу. Значение этого советско-американского Соглашения в том, что оно не только исходит из признания факта установившегося боевого сотрудничества

Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в нынешней войне против гитлеровской Германии, но и устанавливает согласованность действий между обеими странами в послевоенный период. Соглашение означает договоренность между СССР и США в вопросе об улучшении международных отношений после войны в интересах прочности мира. Поэтому Вашингтонское соглашение имеет большое значение как для Соединенных Штатов и Советского Союза, так и для других народов.

Наконец, в Вашингтоне, как и в Лондоне, обсуждались также все основные проблемы сотрудничества Советского Союза и Соединенных Штатов в деле обеспечения мира и безопасности для свободлюбивых народов после войны. И в этом, как и в других основных вопросах наших взаимоотношений, стороны с удовлетворением отмечали взаимное понимание и единство взглядов.

Считаю необходимым заявить, что в отношении меня, как представителя СССР, были проявлены сердечность и исключительное гостеприимство как в Лондоне, так и в Вашингтоне. Особо я должен упомянуть о личном внимании и активнейшем участии в беседах Президента США г. Рузвельта и британского Премьер-Министра г. Черчилля, которым я выражаю свою искреннюю признательность. (Продолжительные аплодисменты).

Во всем этом мы видим укрепление международных позиций Советского Союза. Новыми и новыми фактами подтверждаются слова тов. Сталина в первомайском приказе:

«Что касается международных связей нашей родины, то они окрепли и выросли в последнее время, как никогда. Против немецкого империализма объединились все свободлюбивые народы. Их взоры обращены к Советскому Союзу. Героическая борьба, которую ведут народы нашей страны за свою свободу, честь и независимость, вызывает восхищение всего прогрессивного человечества. Народы всех свободлюбивых стран смотрят на Советский Союз, как на силу, способную спасти мир от гитлеровской чумы. (Аплодисменты). Среди этих свободлюбивых стран первое место занимают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, с которыми мы связаны узами дружбы и союза и которые оказывают нашей стране все большую и большую военную помощь против немецко-фашистских захватчиков». (Аплодисменты).

Договор, как и результаты переговоров в Лондоне и Вашингтоне в целом, свидетельствуют о том, что узы дружбы и союза между Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами Америки крепнут и становятся все теплее. В этом мы видим международное признание силы и достигнутых успехов Красной Армии в борьбе с заклятым врагом всех свободлюбивых народов, в борьбе с Гитлером и его кровавыми приспешниками. В этом мы видим также подтверждение правильности внешней политики нашего правительства, которое неуклонно заботится об укреплении дружественных отношений с Великобританией и Соединенными Штатами Америки, а также со всеми другими свободлюбивыми народами — в интересах ускорения разгрома гитлеровских орд и изгнания их из пределов нашей страны и во имя торжества дела всех свободлюбивых народов, объединенных в борьбе за свое существование и счастливое будущее. (Продолжительные аплодисменты).

Договор с Англией, а также результаты переговоров в Лондоне и Вашингтоне, укрепляют нашу уверенность, уверенность Красной Армии и всего советского народа, в том, что объединенные силы противников гитлеровской армии растут и сплачиваются все больше. Они укрепляют нашу уверенность в том, что близится разгром германских захватчиков, что теперь наша победа над разбойничьим германским империализмом будет значительно ускорена. (Аплодисменты). Крепнущая Красная Армия, несокрушимый советский тыл и растущая военная помощь наших союзников разобьют все и всякие планы немецко-фашистских захватчиков. Наши силы крепнут, наша уверенность в победе сильна, как никогда. (Аплодисменты).

По поручению правительства я обращаюсь к Верховному Совету с предложением ратифицировать представленный Договор, как полностью отвечающий интересам советского народа. (Продолжительные аплодисменты).

Под великим знаменем Ленина — Сталина мы ведем нашу героическую освободительную борьбу с германским фашизмом. Под великим знаменем Ленина — Сталина мы доведем эту борьбу до победоносного конца, до торжества дела нашей родины и всех свободлюбивых народов. (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, возгласы: «Да здравствует товарищ Сталин!»).

ЖИЗНЬ

Р а с с к а з

I

По разбитой проселочной дороге идет шагом гривастый конь, запряженный в маленькую тележку, — она кажется почти игрушечной, потому что человеку, сидящему в ней, тесно. Человек этот великанского роста, в серебристой куртке из тюленьего меха, широкий в кости, с крупными, резкими чертами лица — председатель Угодско-заводского районного исполкома, Гурьянов.

Навстречу едет веснучатый паренек на рыжей кобылке и усердно нахлестывает ее кнутом. Кобылка тянется изо всех сил, бежит вся в мыле.

— Эй, стой-ка! — останавливает его Гурьянов, голос его звучит сердито, грубо. — Из какого колхоза?

— Из Ильинского, Михаил Алексеевич, — отвечает паренек, узнав председателя.

— Как зовут?

— Никита...

— Зачем коня горюшь? Видишь, какая скверная дорога?

— Вижу, Михаил Алексеевич, да председатель-то наказывал поскорей ехать за ветеринаром. Свины у нас что-то болеют... Вот и погоняю.

— Погонять и дурак сможет! А ты видишь, что дорога плохая, сойди и пешочком иди, как твой батька ходил, когда на своем коне ездил. Так ведь ездить надо?

— Так, Михаил Алексеевич! Понятно! — торопливо отвечает Никита и весь мокрый от напряжения слезает с телеги.

Гурьянов скрывается за поворотом, слышен стук колес по корням деревьев, и паренек, облегченно вздохнув, вытирает рукавом потный лоб.

«Пу, и велик же он!» — восторженно думает Никита, припоминая огромную фигуру Гурьянова.

А Гурьянов едет и думает: «Пу, зачем накричал на парня? Поучать легко, а ты вот хорошую дорогу сделай... Не век же ездить шагом, как наши отцы ездили...»

Он въезжает в лес, такой густой, что кроны деревьев сплетаются вверху сплошным сводом, сквозь который струится зеленоватый свет. Воздух звенит от раскатистых трелей зблика. Нежно, меланхолически посвистывает иволга, и Гурьянов вспоминает глиняную свистульку, ярмарку, свое далекое детство... Такую свистульку можно было купить за копейку. Гурьянов наполнял ее водой и, забравшись в заросли лопуха, часами извлекал грустные звуки, удивляясь, почему у глины такой печальный голос.

У дороги — магазин. Гурьянов привязывает лошадь. Войдя в магазин, он долго оглядывает полки, что-то отыскивая среди посуды, коробок с перцем, горчицей, зубным порошком.

— Чего прикажете? — спрашивает продавец.

— Свистульку.

— Шутить изволите! — хихикает продавец, подмигивая покупателям.

— Без всяких шуток. Почему свистульками не торгуете? — сурово спрашивает Гурьянов. — Детишкам ведь нужна утеша. Сам-то в детстве высвистывал?

— Выгсвистывал! — Продавец мягко улыбнулся, и лицо его стало обыкновенным, человеческим.

— Да ведь теперь их и делать перестали, — мрачно сказал человек со множеством карандашей в карманчике пиджака, исподлобья глядя на Гурьянова.

— Это почему же?

— Суровая жизнь у нас... Не до свиста.

— Не согласен! — воскликнул старичок с розовым маленьким личиком. — Не в том се-

крет! А в том, чтобы мастеровых людей, которые игрушки делать могут, поддержать. Забыли их, забросили, Михаил Алексеевич! Я вот знаю одного — на все голоса может! Под соловья может. Раскатись кадушки!

— А-а, «Раскатись?» Здравствуй, старик,— приветствовал его Гурьянов.

— Забыли стариков, Михаил Алексеевич, прямо скажу!— строго сказал старик.— Взять хотя бы меня. Я ведь какой мастер! На сотню верст кругом обо мне слава раньше ходила — не было лучше бондаря. А теперь вот помру и рукоделие с собой унесу в могилу. А я бы обучить мог хорошего парня своему ремеслу... Лесу у нас видимо-невидимо. Чего бы я наделал из этого лесу! Всякой всячины. Тут тебе и ведра, и ушаты, и шайки для бань, и веретена, и пенульки... И свистулек деревянных, свирелей, дудочек... Запело бы дерево!

— Ну, уж запоет!— презрительно сказал человек с карандашами.

— А что ты понимаешь?! Скрипка из чего? Из дерева. Балалайка из чего? Из дерева. Наступья труба из чего? Из бересты. Поет дерево, раскатись кадушки!— старичок в великом возбуждении хлопал себя по бедрам, видимо, он был задет за самое больное место.

Гурьянов с любопытством смотрел на него, и ему нравилось в этом человеке горение творческой души, тоскующей по любимому делу.

— Поедем к тебе, старик,— сказал он.

Старый бондарь, растроганный вниманием, взволнованно рассказывал, какое дерево нужно для бочек под масло, какое для ушатов и корыт, а Гурьянов упорно думал о человеке с мрачным лицом и карандашами в карманчике пиджака.

— Кто это?— спросил он бондаря.

— Меркулов. Неужто не знаешь? Он же у нас теперь в потребсоюзе бухгалтером служит. Смутный он человек.

— Какой?

— Темный душой. Он у нас председателем колхоза был и в комсомольцах состоял даже... А потом душа-то на старое повернула. До колхоза-то у него хозяйство какое было! Две лошади, три коровы, молотилка, косилка... пасека, сад. Вот и незаладилась у него с колхозом, вразвал дело пошло. Ну, и он прямо говорил кругом: «Не выйдет ничего с колхозами...» Его на пять лет и отправили в дальние места за такие речи. А теперь вишь — «не до свисту»... «суровая жизнь»... Вот его прежний дом стоит,— показал бондарь на дом в саду.— Дом этот у него мы отобрали под колхоз. А он все кружится тут, возле своего друга Трошкина, нашего председателя... Тоску-зlobу свою вином заливает...

При въезде в деревню стоит разлохмаченная избушка, живет тут бабушка Репкина,— старая, больная и умная. Пока старый бондарь открывал ворота, Репкина успела заметить, что едет Гурьянов. Она вышла на дорогу и поклонилась.

— Лексенч, опять я к тебе с жалобой. Трошкин дров не дает. Неси, говорит, водки. А где я, старая, ее возьму? Уж ты защити меня, Лексенч...

— Давно я добираюсь до вашего Трошкина,— сказал Гурьянов.— Передай, что я вечером заеду, пусть собирается народ. Шотолкуем.

— Это хорошо, Лексенч. А еще бы ты склопотал нам больницу. Далеко нам ездить в район. А без больницы нам пельзя.

— Скоро начнем строить в Овчинные больницу. Вот еду место выбирать...

— Все ты об нас думаешь, Лексенч. А кто про тебя думать будет? Вон и пуговица огорвалась, а принить некому. Снимай-ка, я припру, пока ты стаканчик молочка выпьешь.

— Молока выпью, бабушка.

Пока бабушка пришивает пуговицу на куртку из шкурки невиданного зверя, Гурьянов пьет молоко и, оглядывая прогнившие стены, покачивает головой.

— Мы тебя, бабушка, в дом Меркулова поселим.

— Ой, боюсь я этого человека, Лексенч! Трошкин не допустит...

— А мы Трошкина по шалке... Ну, спасибо тебе за пуговицу, за молоко, за ласку...

Репкина долго стоит на крыльце, приложив ладонь к глазам, и шепчет ласковые напутственные слова. Все удивительно в этом человеке!

За деревней по обеим сторонам дороги высокая рожь. Гурьянов привязывает лопаль к березке и идет по меже среди шелестящих колосьев.

Трепчат кузнечики. Над темнозелеными волнами ржи низко летают ласточки, а Гурьянов все идет и идет, вдыхая сладковатый запах цветущей ржи. Он останавливается, захватывает в широкие ладони свои крупные колосья и, подержав их, бережно отпускает.

Он идет, и на лице его проступает легкая улыбка довольства всем, что его окружает,— полями, чистым небом, полетом ласточек, запахом цветущей ржи и полевых цветов. Улыбается потому, что рожь не простая, а чистопородная. И только Гурьянов знает, сколько сил нужно было затратить, чтобы создать семеноводческий этот колхоз — рассадник высоких урожаев.

Он бродил часа два, забыв о лошади. Она попрежнему стояла под березкой, отбиваясь

от оводов. Вожжи свалились под ноги и были затоптаны в навоз. А рядом стоял Никита.

— Вижу, ваш жеребец. Думаю, надо подождать, вместе поедем,— сказал он.

— А я любовался вашими посевами... Богатый урожай будет у вас,— проговорил Гурьянов, стараясь незаметно высвободить вожжи из-под копыт.

— Озолотимся!— важно ответил Никита, польщенный тем, что Гурьянов разговаривает с ним, как с равным.

— А как ты думаешь, Никита... Если мы всем районом возьмемся делать дорогу на Тарутино? Выйдем с лопатами. Сделаем?

— Хорошее дело, Михаил Алексеевич!— сразу загорелся Никита, испытывая прилив нежности к этому большому человеку.— Я сегодня же соберу комсомольцев, и мы провернем! Сигнал дадим всему району!

...Угрюмы необъятные угодские леса! Глухой край. Но Гурьянову он милей всех, потому что здесь много дела. И нравится ему ездить без отдыха по лесным сумеречным дорогам и что-нибудь придумывать такое, чего не было до него, Гурьянова.

И вот застучали в лесах топоры, зашел пила. В мастерских промысловых артелей запаривали дуги, ободья, санные полозья, стругали дубовую клепку для бочек под масло. Розовый старичок «Раскатись» застучал обухом по ореховым обручам, нагоняя их на звонкие бока упатов и бадей. Запело дерево. На базарах появились деревянные и глиняные дудочки, сопелки, свирели, запищали на все птичьи голоса. На полках магазинов заблестели поливой горшки, миски, крынки, горлачи, кувшины с нехитрым орнаментом мастеров гончарного дела. Зацвели яркими красками наличники окон, на карнизах домов плотники и столяры развесили резную ажурную работу свою,— то будто кружевное полотно, то девичью вышитую рубаху. И повеселели избы, словно солнце вдруг озарило их серые стены, все заулыбалось вокруг Гурьянова. И, встретившись как-то с Меркуловым, он сказал:

— Помняшь, ты сказал, что людям не до свиста? А вот свистят. Значит, хорошо жить на свете!

— Может быть, и я когда-нибудь засвищу... Жить и мне хочется!— ответил Меркулов, глядя в землю.

Шел уже четвертый месяц войны, но немцы были далеко от угодских лесов. Гурьянов попрежнему разъезжал по району в своей тесной тележке, только ездил он теперь быстро, и конь всегда был в мыле.

Начатое шоссе на Тарутино пришлось бросить. Над угодскими лесами пролетали немецкие самолеты, стремясь к Москве. Однажды

Гурьянов увидел Меркулова на улице с оружием. Он маршировал вместе с бойцами потребительского отряда.

«Даже этого человека пробрало»,— подумал он, глядя в окно испольюма.

Был пасмурный осенний день. Тихие улицы поселка жили необычной, напряженной жизнью, люди торопились куда-то, суматошно размахивая руками, возбужденные голоса их проникали сквозь заклеенные окна. И по всему было видно, что война стремительно катится к угодским лесам.

Уже несколько дней через поселок проходили войска, отодвигаясь на восток. Немцы вступали в угодские леса.

Гурьянов отдавал последние распоряжения. Он не отходил от телефона. Голос его звучал, как команда,— коротко, громко, уверенно. И по звуку этого голоса мгновенно замирала жизнь, которую он вчера еще согревал и двигал. Закрывались мастерские, умолкали топоры и пилы. В реку спускали мотор, чтобы немцы не смогли пустить предприятие. Зарывали имущество, увозили в леса...

Настал последний час. В кабинет Гурьянова вошел секретарь райкома Курбатов с пилоткой в руках.

— Ну, что же, Михаил Алексеевич, пора и нам в лес,— сказал он, протирая очки.

Курбатов был похож на учителя, и было странно видеть его с оружием. Гурьянов неподвижно стоял посреди кабинета, все еще не веря, что завтра в этой комнате будут немцы.

Он взглянул на стол свой, перевел глаза на окно, за которым тянулись провода, уходящие в села и колхозы района, и, схватив со стола телефонный аппарат, рванул его к себе,— провод лопнул, как гнилая пилочка.

II

Когда Гурьянов пришел в лес, там уже рыли котлован для землянки. Он взял лопату. Сильный, он выбрасывал сразу больше пуда земли. Он работал яростно, стараясь заглушить душевную боль.

Рядом с ним работал Никита.

— Вот где нам опять довелось встретиться, Михаил Алексеевич,— сказал он улыбаясь.

Широкое, усеянное веснушками лицо его было исполнено радости. И Гурьянов вспомнил разбитую дорогу, и рыжую кобылку, и вожжи, затоптанные в навоз, и густую рожь, и ласточек, носившихся над рваным темно-зеленым морем. Никита стоял перед ним как воплощение прежней — широкой, свободной жизни.

Холодный ветер срывал последние листья. Печально шумела хвоя.

Утром выпал первый снег. Каждый шаг разведчика виден врагу. Немцы идут по этим следам. Приходится переносить партизанский лагерь еще глубже в лесные трупобы. Партизаны уходят, и среди множества следов на снегу выделяется один — великанский, гурьяновский.

— Беда мне с тобой, Гурьянов,— говорит, пошмеываясь, командир отряда, красивый чернобровый Карасев.— Где я тебе возьму валенки на такие ноги?

— Район наш велик. Найдем по ноге.

— Надо скорей обуваться. Дело предстоит серьезное... Придется тебе идти в свой исполком немцев проведать да и угостить их походжайски,— они давно ждут, что ты им устроишь «банкет».

И вот триста партизан с белыми повязками на шапках тронулись непроторенными лесными тропами в Угодский завод. Гурьянов шел позади колонны, и партизаны говорили:

— Замыкающий у нас отборный боец.

— Не боец, а целая часть!

В полночь партизаны пробрались в парк, прилегающий к центру поселка. Угодский завод лежал в темноте. Кое-где появлялся лишь блуждающий свет автомобильных фар, раздавалось урчанье мотора, и снова все завлакивала непроглядная тьма.

Гурьянов повел свою группу к зданию исполкома, где помещался штаб немецкой части. Было весело шагать по темным улицам и чувствовать, что ты сильнее, чем враг.

Без пяти минут в два часа ночи Гурьянов с группой Карасева приблизился к цели: рядом чернел большой двухэтажный дом исполкома.

Гурьянов держал наготове гранату. Всюду было тихо, лишь поскрипывал снег под ногами часовых, прохаживавшихся возле штаба. И вдруг грянул взрыв со стороны аптеки. Тотчас же затрещали пулеметы, раздалось еще взрывы, и Гурьянов бросился к зданию исполкома. Немецкие часовые испуганно шаркнулись к стенам дома.

Гурьянов швырнул гранату в окно. Из окон прыгали немецкие офицеры — прямо со второго этажа на землю. Их расстреливали на лету. Тогда осажденные бросились к главному выходу по внутренней лестнице. Гурьянов поспежал к подъезду.

Знакомая дверь! Гурьянов рванул за ручку — закрыто... Кто-то сунул топор, и дверь с треском распахнулась. Гурьянов и Карасев ворвались в горящий подъезд. Гурьянов метнул гранату в бежавших по лестнице офицеров. Взрывом выбросило куски шинелей, салоги... Волной опрокинуло Гурьянова на

пол. Он вскочил без шапки, — огромный, страшный в своем гневе, он что-то кричал, сам не понимая своего крика. Это был какой-то оглушающий рев ярости, восторга, мстительной радости, упоения боем... Немцы выбегали со второго этажа, натыкаясь на Гурьянова и падали от осколков гранат и выстрелов Карасева.

Но выстрелы раздавались уже на улице, рядом. Гурьянов и Карасев выбежали из горящего здания.

На улице было светло, как днем. Пылало бензинохранилище. Гудело пламя, пожирая бельгийских першеронов, немецких солдат, французские грузовики, цистерны, грохотали взрывававшиеся на подожженном складе снаряды.

Из соседних деревень немцы вели по горящему поселку стрельбу из пулеметов, минометов. Пора было уходить...

Гурьянов прибежал в парк без шапки, с белой повязкой из марли. Лицо его горело от возбуждения.

— Тебя раппил? — тревожно спросил он Карасева, которому медсестра забинтовывала правую руку.

— Так... Немного задело. А ты?

— Шапку вот потерял, — с досадой сказал Гурьянов и, обернувшись, посмотрел на горящий поселок, как бы вспоминая, где же мог он потерять шапку.

...Партизаны уходили в леса. Гурьянов шагал быстро, крупно, шумно дыша. Он часто оглядывался назад. Над поселком стояло яркое зарево, доносились сильные взрывы, — это рвались бочки с бензином.

Рассвет застал партизан далеко от Угодского завода. Были в пути уже пятые сутки. Продукты давно все вышли. Партизаны едва передвигали ноги. Люди ели снег, чтобы хоть чем-нибудь потушить нестерпимый голод.

— Невмоготу больше, Курбатов! — сказал он. — Пойду поищу чего-нибудь в соседней деревне.

— Стоит ли, Михаил Алексеевич? Ведь осталось восемь километров.

— Люди утомились. Надо о них позаботиться, покормить. Пойду, — настойчиво сказал Гурьянов и свернул по лесной дороге к деревне.

Было утро. Из труб валил дым и столбом поднимался к небу, предвещая мороз. Гурьянов пошел к крайней избе и постучал в окно, выходящее к лесу. За мутным стеклом мелькнуло испуганное лицо старого бондаря.

— Михаил Алексеевич?! Раскатысь кадушки! Откуда?! — радостно и тревожно воскликнул старик, открывая дверь.

Гурьянов устало опустился на лавку. В избе приятно пахло сухой древесной. Пол был

усыпан стружками. На верстаке лежали гладко выструганные бруски.

— Вот работаю, а без сердца... Вышло все шутро, — жаловался бондарь. — Немцы всю душу вынули. Рыщут, ищут вас, партизанов, и нас заодно терзают... И Меркулов со своим дружкой Трошкиным возле них увиваются. Обрубил ты им хвост, а уж известно, купцы кобель злей бывает... Уходи, брат, неровен час заявятся сюда...

Гурьянов сказал, что он надеялся достать для отряда продуктов.

— И не думай, Михаил Алексеевич, — откуда тут немцы. Народ ведь из двора не выпускают.

Старик отрезал большой кусок хлеба и подал Гурьянову.

— На всех нас этого мало, — сказал Гурьянов и, положив хлеб на стол, вышел.

Старик проводил Гурьянова тропинкой по огороду и, когда уже возвращался домой, услышал несколько выстрелов на опушке леса, где в эту минуту должен был проходить Гурьянов.

Через полчаса немцы приказали всем жителям деревни собраться на площади. Люди стояли, сбившись плотной толпой, инстинктивно прижимаясь друг к другу, — такая привычка выработалась у них с тех пор, как пришли немцы.

По улице провели Гурьянова. Руки его были связаны. Он хромал на правую ногу, и на снегу оставался кровавый след. Его поставили перед толпой, и немецкий офицер крикнул:

— Кто знает этот челофек?!

Люди молчали, с состраданием глядя на Гурьянова. А он стоял — огромный, спокойный, с выраженным глубоким удовлетворением, какое бывает у человека, когда он делает хорошее дело.

— Кто знает этот челофек?! — повторил громче немец.

В стороне от толпы стояли Трошкин и Меркулов. Трошкин блудливо прятал глаза, поглядывая на крыши, на небо, на деревья. Меркулов смотрел на Гурьянова в упор тяжелым взглядом ненависти, карандаши, как всегда, аккуратно торчали из карманчика.

— Я знаю... Это председатель районного исполкома Гурьянов, — сказал он, шагнув к офицеру. Но его перебил звучный голос Гурьянова:

— Да! Я председатель здешней советской власти и торжусь этим! А ты чем можешь гордиться, нуда?!

★

Отряд Карасева возвратился с крупной победой. По захваченным документам устано-

вили, что удалось разгромить штаб немецкого мотострелкового корпуса, было уничтожено около шестисот немцев. Но не было радости на душе партизан, — все думали о Гурьянове.

Никита осунулся, потемнел от тоски. А когда в отряд пришел старый бондарь и рассказал о предательстве Трошкина, Никита вдруг исчез.

Его не было два дня. Он вернулся с запавшими глубоко глазами, постаревший. Он часто погружал свои руки в снег и тщательно тер ладонь о ладонь, словно смывал какую-то липкую грязь. Никто не спрашивал Никиту, — все догадывались о том, куда он ходил и что сделал...

Потом Никита стал проситься в разведку в Угодский завод. Теперь такая разведка была сопряжена с огромной опасностью: немцы напуганные налетом партизан, усилили охрану поселка. Но Никита вошел в поселок.

...Он медленно шагал по улице, опираясь на палку. Одна нога его волочилась, подвертывалась, и каждый шаг, казалось, причинял ему жестокую боль, — он стонал, и все лицо его передергивалось в мучительных судорогах. Немецкий солдат, стоявший посреди улицы, приподнял ружье, намереваясь ударить прикладом калеку.

Никита поравнялся с домом райисполкома. У подъезда стоял автомобиль, и несколько человек что-то делали возле телефонного столба. Никита вздрогнул, увидев среди немецких солдат человека огромного роста, без шапки, — голова его была забинтована чем-то белым... Гурьянов?! Да, это его куртка из светлого меха... Он стоял со связанными руками, но держался так свободно, будто по своей доброй воле закинул их за спину. Одна нога его была в валенке, другая завернута в мешок.

Один из солдат, взобравшись на телефонный столб, срывал провод; другой забрасывал конец провода на концы рельсов, на которые опирался балкон райисполкома.

Солдаты пригнали на площадь нескольких жителей, чтобы устроить их видением смерти. Они стояли опустив глаза, и Гурьянов понял, что им мучительней, чем ему: видеть его позор и не иметь сил помочь.

— Товарищи! — крикнул он своим могучим голосом, и голос его прозвучал чисто, твердо, как в дни праздников, когда Гурьянов говорил с народом на этой же площади. — Товарищи! Меня сейчас убьют враги... Но таких, как я, миллионы! Уничтожайте фашистов! Да здравствует родина! Да здравствует Сталин!

Наброшенная на него петля перехватила дыхание, оборвала голос... Тело Гурьянова качнулось над землей. Но провод не выдержал тяжести великана и лопнул. Гурьянов упал на землю. Немецкий офицер с криком

набросился на солдат, не научившихся вешать. Офицер быстро и ловко сделал новую петлю...

Тяжелое тело Гурьянова оттянуло провод, и ноги его коснулись земли. И казалось людям, что их председатель стоит под балконом исполкома и, о чем-то думая, смотрит в землю.

Десять дней и ночей стоял вот так Гурьянов под балконом исполкома. Он и мертвый впускал своим врагам страх. Немецкие офицеры проходили мимо торопливо, втянув голову в плечи.

В декабрьский морозный день наши войска ворвались в Угодский завод. С ними вошли партизаны. Тело Гурьянова несли два дня и, наконец, нашли его в подвале, среди множества трупов.

Под биптом, которым была повязана голова, врач нашел утолек, каштановые волосы были опалены. На затылке — глубокая рана, нанесенная каким-то острым металлическим предметом. Сняли мешок с правой ноги — и здесь зияла огромная рана, вся нога опухла...

— Только Гурьянов мог вынести эти пытки, — сказал врач.

По улице провели Меркулова. Он шел слюнякаясь, окруженный партизанами.

У гроба Гурьянова в почетный караул стал Никита. Он смотрел на лежащего среди цветов богатыря, и на лице Никиты было выражение той внутренней тихой радости, которую испытывает человек, созерцая прекрасное.

А мимо проходили люди, благодарным взглядом обидывая знакомое крупное, с резкими чертами лицо. Старуха Репкина остановилась и сказала громко, как живому:

— Кто же меня теперь защитит, Лексеич? Все разорили немцы...

Прошел старый бондарь, вздохнул и прошептал сокрушенно:

— Эх, раскатись кадушки!

Прошла женщина с синеглазым ребенком, зажавшим в ручонке глиняную свистульку. Ребенку наскучила тишина, — он еще не понимал, что такое смерть. Он сунул свистульку в рот, и в скорбной тишине зазвучала песенка иволги, — голос неистребимой жизни.

Весна

Р а с с к а з

Однажды утром обитатели блиндажа услышали громкий крик:

— Братцы, грач!

Все выскочили из блиндажа и увидели Трофима Мамочкина. Он стоял с намыленным лицом и расстегнутым воротом и, указывая на березу, кричал:

— Братцы! Да воп же он! Воп!

На березе сидел грач и перебирал своим белым клювом синевато-черные перья. Распорыв крыло, он расправлял каждое перышко, словно пробовал, крепко ли оно сидит в крыле. Он не обращал внимания на людей, столпившихся почти под самой березой, и занимался своим делом, самым важным для него в этот утренний час. Солнце сверкало на остатках снега, и люди шурлили от слишком яркого света после сумерек блиндажа. В блеске солнца оперение птицы казалось необыкновенным. И хотя все видели грачей несчетное число, этот грач был для людей особенным, неповторимым, — это был первый грач, возвестивший весну.

— Спаряжение свое проверяет, — комментировал Мамочкин каждое движение птицы.

А грач, закончив чистку оперения, распустил веером хвост, приподнял его, наклонился

и, как бы кланяясь людям, издал мягкий звук: «гра! гра!»

— Значит, здравствуйте, братцы! — пояснил Мамочкин и раскланялся с птицей, размахивая полотенцем.

Люди рассмеялись, и грач настороженно глянул вниз. Но, видимо, он очень устал после долгого полета и ему не хотелось улетать с этой высокой ветвистой березы. Он сидел на вершине ее и разглядывал окрестные перелески, рощи, отыскивая дерево, где он начнет вить свое гнездо. Грач не любил безлюдных лесов, всегда он выбирал для гнезда березовую рощу возле деревни, — таков уж характер у этой общительной птицы: ей весело лишь рядом с людьми.

Но куда ни смотрел грач, он не видел знакомых соломенных крыш, а люди вылезали откуда-то из земли, и все было вокруг непривычно и странно. Не было слышно веселых детских голосов, которые приветствовали всегда птицу, когда она впервые после долгой зимы появлялась в деревне. Не видно было старых гнезд на березах, ветви деревьев были сбиты, обкусаны и валялись на земле.

«Кра-ах! Кра-ах!» протяжно кричал грач, и в голосе его звучало недоумение.

— Это он немцам вкрах пророчит,— глубокомысленно заключил Мамочкин.

В это время возле березы треснула прилетевшая мина, и осколки ее срезали несколько веточек. Грач взмахнул крыльями и полетел, а люди поспешно укрылись в блиндаже, и туда же кинулся Мамочкин, забыв про мыло, оставленное на снегу.

В блиндаже долго стояло молчание. Некоторые чистили оружие, другие писали письма. Мамочкин пришивал свежий воротничок, и у всех на лице было то радостное возбуждение, с каким они только что смотрели на грача. Они думали о деревьях своих, о родных и близких, о рощах, увешанных черными шапками грачиных гнезд, о детстве своем,— и все это на расстоянии представлялось несказанно милым, прекрасным, хотя у каждого были в жизни не только хорошие дни. Но все плохое, неприятное отступило куда-то перед этим видением дорогого и недостижимого мира.

— А ему тоже далеко пришлось лететь. Тысячи верст,— проговорил Трофим Мамочкин и откусил нитку.

В этот день, как и вчера, была стрельба, рвались мины и снаряды, были раненые и убитые, но самым большим событием в жизни людей был прилет первой весенней птицы. Ночью подул теплый ветер, съедая снег, и когда на рассвете Мамочкин выскочил из блиндажа, чтобы идти в атаку, нога его погрузилась в глубокую лужу.

С шелестом проносились над головой снаряды в створку немецких укреплений, и разрывы их там сливались в сплошной гул. Мамочкин лежал за кустом можжевельника, прижавшись к земле. Колочая ветка можжевельника прикасалась к его лицу, и Мамочкин чувствовал сильный запах хвои, такой знакомый с детства: можжевеловыми ветками мать устилала чисто вымытый к пасхе пол. И запах этот воскресил облик женщины с негероическими движениями и строгим лицом хозяйки, которая привыкла, чтобы все подчинялось ее воле.

«После атаки напишу ей письмо»,— подумал Трофим, поворачиваясь на правый бок.

Только теперь он почувствовал, что брюки, шинель и гимнастерка насквозь пропитаны водой. До сих пор Мамочкин не обнаружил этого потому, что тело его было разгорячено ходьбой и бегом, и, падая на землю, он не видел, что под кустом затекла лужина. А если бы и видел, все равно лег бы в нее, потому что некогда было выбирать сухое место.

Мамочкин наломал ветку можжевельника и подложил под себя. Запах хвои стал еще сильнее. Пощипывало руки от укулов хвои. Быстро остывал левый бок, и Мамочкин снова

повернулся, стараясь согреть его, плотнее прижимаясь к подстилке из можжевельника.

Стало совсем видно. Справа лежал сержант Рязанцев — огромный детина с круглым лицом и вечно удивленными глазами,— казалось, предметы и люди, его окружавшие, являются ему каждый раз в новых, неизвестных очертаниях. Он напряженно смотрел перед собой, туда, где поднимались к небу черные фонтаны земли и дыма.

Слева, положив легкий пулемет на бугорок, растянулся Ефим Сова, курносый, толстогубый, с черными сросшимися бровями; из куста торчали ноги второго номера — Васи Зверькова, взводного плясуна.

«Интересно, они тоже лежат в воде или попали на сухое?» — подумал Мамочкин, чувствуя озноб, наползавший от живота. Тепло сохранилось где-то на спине, под вещевым мешком, и Мамочкин вспомнил, как прибегал он из школы озаябший и прижимался лопатками к печке, ощущая горячие выступы кирпичей...

Как быстро прошло детство! Кажется, еще вчера Трофим бродил по лужам в поисках застрявших после разлива щурят, приходил домой весь мокрый, и мать встречала его осужающим взглядом, а он протягивал ей пятнистых щурят, нанизавших за жабры на глубокий ивовый пруттик, и улыбка прощения появлялась на строгом материнском лице.

Просох, верно, песчаный пригорок, на котором Мамочкин играл в городки и ланту, а по ночам гулял с любимой. В такие весенние ночи Мамочкину казалось, что все принадлежит ему навеки — и этот пригорок, и маленький домик на берегу реки, и любимая девушка, и ласка матери. Вот так, думалось, и будет жить он, Трофим Мамочкин, на земле долго, долго, безмятежно.

Теперь эта жизнь была далеко, и Мамочкин шел к ней сквозь огонь, дым и кровь, и он пробивался в этот потерянный мир, упорно преодолевая тысячи препятствий, лишений, впервые познавая цепу простой человеческой радости. Он лежал в воде, ожидая сигнала к атаке, стараясь победить дрожь, охватившую его тело.

Впереди за кустами начиналась лощинка, залитая внешней водой,— через эту лощинку нужно было быстро пробежать с вынесенным вперед для удара штыком и ворваться в окопы врага.

Артиллерийская канонада умолкла, и тотчас же пулеметчик Сова вскочил и побежал, за ним вприпрыжку, легкими, веселыми скачками бросился Зверьков. Мамочкин попял, что пора и ему подниматься, хотя он согрелся на можжевеловых ветках и хотелось продлить приятное ощущение тепла.

Мамочкин поднялся и побежал, разбрызгивая воду, а справа и слева обгоняли его товарищи, прижав к бедру винтовку, сгорбившись, словно они бежали под низким навесом. И вдруг впереди разорвалась мина, за ней вторая. Бежавший впереди человек упал, притаился за кочкой. И Мамочкин, не размышляя, бросился в воду. Он лежал и часто дышал, стараясь сделать глубокий вдох, чтобы умерить напряженное биение сердца.

Снова над головой запели снаряды, но теперь они разрывались где-то в глубине вражеской обороны, отсекая немцам пути отхода. До немецких блиндажей осталось не больше ста шагов, но это пространство было залито водой, из которой торчали кольца проволочных заграждений. Нужно было пробраться в узкие проходы, проделанные артиллерией в трехрядной загороде из колючей проволоки. Дальше виднелись темные амбразуры блиндажей. Многие из них были разбиты снарядами и казались безлюдными, но продолжали вести пулеметный огонь, заставляя наступающих прижиматься к земле.

Сова, как и Мамочкин, лежал в воде, над которой лишь чуть поднимались сошки пулемета, и стрелял по амбразурам с таким спокойствием, словно лежал не в воде, а на песчаном пригорке.

«Ему хорошо, у него сошки», — подумал Мамочкин, стараясь не замочить винтовку. Он положил ее на плечо лежащего впереди бойца. «Вот и у меня теперь сошки — можно стрелять».

— Ты, товарищ, голову вправо отверни и не шевелись, а то промахнусь, — сказал Мамочкин, прицеливаясь в амбразуру, которая показалась ему особенно подозрительной.

Но руки Мамочкина дрожали от озноба, и винтовка «рыскала». Никогда не приходилось ему стрелять вот так — в воде, с плеча, сжимая винтовку синеватыми от холода руками, упершись локтем в бугорок, покрытый водой.

Перед тем как выстрелить, нужно сделать глубокое дыхание, но горло как ватой забито, — воздух застревает где-то на полпути, и грудь, сбившись с привычного ритма, подымается резкими, короткими толчками. И странно, — в этот трудный момент почему-то вспомнился грач, заботливо проверявший свое оперение после тысячеверстного перелета. «При чем тут грач?» — подумал Мамочкин, но руки его вдруг сразу окрепли, и он впервые за все это утро вздохнул тем широким, облегчающим дыханием, которое наполняет легкие радостным воздухом жизни, — было так, словно он расстегнул тесный ворот.

Выстрел раздался в тот момент, когда мушкетер на какой-то миг застыла под черной дырой

амбразуры, и тотчас же оборвался пугающий треск пулемета.

Мамочкин не видел, поднимаются ли товарищи, чтобы идти в атаку. Он вскочил и побежал, не спуская глаз с амбразуры, что-то крича во все горло, и крик этот был непереводаем на человеческий язык.

— Ага-а! А-а-га-а! — кричал он, ша бегу прижимая винтовку к бедру, выбросив вперед острое штыка.

Вот с таким криком Мамочкин в детстве палтел с кулаками на обдчника, прыгал с высокого берега в омут.

Мамочкин бежал между кольями, переплетенными колючей проволокой, цепляясь лапами шинели и оставляя на колючках клочья серой шерсти. Он не чувствовал ни тяжести намокшей одежды, ни озноба, который минуто назад разрывал его тело на части, ни боли в оцарапанных руках. Вода текла с его шинели ручьем, хлопала в сапогах, журчала под ногами, он бежал и неумолчно кричал свое: — Ага-а-а!

И все подхватили этот крик и побежали вслед, разбрызгивая воду.

Оставшиеся в живых немцы бежали в лес, бросая оружие...

— Ты что кричал? — спросил Сова, когда сушились возле костра.

Мамочкин держал шинель возле огня, от нее валла густой пар. Весь Мамочкин как бы дымился. Вася Зверьков приплясывал возле костра, приговаривая:

— Хорошо! Хорошо! Это очень хорошо!

— Что ты кричал? — повторил свой вопрос Сова, обтирая тряпочкой пулемет.

Но Мамочкин молчал, и щеки его были покрыты густым румянцем смущения, словно Сова расспрашивал его о самом сокровенном, о чем нельзя говорить вслух. Не мог же он рассказывать о запахе можжевельника, который разбудил в нем воспоминания детства, о строгих глазах матери, встречавшей его с укоризной и лаской, о весенней холодной воде, ледянившей его тело, о просторной русской печке из толстых кирпичей, тавших домашнее тепло, о том, как дрожала его рука, когда он прицеливался в пулеметную амбразуру, о граче, сидевшем вчера на березе...

Мамочкин молчал, потому что нужны были какие-то особенные слова, чтобы выразить все, что он вложил в свой непонятный крик, в котором слились и тоска по родному дому, и злоба против тех немцев, вырвавших его из теплого и ласкового мира и бросивших в ледяную внешнюю воду, и радость от удачного выстрела, и любовь к жизни, которая несла его на крыльях своих навстречу врагу.

Мамочкин смотрел на бегущие по небу легкие весенние облака и молчал.

Глаза

Р а с с к а з

На высоте в пять тысяч метров под куполом парашюта раскачивается горящий человек. Дымился комбинезон Макарова, горели унты, шлем. Ветер раздувал пламя. Загорелся поясной ремень, начала чернеть парашютная лямка на левом плече.

Макаров сбивал руками пламя, прижимал ладонями острые его языки, а вражеский истребитель кружился над ним, расстреливая из пулемета. Пули пересекли несколько строп.

Горевший летчик понял, что спасти его может только быстрое спускание. Он ухватился руками за боковые стропы парашюта, накрепился и стремительно пошел книзу. Но земля ничто радостного не сулила Макарову, — по дорогам двигались немецкие автомашины и танки.

В стороне тянулся густой ярко-желтый лес, и Макаров с радостью увидел, что ветер гонит его парашют на верхушки деревьев. Немецкий истребитель выпустил последнюю очередь и улетел. Макаров падал, как пылающий факел.

Осенний лес, казалось, был объят красноватым желтым огнем, пытал в лучах заходящего солнца. Макаров погрузился в это пламя осенней листвы и ощутил благостную прохладу. Парашют его зацепился за верхушку березы, стоявшей на опушке, прыгнул ее, и Макаров рухнул на землю.

А издали уже бежали немецкие солдаты, стреляя на бегу в белое пятно парашюта. Макаров освободился от парашюта и побегал, зная, что теперь люди опаснее пламени. Он бросился в лес, дымясь, как головня.

Ветви хлестали его по лицу, он раздвигал их обожженными руками, прыгал через яны и канавы, углубляясь в чащу. Теперь он был невидим.

Он остановился, тяжело дыша. Сбросил с себя шлем, унты, дымящийся комбинезон и побегал дальше. Стало легче. Иногда он останавливался, прилеживаясь. Выстрелы раздавались далеко, глухо.

«Спасся», — облегченно подумал Макаров и присел на землю, под ель. Тихий лесной шум успокоительно действовал на него. Он дышал, широко открыв рот. Губы его стянула корка ожога, сомкнуть их он не мог без боли. Эта боль чувствовалась в руках, в правом глазу, в ноге, ушибленной при падении с дерева. Потом Макаров ощутил холод, охвативший его разгоряченное тело, — оно остывало быстро, болезненно.

Темнело, мир сужался. Макаров видел лишь то, что было влево от него, — направо уже была ночь. Он притронулся рукой к правому глазу и нащупал опухоль. Глаз закрылся совсем.

Что-то холодное прикоснулось к воспаленному глазу. Макаров протянул руку, — на ладонь опустилась снежинка.

Первый снег! Как радовался ему Макаров в детстве! Он вытаскивал с чердака санки. Лыжи и в нетерпеливом возбуждении пытался кататься по пушистому, легкому покрову... И было хорошо в поглубь, еще пахнувшим нафталином. Ах, если бы сейчас на плечи накинуть этот полушубок!

Макаров дрожал все сильнее. Он понял, что сидеть нельзя, нужно двигаться, чтобы не замерзнуть. Он встал. По куда идти? Он потерял ориентировку, кружа по лесу. Он не знал, в какой стороне могло быть селение. Его окружали деревья, с легким порохом ронявшие свой летний убор. Между стволами деревьев пробивался лунный свет. Луна была где-то справа, и Макаров пошел ей навстречу, сам не зная, куда может привести его лунный свет.

Он шел, как привидение, в нижнем белье, босой, изыбанный, а снег падал все гуще и гуще, и листья под ногами шумели жестко, громко, как металлические.

Он шел так долго, движение согрело его, но сильней чувствовалась боль в ноге. Потом он заметил, что лунный свет меркнет. Это было странно, потому что он видел яркий диск луны, стоявший над лесом. Он ускорил шаг, но вдруг упал, наткнувшись на янень. Поднявшись, он не увидел серебряной лунной дорожки между деревьями, по которой шел до этого. Опять взглянул вверх и не нашел луны, — небо было такое же черное, как стоящая рядом ель. Он опустил глаза вниз, — и снег под ногами был черный... Тогда он понял, что в второй его глаз закрылся.

Он стоял слепой, окруженный мраком. Тихо шумел лес, где-то поскрипывало дерево. Макаров долго вслушивался в этот шум, стараясь уловить какой-нибудь звук человеческой жизни, — нет, ничего, кроме ровного равнодушного шлопта деревьев, он не услышал. И тогда он остро ощутил свою беспомощность.

«Самое страшное — потерять зрение», — подумал он, протыкая вперед руки. Они погрузились в холодную черную пустоту. И он пошел вот так наугад, вытянув руки. Он наткнулся на деревья, ощущивал их и снова

делал неуверенный шаг. Он двигался медленно, и лес казался бесконечным.

«Вот такая же, верно, вечность», — подумал он и вспомнил юношеские споры в философском кружке. Тогда вечность казалась Макарову неосуществимым понятием потому, что все то, с чем он соприкасался в жизни, было ограничено во времени, укладывалось в календарь. Макаров любил все осязаемое, видимое. Теперь от этого привычного мира осталось лишь звуки леса и холодная кора деревьев, к которым прикасалась его руки. И это прикосновение к гладким стволам берез, к шершавым елям, к чешуйчатой коре сосны поддерживало в нем жажду жизни и вело все вперед и вперед.

«Хорошо еще, что я могу идти», — подбабривал он себя, когда к нему подступало отчаяние: хуже зрячему, который не может идти.

Он понимал, что движется, как вялый слепой, безотчетно, что в любую минуту он может очутиться перед врагами. Тогда смерть!..

Он остановился, снова прислушался. Ветер валялся лишь короткими, слабыми волнами, а потом и совсем утих. Вокруг была тишина, какой Макаров никогда не слышал. И когда он снова тронулся в слепой путь, листья снова загремели, как жесты.

«Иди, иди», — внушал он себе, ощупывая деревья. Ноги его опемели от холода и потеряли чувствительность. Ощущалась попрежнему боль в бедре, в руках, когда они натыкались на колючую хвою или сучки, в лице, по которому хлестали упрямые по-осеннему и твердые, как проволока, прутья.

Макаров рассчитывал, что лес кончится, а в поле должна быть деревня. Там — люди, свои, советские. Они помогут...

«Нало идти, идти», — убеждал он себя. Так он медленно, но упорно продолжал шагать, прикасаясь руками к деревьям. И вдруг он не наступал вокруг себя толстых деревьев, — большой лес окончился. Он вошел в кусты и пощупал, что это опухшка.

Макаров не мог определить, сколько времени прошло с того момента, как он ослеп, но ему казалось, что ночь на исходе. Вернее, ему хотелось, чтобы это так было.

Он присел на землю, поджал под себя ноги, чтобы согреть их. И то, что он вышел из леса, как и рассчитывал, придало ему уверенность, что и дальше дело будет складываться в его пользу. В самом деле, он мог не лететь выброситься из горящего самолета, но выбросился и парашют раскрылся; он мог погибнуть от пуль немецкого истребителя, но ни не заделали его; он мог сгореть в воздухе, но погасил пламя... За этот день он мог

десять раз умереть, но он жив. И пока сильнее смерти.

Вот он сидит на мерзлой земле, раздетый, босой, обожженный, слепой, с руками, покрытыми водянистыми пузырями, губы его покрылись кровоточающей коркой, — он не может идти, потому что в бедре нестерпимая боль, но сила жизни велика в этом человеке, и он ползет...

Макаров полз, опираясь на руки, помогая им одной ногой, а другая волочилась, вызывая боль при каждом толчке вперед. Он быстро устал и, вытянувшись во весь рост, припал к земле. Казалось, была израсходована последняя капля энергии...

Никто не увидит его одинокой смерти. Он замерзнет в этих кустах, может быть, в ста шагах от жилья, как замерз его дядя Онуфрий, заблудившийся в степи. Онуфрия нашли утром возле своего дома, на огороде... И Макаров вспомнил слова, какие говорили люди тогда: «И осталось-то ему всего две сажени до дому...».

«А может быть, и мне остались последние сажени?» — подумал Макаров и приподнялся. Отдохнув, он снова пополз, волоча ногу, — она распухла и казалась непомерно тяжелой.

И вдруг Макаров услышал крик петуха. Он остановился и повернул голову в ту сторону, откуда донесся этот крик. Петух прокричал еще три раза. Голос у него был хриплый, простуженный, но более радостных звуков, чем этот утренний крик петуха, не было для Макарова.

Он быстро пополз, но на пути стояла высокая деревянная изгородь. С большими усилиями Макаров перевалился через нее, — под ладонями была гашня.

Дальше он наступал снопы конопли, а еще дальше стояла невыбранная конопля. Знакомый терпкий запах конопляника вошел в его тело как живительный напиток. Макаров забрался в снопы. Он решил, что утром женщины придут выбирать коноплю и найдут его.

Он пролежал в снопах недолго. Холод пронизывал его, застыли руки и ноги. Он понял, что не выдержит до утра, и снова пополз.

Вот утол какой-то постройки. Из щелей пахло сеном. Знакомые запахи домашней тихой жизни обступили его и повели. Он нашел по этим запахам двор. Услышал мелкий стук овечьих копыт. Руки его прикоснулись к толстым бревнам избы. Он привстал, обшарил стену и нашел окно...

Волнение его было столь велико, что он мог даже постучать в окно и с минуту стоял, трудно дыша обожженным ртом. Он постучал в стекло тихонечко, как стучат юноши и девушки, возвращаясь на заре домой, чтобы легким стуком этим разбудить только чуткую мать.

Скрипнула дверь. Старческий голос спросил:

— Кто ты?

— Я летчик. Свой... советский. Обгорел... Ничего не вижу...

Женщина взяла Макарова под руку и ввела в избу. Она усадила его на кровать, набросила на плечи полушубок, натянула на ноги валенки. Они были теплые внутри, и Макаров понял, что женщина сняла их со своих ног.

— Обгорел как, сердечный,— проговорила она, смазывая ожоги конопляным маслом.

Макаров схватил ее руку и прижал к обожженным губам.

— Как звать-то тебя? — спросил он.

— Аграфена Михайловна. А тебя как?

— Василий Макаров.

— У меня двое таких вот сынов в армии. Давно не слышать ничего...

Женщина рассказывала о сыновьях, и Макаров видел их — рослых, чернобровых, кра-

сивых, веселых, видел и ее — мать, высокую ростом, сильную телом и духом.

— Если немцы найдут меня, то и тебе не сдобровать, Аграфена Михайловна.

— Это уж так. Убьют, окаянные! — ответила женщина, но в голосе ее не было ни страха, ни раскаяния за свой поступок.

На двенадцатый день к Макарову вернулось зрение, и он впервые увидел Аграфену Михайловну: она оказалась маленькой сухонькой старушкой с робкими серыми глазами.

А на завтра брат ее, бородатый, угрюмый человек, повел Макарова лесными тропами в линии фронта.

Ровным пушистым слоем лежал снег искрясь под солнцем. Деревья держали его в ветвях своих бережно, как драгоценную пошу. И Макаров вес в душе своей такое же чистое, искрящееся радостью чувство любви к женщине с серыми глазами, которые снова открыли ему родной мир.

Тебе, Новгород

Горел на главах полдень летний,
Жара июльская плыла,
И золотом тысячелетним
Твой сияли купола.
Стоял Руси великий город,—
Москве старинная родня.
Прохлада каменных соборов
От гулких стен шла на меня.
Мы не забыли, не забыли
Твой гордый облик фронтной,

Как танки, белые от пыли,
Шли по булыжной мостовой,
Как со стеной кремлевской рядом
Метался дым в пустом окне,—
Ты от фугасок и снарядов
В багровом умирал огне.
Но жить тебе Руси на благо,
Восстав из пепла и огня,
Бессмертным нашим красным флагом
Златые главы осемя.

Иван Грозный

(«Москва в походе»¹)

Дорогому Василию Гавриловичу
Грабину и всем советским пушеч-
ного и оружейного дела мастерам
посвящаю.

Автор

I

В тебе повис огненный столб над самым боярским усадьбищем.

Юродивые плясали и плакали.

Балики переходные предрекали войну.

Монахи — конец света.

Хмурые старцы из деревенских — голод.

Поползли «ахи» и «охи». Умирать не хотелось. Большое любопытство появилось к жизни.

И, как на грех, — в вотчину боярина Кольчева прискакал из Разрядного приказа человек, молодой, породный, с быстрым взглядом, слегка насмешливым. Назвал себя посланцем царя, дворянином Василием Грязным. Явился к владельцу вотчины боярину Пикиту Борисычу и стал расспрашивать о «верстании»: «сколь и кого помянно выставит боярин своих людей в войско, коли к тому нужда явится».

Всколыхнулись деревни и починки колычевской вотчины. Азарт появился. Старики расхрабрились, — куда тут! Стали разглаговльствовать про старинные битвы. У молодца глаза разгорелись: брала зависть, котягу на волю, на поля бранные.

А тут еще подлил масла в огонь грязновский ямщик. Намекнул и на татар, и на Ливонию, и на Свейское государство. Ямщик бывалый, московский. Под хмельком дядя был и на слова чуден, а глазами — плуговат: что паврал, что правда — разобрать трудно.

Как бы то ни было: ветром море колыхнет, молвою — народ: заскакало по избам колочее словечко.

Боярин темнее тучи стал — ходит, ко всем придирается, на глаза лучше не показывайся.

Всего лишь год, как царь отпустил его на отдых после брака с молоденькой княжной Масальской. Чего бы лучше, на старости лет — пожить чинно, уютно, на усадьбе, в супружеском уединении, и вот на те! Опять война! Опять — в кольчугу, в латы да шлем! Приказ, ведавший военными делами, заработал. В Москве не спят!

Крепко призадумался боярин — как быть?! Какой-то дворянин-зазнайка, всюду нос сует царской грамотой щеголяет. Чорт его принес сюда!

Давно ли разошлись с казанского и вятбургского походов? Люди и кони еще путем отдохнуть не успели, и вдруг...

Э-эх, Пикита, Пикита! Сыновей у тебя нет. Убьют на войне — поместье отпадут «на государя», малую часть оставят супруге твоей, Агриппинушке, а так как она неплодна, вслед за ее кончиною и та малая часть уйдет «на государя» («все себе заграбастывает!»).

Вот что будет, коли пойдешь на войну, а не пойдешь, откажешься...

Опять засверлили мозг боярина слова царя Ивана Васильевича: «Жаловати мы своих холопей вольны, а и казнить их вольны есмы».

Князей и бояр царь ни во что ставит! Подумать только! А вот такие, неведомого рода, молодцы по уездам с царскими грамотами ездят, бояр учат!

Целый месяц гостил Грязной в вотчине, считал людей, болтал с ними, будто равный: на половину боярыни Агриппины повадился ходить, рассказывал ей про Москву — нет в вотчине человека, с которым бы он не точил лясы, а потом уехал как-то сразу, тайком, без низких, по чинцу, поклонов и приветствий.

Вздумал Пикита Борисыч наведаться в знахарке-вещунье, попросить ее, чтоб накол-

¹ 1-я книга трилогии «Иван Грозный».

ювала «нетяжкую болезнь», на войну бы не
ити. А старуха проклятая отказалась, да
еще крикнула: «Вижу, что умереть тебе на
плахе по цареву указу!»

Можно ли спести столь великое поноше-
ние?! В омуте утопил старую ведьму. Сразу
полегчало. Улеглось на сердце.

И вдруг новое беспокойство. Пришел па
боярское крыльцо некий бобыль Андрейка и
давай вопить на всю усадьбу: «Пошто утопил
старуху?! Царь покарает тебя! Одни у нас
ныне суд — царский. Сгубить нас токмо
царь может, а никто!»

Орет, словно ума лишился, глаза выта-
рашил.

Любуясь, царь-государь, Иван Васильевич!
Боярин не волен над своими же людьми!
Бога ты охрабрил?! Холопов и зlostных бро-
ля! Посмел ли бы раньше этот навозный
зук слово попереk молвить?! Не иначе, как
проклятый Васька Грязной наболтал народу
про «судебник».

Никита Борисыч, как бы невзначай, ста-
нулся выспросить у людей, о чем беседовал
с ними Василий Грязной. Пытал, с болбою
и целованием креста, боярину Агриппину.
Оказалось — Грязной спрашивал у старост:
сколько земли в вотчине, что пахоты и что
леса; вся ли пахотная земля обрабатывается;
продает ли боярин хлеб па сторону, или
только засекает для себя да для своих кре-
стьян? О конях расспрашивал, о сепе, об
овсе, о скотине...

Агриппина божилась, клялась, что москов-
ский молодец говорил с ней только о царе,
о дарине и о святых. Кольчев сошел, глядя
исподлбья подозрительно на жену. Она
краснела, смущалась.

— Сам, батюшка-боярин, допустил ты го-
го человека в терем, супротив моей воли.
Не посмела я, раба твоя, перечить тебе...

— И ты, государыня, мысль иметь свою
вольна, чтобы гостя уветливым словом на
доброе изволение наводить... от лукавства его
оторгать, христианской добродетели чувства
ему внушать... Внушала ли?

— Внушала, государь, князь мой, вну-
шала...

Агриппина задумалась.

— Жаловался оп мне, — обижает его боя-
ре, по малости его рода, и кабы не царь,
завно бы ему быть на плахе... Царь защитил
его... И многих его товарищей царь-батюшка
приглубил... служилых людей, незнатных,
беспоместных.

Сердце засушился боярин Никита.

II

Здесь — медведь, там — человек. Солнеч-
ный свет проникает сквозь щели в овин. Го-

рят маленькие черные глазки: в них непод-
вижное упорство. Человек пытается избежать
их. Он смотрит на мотылька: как весело
резвится в золотистой полосе солнца, игра-
ет с мухами, сталкивается с ними, ловко
увертывается и ускользает из глаз.

О, эти маленькие глазки зверя!

Пахнет сосновым лесом; за стенами бу-
шуют птичьи стаи. Тепло. Клочек синего
неба проглядывает в широкую расселину над
головую. Ночью буря сорвала солому.

Зверь лязгает железом, издает жалобное
урчанье. Звук глухой, придушенный, ползу-
щий из глубины, из нутра. Пасть сомлута.
Шумно дышат розовые влажные поздри; ту-
ловище покачивается из стороны в сторону.

— Лапачь, чай, захотел? — тихо спраши-
вает прикованный к степе человек. Он мо-
лод, загорелый, шпроконолчий, в белой за-
платанной рубахе. Поднялся с соломенной
подстилки, сутулясь, отстует к стене.

— О крови тоскуешь? Скушно?! Как мне
тебя понять? Поймешь ли и ты меня?!

Неподвижно смотрят они друг другу в
глаза.

— Э-эх, поведал бы я тебе, как бобыль
за жар-птицей охотился, да и в капкан по-
пал... Что наша доля с тобой?! Хоть топись,
хоть давься! И та не наша. Плохо, Тереха!
Судьба дуреха...

Медведь, прислушиваясь к голосу челове-
ка, издает звук, похожий на стон.

— Не скули! Не подобает! — оживился
парень, глядя в глаза зверю. — Бог терпел
и нам велел... Какой ты веры — не ведаю,
по и ты — божья тварь. Да и такой же, как
и я, бобыль, — непашенный, безземельный...

Медведь положил морду на землю, выпу-
стил когти... сверкнули влажные белки.

— Так-то, милый! — вздохнул молодец,
напрягая могучие мускулы. — Пошто на
мать родила, не выдавши дна прекрасного?!
На посмеx людям пустила по миру!

Медведь медленно поднялся, стал на зад-
ние лапы, замер.

— Ага, слушаешь?! Так вот... Живем мы
с тобой, яко святые... Во узах, во тисках,
в подвижничестве... Владыка наш, боярин
Кольчев, сатане в дядьки записался.

Медведь заревел, грузно подался вперед.
Тяжелым, едким духом пахнуло от него.

— Ты, идоx! — понятился парень. — Со-
жрать меня восхотел?! Э-эх, кабы на воле,
сошлась бы мы... Загрызешь — тому так и
быть, побит будешь — шкуру с тебя сдеру...

Часто моргая глазками и раздвывая поздри,
медведь рвался вперед. Цепь натянулась;
вот-вот лопнет. Зверь принялся быстро хо-

дить справа налево и обратно, косясь одним глазом на парня.

Скрипнул тяжелый засов, раздались голоса, двери распахнулись. Окруженный челядью, в сарай вошел сам владелец богоявленской вотчины — невысокого роста, тучный, бородатый, с курчавой, седеющей головой. Одет в зеленую рубаху, опоясанную ремнем. С виду скорее — прасол, нежели человек знатного рода, богатый, вотчинник. По всей округе прославился он своею скупостью. Позали холон с ведром и плетями, подкрася к кашушке, врытой в землю, и быстро выпил в нее мурцовку — смесь воды, хлеба, лука и отрубей. Медведь принялся жадно локать.

Колычев с любопытством следил за ним.

— Заколите барана утрься. Пускай шопирует. — Колычев осмотрел всех с самодовольной улыбкой.

Обернувшись к парню, плюнул в него. Вытаращил глаза, сказал тихо, с злой усмешкой.

— Добро быть законником! Не так ли?!

— Тяжко, государь-батюшка, на цепи сидеть! Пусти на меня медведя! Дозволь учинить с ним бой, потешить тебя, добрый боярин, с супругою твоею пресветлою... Лучше спину в том бою, нежели томиться в неволе!

Колычев круто повернулся и, сердито стуча посохом, пошел из сарая. Снова заскрипел засов.

Андрейка видел в щель, как медленно, в хмуром раздумьи, уходил на усадьбу впереди своей челяди боярин Колычев.

Широкая сосновая просека ведет к боярским хоромам в два житья¹. Они обширны, бревенчатые, с башнями и многими лесенками. Узкие слюдяные окна открыты — видны ковры, вытвря, на стенах. Пэвне, по бокам окон, раскрашенные светлой зеленью, — резные столбики, а над окнами — «летушничья резьба». Крыши высокие, покатые, обложены дерном, для предохранения от пожара. Невысокая ограда с громадными воротами вокруг хором. У ворот — сторож с дубинкой.

Никита Борисыч родовит и знатен. Прославившийся своей праведной жизнью янок Филипп — Колычевского же рода.

Отгнав посохом зубастых псов, немолвившись на икону, врубленную в ворота, Колычев проследовал к дому. На пороге опять помолвился. А в постельной горнице и того больше. Сел на скамью и молвил:

— Агриппина, псы и те учуяли, чем بودло из Москвы...

Жена кротко взглянула на него, но сказать ничего не осмелилась. Когда боярин не в духе, всякое слово не по нем. Что ни скажешь — все не так. Она знает и то, что ему хочется, чтобы она отозвалась на его речь. Но нет! Поддаваться не след.

В страхе съезжилась Агриппина. Маленькая, худенькая, в зеленом шелковом с серебряной каймой летнице, в крохотном бисерном кокошнике, она выглядела совсем девочкой. Густо нарумяненные, по обычаю щечи казались вышуклее, чем были на самом деле. Она опустила ресницы, боясь взглянуть в лицо мужа.

— Чего же ты?! Каши, что ли, в рот набила?! Чего молчишь?! Ай не слышишь?! Кто впиоват?!

Агриппина вздохнула.

— Милостивый батюшка! Уволь! Мне ль мудрить?!

— Уж не забыла ли ты московского щеголя?!

Колычев некоторое время смотрел на нее подозрительно. Потом самодовольно улыбнулся. Никакого лукавства в ее лице он и не нашел.

— Такой случай поймет и баба, — ухмыльнулся Колычев, отвалившись к стене и широко расставив ноги. — Царем-государем, — бог с ним, — великая обида учинилась на Руси. В каждой царской грамоте видны мы свое, боярское, посрамленно. Всех залп в одно: и бояр, и дворян, и детей боярских, и шолов, и посадских людей, и пашенных мужиков — «черный люд»... «Во всем без отмены, чей кто ни буди»... Как то понять? Требует царь, дабы все мы в дружбе жили «меж собой совестясь, все за один»... Как же так? Стало быть, боярин и пашенный мужик вместе выбирать себе судей станут?! Гоже ли то?

Для Агриппины не было ничего мучительнее, чем эти вопросы. Как ответить, коли и в самом деле она ничего не понимает в царских грамотах? Да и бояре-то плохо разбираются, что к чему. Запутались!

— Стало быть, Иван Васильевич и божьему чинит сие управство? Стало быть холоп, мужик и вотчинный владыка, князь либо боярин, одно и то же? Так што ли Ну, отвечай! Чего же ты? О чем думаешь?

— Батюшка ты мой, государь родимый Бабий ум короток — где ж нам? — плачущим голосом взмолилась Агриппина.

— Еретики! Лихо вам! Лихо вам! И быть по-вашему! — крикнул Колычев, погрозив кулаком в окно.

Лицо его покраснелось, глаза позеленели, голову он втянул в плечи, как рассерженный филипп.

¹ Два этажа.

— Наша власть на молитве да на воинском дорождении из века в век возмужала. Попробуй, побори ее... Я здесь хозяин, — прошипел Никита Борисыч.

— Мы! мы! мы!.. В последние люди мы попали!... А?! Писака пекли парю челобитную подал... «вельможиде не от конх своих грудов довольствуются. Вышале же потребны суть ратаеви»¹. «От их бо трудов едим хлеб». Слышишь, что ль? Какой-то Пванка сунул парю противу бояр челобитную! Все учат царя, а он слушает. Не к добру то. Бобыля, все одно, живым я из овина не выпущу... Вон князь Данила расковал такого-то... а он в Москву, со словом на своего же господина. Худо пришло Далиле... Объярмили боярина. Тяглом объярмили в цареву казну. Чего молчишь?! Аль онемела?!

Агриппина была жепщиной чувствительной, любила поплакать. Это выручало.

По щекам ее поползли слезы. Она уже пролила тайком от мужа не одну слезу, только не о парне, посаженном в сарае на цощь, а о том красивом молодце, который только что уехал из вотчины опять в Москву. Он такой смелый, такой сильный и ласковый. Как же тут не поплакать?

— Чего ревелишь?! Почто жена, кати с мужем не советует?! С женою доброю, советливою пригоже сходиться. Ни яства, ни пиятия, ни греха ради пришел к тебе. Добрые беседы ради.

В ответ на такое решительное требование Агриппина тихо проговорила:

— Не ведаю, батюшка, ничего, и не слышала, и не знаю, токмо от тебя одного и жду поучения, государь Никита Борисыч...

Кольчев, подумав, опять остался доволен смиренным ответом жены, поднялся со скамьи, помолится на икону, поклонился, сказав: «Надо бы кончить и с этим лаптем. Пойду!»

Она ответила на поклон, а после ухода мужа села на скамью и горько расплакалась. Пропала ее молодость! Так бы и помчалась туда, в Москву, вместе с ним, с московским гостем. Приняла бы грех на себя, а там будь что будет! Ради такого красавца не худо и пострадать.

Агриппина выглянула в окно. Сосенка торпичится яркой мушистой зеленью около самого наличника, а вдали чернеет хвоя взерошенных древних кедров. Кукушка закуковала. Густой, пьянящий запах смолы пробудил в душе неясные, но прятные, чувства. Агриппина всыхнула, осмотрелась. Никого нет.

— Господи, прости меня! — прошептала со слезами.

Одна жизнь у нее — для мужа и людей. Другая — глубоко запрятанная ото всех и почему-то всегда казавшаяся греховною — для себя. Однако, верилось в то, что стоит попросить у бога прощенья, как грех снимется и ничего не будет, а на этом свете никто и не узнает, ибо есть ли тайны крепче тех, которые живут в боярских теремах и которые остаются известными только одному богу?!

Вот почему, увидев своего мужа, удалявшегося с толпою слуг, она стала усердно молиться о себе.

Никита Борисыч решил покончить с Андрейкой. Подобные вот молодцы и бывают причиною боярских горестей. Да говорят, что он больше всех шептался с тем московским человеком. Иные из таких, убежав, становятся разбойниками — тогда берегись! Жли вистеня! Иные утекают в Москву, шлятся там, болтают разные небыллицы про своих хозяев, а худая молва никогда до добра не доведет, особь в нынешнее государствование. Есть и такие, что до самого Красного крыльца добравются, бьют парю челом, жалобу приносят. То — самое опасное. От разбойников, от худой молвы оборониться, от царского гнева — никогда!

С такими мыслями Кольчев подошел к овину. Осмотрел свою челядь. Сказал, чтобы с ним остались только двое: Сенька-палач и старший приказчик Онисим.

— Ну, убирайтесь! — замахнулся плеткой он на толпу дворовых.

Стремглав бросились они бежать на усадьбу.

Выждав минуту, Кольчев приказал поднять засов. Сенька, здоровенный бородатый детина, с опухшими, раскосыми глазами, схватил засов, поднял его...

Прямо перед ним, у раскрытой двери, стоял медведь... Цепь была сорвана, тянулась за ним, как хвост.

Первым пустился бежать сам Кольчев, за ним Онисим, а позади всех Сенька-палач. Медведь стоял неподвижно, наблюдая за бегущими, а потом привскочил и помчался за людьми по просеке.

Оглянувшись, Кольчев завопил на всю усадьбу.

Агриппина увидела в окно мужа, карабкающегося на ворота. Через некоторое время из кустарника выскочил медведь. Агриппина, вскрикнув, замкнула сени и окна. Спряталась в темный чулан, нашептывая молитвы.

Медведь прошел под воротами, обнюхивая воздух. Увидев кур, метнулся за ними. Куры с кудахтаньем бросились в рассыпную. Неко-

¹ Ратаеви — крестьяне.

которые перелетели через частокол. Зверь неторопливо тоже перелез через частокол.

В это время во двор вбежало несколько человек с рогатинами. Двое с луками. Они пустились через двор в обход. Сидя на воротах, грозно покрикивал на них Кольчев.

Медведь, встревоженный шумом, скрылся в лесу. За ним последовали и дворовые.

Убедившись, что опасность миновала, Кольчев с достоинством слез на землю. Обтер лоб. Помолился и, тяжело дыша, побрел домой.

Сердито стал он барабанить кулаком в запертую дверь. Послышался голос: «Кто там?»

— Да отворяй, что ли!

— Бог с тобой, батюшка! На тебе лица нет! — воплеснула руками Агриппина.

— Будто не видела!.. — озадаченно взглянул он на нес.

— Ничего не видела... Ничего.

— Ты этак и своего боярина проспишь...

Никита Борисыч тяжело опустился на скамью, обтер рукавом пот на лбу.

— Уж лучше на войне помереть, чем от лесной гадины... — промолвил он, отдуваясь, смахивая рукой ренне с шароваров.

Агриппина села за палецы, не осмеливаясь взглянуть на мужа.

Боярин хлопнул в ладоши. Появилась сенная девушка.

— Покличь Митрия... — глухо прозвнес он.

Она поклонилась, выбежала на волю. Дмитрий — самый близкий дворовый человек к Никите Борисычу. Ему он поручал только особо важные дела.

Боярыня недолюбливала Дмитрия; он вздумал и за ней, за Агриппиной, следить. Часто Никита Борисыч записался с Дмитрием в своей горнице. Они перешептывались целыми часами, и, как ни старалась она подслушивать их разговоры, ей не удавалось ничего разобрать. Но ей всегда казалось, что разговоры их обязательно про нее. А теперь тем более...

Маленького роста, коренастый, рыжий, с острою длинною бородою и вместе с тем очень услужливый, Дмитрий обладал необычайной силой; в кулачных боях являлся для всех грозою. При Никите Борисыче он был чем-то вроде телохранителя и пользовался большою любовью его.

Дмитрий побежал к дому.

Агриппина вышла кормить голубей на башню. Это было ее любимым занятием. Она вскоре увидела, как Дмитрий с плетью в руке быстро вышел из сторожки и побежал по просеке к медвежьему сараю.

Вечером пахло скошенной травой, нагретою солнцем. Синие сумерки окутали Бого-явленское. Дворовые люди боярина Кольчева утомленные бестолковой беготней по лесу и криками хозяина, лежали на кошке сена в сарае, робко перешептываясь.

— Ай да Герасим! Вот те и бобылек! Что сотворил!

— Как святым духом взяты!

— На брань захотели. Суностатов крушить. Мыслия такая была.

— Кому воли не хочется?! Вон «хозяин»¹ и тот убе! Не стал нас ждать. А бобыли и вовсе... Чего им! На камушке родилась, в круглой пищете.

Послышались громкие, тяжелые вздохи во всех углах.

— И надо же так! Крышу разобрал... Вытащил Андрейку... «хозяину» цепь обрубил. Обо всех позаботился. Улетели, что голуби... Вот и поймай теперь их!

— Игла в стог упала — знай пропала!.. Ха-ха-ха!

— О-о-ох, люди, люди! Спите! — кто-то сказал громко, с тоской. — Мы — тля! Дворы есть, пашня есть, а нечего есть. Сердце, братцы, горит!.. Иной раз боязно — не задохнуться бы! Так и жмет, душит! Спите! Ладно!

— Дело ясное! У курицы и у той сердце.

— Кто разгадает — где они?! Посылай Никита Борисыч верховых по всем дорогам, да нешто поймашь?.. Сам, пес, Митрей гонялся, да ни с чем и вернулся... Теперь беда всем нам от боярина.

— Ичаво! У горя — догадка, беда — ум родит.

— Тише! — послышался тревожный шопот. — Не услышал бы кто. Спите!

— Звезды одби... наши сестры... не скажут!..

Шопот стих. Клонило ко сну. В лесу кричала неясыть, будто кошка; хрустели сучья под боком у сарая: может, заяц, может, еж! Их много в окрестностях... Жужжали, влетая стрелою в черняк, ночные жуки.

Огромная, пьянящая покоем тишина летней ночи брала верх. Вотчина боярина Кольчева и лесные дебри погрузились в сон.

III

Московскому собору тысяча пятьсот пятидесятого года Иван Васильевич говорил: «Старые обгичан на Руси пошпатались». Царю было всего двенадцать лет, а упрямства на старика хватило бы.

¹ Медведь.

После того и началось. Не миновало и богоявленской вотчины. Диковина за диковиной!

Один государев судебник что шума наделал!

Конечно, и в прежние времена в волостях полагалось выбирать мужицких старост, а на судах присутствовать «судным мужам» из крестьян, по сильные родовитые вотчинники умели обходиться и без того. Теперь попробуй, обойдись!

На московском соборе царь и об этом помянул: «Земским людям лутчим и середним на суде быть у себя не велят, да в том земским людям чинят продажи великия».

Как сейчас, перед глазами Колычева — гневное лицо молодого царя, грозившего слушникам жестоким наказанием.

Прошло пять лет. Царь тверд. Он и не думает отступаться. Напротив! Тот же Васыка Грязной привез в богоявленскую вотчину новую грамоту, а в ней сказано: «На волостном суде быть крестьянам пяти или шести добрым и середним». А он, Колычев, болдунью-старуху сгубил безо всякого суда своей властью, и к тому же избивал бобыля Андрейку, вздумавшего грозить царем.

«Господи, спаси и помилуй! Бобыль утек, а с ним и Герасыка Тимофеев, его дружок. Обскакали на юнях, обшарили холопы все леса и поля в окружности, а беглецов так и не нашли».

Дрожаящими руками держал Колычев царскую грамоту: «Всеим крестьянам Богоявленского, Троицкого и Крестовоздвиженского сел vybrати у себя прикащиков, и старост, и целовальников¹, и сотских, и пятидесятских, и десятских, которых крестьяне меж себя излюбят и выберут всею землею, от которых бы им обиды не было и рассудить бы их умели в правде, беспосульно и безволынтно...»

Выбранным народом в черных государевых землях целовальников и приказчиков грамота строго-настрого запрещала утверждать жестным землевладельцам: «И тех прикащиков, и крестьян, и дяков для крестного целования присылати к Москве».

«Господи Иисусе! Мужиков посылать в Москву?! Да на кой бес они там пужны?»

Колычеву сделалось душно, словно потолок опускается все ниже и ниже и вот-вот совсем раздавит его.

— Господи! — прошептал боярин. — Да что же это такое?!

Придя в себя, крикнул слуг, велел принести вина зеленчатого и заперся в одной из башенок своего дома.

Это было самое любимое место, где он уединялся со своими «нестовыми» мыслями о царе.

На обитых казанскими коврами стенах красовалось дорогое оружие прародителей: мечи, сабли с насечкою, шестоперы, усыпанные самоцветами, оперенные стрелы в саадаках, золоченые щиты, рогатины, шлемы, кольчуги...

— Ишь, побойчал, волчонок!.. Охрабрился не по совести!.. Узды нет!.. Все перевернул по-своему! — бессвязно бормотал боярин, опрокидывая чарку за чаркой.

Мысли дикие, жуткие. Захотелось обратиться в черного ворона и улететь. Куда?! На всей Московской земле — волостель Иван. Улететь бы в Польшу, в Литву, в Свейскую землю. Туда, куда ушли многие именитые новгородцы...

В прежние времена был закон свободного отъезда в чужую страну, коли не поладил с великим князем, ныне и этого нельзя. Изменниками объявил царь всех «отъехавших»... А прежде то и за грех не считалось, мирно расходиться.

Да и на кого оставить Агриппину, землю, все богатство?

Дело сделано. Старуха убита без суда, а исчезнувшие из вотчины бобыли, как говорят, побежали в Нижний-Новоград, а через него — в Москву. Буде так, — от царя правда не укроется.

Колычевых род добрый, богатый, древнейший, соплеменный роду Шереметевых. Прародитель Колычева воин доблестный и славу великую воинскими подвигами стяжал. Ныне в Москве, в своем доме, живет родной брат Никиты — Иван Борисыч. Вельможа знатный и царской милостью в изобилии украшенный. Есть и ныне доброты. Не послать ли к ним гошца с грамотой? Не попросить ли в грамоте Пвана Борисыча перенять мужиков?

Ой, нет! Прискорбнее не стало бы? Может, беглецы ушли на Украину, на рубежи, а не в Москву. Тогда сам на себя беду наклапашь.

Визу, в светлице, Сеяя-домрачей пел Агриппине любимую ее песню о том, как красавица-княгиня полюбила своего холопа и как Гамалюн-птица спасла от княжеского гнева и лютой казни того возлюбленного и снесла его в золотые чертоги и как боже-ственная Лада¹ скалилась над тоскующей княгиней и соединила красавицу княгиню с бывшим ее холопом, ставшим царем тридевятого царства, тридесятого государства. Никто с тех пор не мог мешать княгине любить

¹ Целовальники — сборщики налогов.

¹ Лада — покровительница любви, брака.

парня, ибо он уже перестал быть холопом, сравнялся с парнями и в царстве своем издал приказ в любви не разбирать званый — все одинаковы, и никто в том царстве не боится никого, никто никому не завидовал, а жили все заодно.

На той свадьбе и я был
И мед пил.
По усам текло,
А в рот не по пало,—

с улыбкою закончил свою песню хитрущий Сеня-домрачей.

Струны умолкли. Он внимательно взглянул на Агриппину. По ее щекам текли слезы. Глаза ее были обращены к иконе. Она тихо шептала что-то. Вдруг обернулась к нему и спросила:

— Далече ли Москва? Поведай! Развей хворь, кручину, тоску мою!

— На жоне буде — суток четверо; в лаптах — десять отшлепаешь... Да и кто такой? Дворянин, либо иной вольный, либо чернец — ходьба ровная, без оглядки — ходчее будет. Беглый или бродяга, не помнящий родства, дойдет ли пет и в какое время — господь ведает.

Агриппина задумалась.

— Ну, ну, спой еще — песню. Не уходи! — попросила она.

Зачесав свои длинные волосы на затылок, опять взялся за гусли курносый Сеня, вытянув шею, залел, часто моргая, под унылое брочанье жальных струн:

Спится мне младшенькой, дремлется,
Клонит мою головушку на подушечку;
Хозяин-батюшка по сеничкам похаживает,
Сердитый по новым погуливает...

— Будя! — вспыхнула Агриппина. — Пиди! Чтоб тебя и не было! С богом!

Она открыла потаенную дверку в стене и вытолкнула его вон. Домрачей был маленького роста, весь лестрый, юркий. Он живо выскользнул на улицу, торопливо пошел к воротам усадьбы. Сверху загремел пьяный толос боярина:

— Сенька! Скоморошь! Подь сюда, лукавый пес!

Домрачей ошметью пустился бежать на зов хозяина.

— Кто я? — поднявшись с места, спросил Кольчев опешившего Сеньку.

— Осударь ты наш батюшка! — бухнулся он боярину в ноги.

— Врешь! Холоп я. Бражник я бесовский! Говори «да», сужин сын! Говори!

Сенька лежал на полу, уткнувшись в ноги Кольчева, с удивленным следя одним глазом за боярином.

— Ну, говори! — грозно крикнул Кольчев, занеся кулак над ним.

— Да!.. — тихо, и страхась своего голоса, произнес домрачей.

— Вон! Вор ты! Все вы — воры! — поступленно завопил боярин. — Вон, ехидна! Вон! В цепь! В колоды!

Сенька ползком скрылся за дверью.

Агриппина слышала, как испуганный Сенька шлепает босыми ногами, убегая по лестнице. Она легла в постель.

Какое несчастье, что бог не благословил ее ребенком! Передко по почам ей грезится, будто рядом с ней лежит маленькое улыбающееся дитя; она его целует, ласкает. После такого сна еще хуже становилось на душе. Никита Борисыч постоянно упрекает ее: «Соромишься ты, соромишься!» Вину сваливает на нее. По виновата ли она? Никита Борисыч говорит: «Не от человека-де зависит, зачать или не зачать», а сам бранит ее, что-де ее наказал бог «неплодством», не его, а ее.

— Чего для оженился я? — сердито ворчал он.

Житя не было от Никиты Борисыча: укорам, оскорблениям не предвиделось и конца.

Но... теперь? Если и теперь... Вель и впрямь провинилась она перед боярином. Было! Было! Ох! ох!

Велужские леса. Густые заросли ельника и можжевело; сосны, озера, топкие болота да мелкие лесные речушки, заросшие осокой. Шесть числа им — извилистым, тинястым, зачастую очень глубоким. Рыбы всякой видимо-невидимо. По почам рыси мяукают, слышав оленя; медведи, ломая деревья, деловито спуют в чаще; чувствуют себя здесь полными хозяевами. Болот много. Не отличишь их от зеленых полей. На бархатной поверхности цветочки маят к себе, соблазняют, но горе тому, кто вздумает поверить им! Засосет с головой. По ржавым зыбунам змеи ползают с кочки на кочку. А на лесных озерах, в тростниках, беспечно дремлют лиле лебеди, перекликаясь с пухлыми лебедятами, да бобры греются на солнышке, высунув из воды свои мокрые, прилизанные спины.

В теснине лесных троп темно, сыро, пщат комары, горбятся, вынывая в тело. Никак не отъбьешься! Ежи свертываются в комки под ногами, мешают идти. Андрейка и Герасим с большим трудом пробиваются сквозь чащу.

Но страшнее всего леший. Его хохот, ауканье, свист и плач леденят душу. Ноги подкашиваются. Про него говорят, что он

лучезальный, с густыми бровями, зеленой бородой. Не дай бог с ним встретиться!

Особенно жутко в сюземах — любимое место пещити — самые глухие, непроходимые дебри. Тут столько лесной гнили, старых поваленных деревьев, всякой колючей путаницы и трухи, что даже лесные пожары здесь глоснут. Дойдет огонь до сюзема, опалит, очернит лесную крепость, а взять ее так и не сможет. Сила дешего сильнее огня.

Осторожно, с оглядкой, совершали свой путь через сюземы Андрейка и Герасим. Лезли через деревья и молились...

И все-таки страх перед Больчевым, боязнь погони сильнее всех иных страхов. Нет такого препятствия, которое могло бы остановить парней. Исколотые иглами, с парашаньями валежником и порезанными оскою погами, неустойчиво движутся они вперед, к Волге. Ни одного жилища, ни одной деревеньки! Ночью — тишина, пронизывающая тело сырость и бледные, бесстрастные звезды.

У Герасима — нож. Он держит его наготове. Им же пробивает дорогу. Андрейка все еще чувствует боль в руках от цепей: слаб еще он, не надеется на себя.

— Ничего! — утешает его Герасим, шествуя вперед. — Понадеемся на Дорофея — утро вечера мудренее, а придет Ларивоя — дурную траву из поля вон!

Что страхи? Долой их! Лето! Июнь — розон-цвет! Самая пора быть в бегах. Поля, по всем дорогам на Русь тайком пробраются люди... Куда? К Волге! К Волге! Выйдешь на Волгу, все дороги там сходятся. Только бы скорее кончился этот проклятый дремучий бор!

Рано светает. Рано лес просыпается. Рано зверь приходит к ручью. Розовые зори заглядывают росу.

Андрейка тоскует.

— Что о том думать, чего не придумать... Наше дело холопые, серое.

— Знаю, Герасим, да уж, видать, бог сотворил так: шуба овечья, а душа человеческая... Ничем не заглушишь, щемит в груди обиды!

— Пройдет! На войну захотел, поклялся до царя дойти, а ныне вздыхаешь! Дурень! Опомнись! Сплища-то у тебя какая! Бурелом ты, а не человек. Не ж лицу тебе плакаться.

После долгого пути, наконец, лес поредел и блеснула залитая солнцем Волга. Широкая, спокойная, величественная.

Оба парня осенили себя крестным знаменем.

— Она! — тихо, растроганным голосом произнес Андрейка.

— Она, братец, она... Гляди, какое при-

волье!.. Как хорошо! Чайки, гляди, — на самой воде!

— Слушай, — произнес Андрейка, — мой отец... сызмала... — И, недосказав того, что хотел сказать, он крепко обнял Герасима.

— Экой ты... пусти! Ребра трещат! Чего еще отец? Болтай тут! О себе страдай, дурень!

Андрейка собрался с силами:

— Всю жизнь, почитай, думал о Волге, так и не увидел...

— Что ж из того? А вот мы с тобой увидели... Ну, теперь помолимся! Чего дед не видит, то внук увидит. Молись!

Андрейка и Герасим опустили на колени и давай молиться. Они не знали никаких молитв, да их никто и не знал из крестьян. Молились о том, чтобы не догнала их боярская погоня, дойти чтоб благополучно до Москвы, царя бы увидеть и рассказать ему о злом боярине... Они подбирали самые жалобные слова, стараясь разжалобить бога, чтобы обратил он свое внимание и на бедняков.

Заночевать пришлось в овраге на берегу — место безопасное: глубокая впадина, заросшая густым орешником и березняком.

Единственным человеком, который подсмотрел за парнями, оказался старый рыбак, — толстый мордвин с насмешливыми глазами.

— Аль хороинтесь? — вдруг просунул он голову сквозь кустарники.

Парни вздрогнули. Схватились за дубье.

Старик рассмеялся.

— Ого-ого-оо! Огонь без дыма не бывает. Знать, и впрямь тайное дело.

Герасим насутился.

— Помалкивай... Царево дело вершим. Слово несем.

Рыбак покачал головой: «так-так».

— А не боитесь? — спросил он и рассказал, что слышал про царя, когда царица рать возвращалась по Волге из Казани.

Княгиня Елена, мать царя Ивана, во время тягости, близ родов, запросила некоего старца юродивого, кого-де она родит. А старец тот, юродствуя, ответил княгине: «Родится у тебя, пресветлая княгинюшка, Тит — широкий ум!» В час его рождения по всей русской земле был великий гром, блистала молния, как бы основание земли поколебалось. «Так родился наш государь Иван Васильевич».

— Сам-то ты видел его?

— Будто видел, сынок, видел...

— Поведай толком, как то было.

Путая русскую речь с мордовской, старик рассказал:

Покорив царство казанское, Иван Васильевич возвращался домой через Нижний-Новгород. Много до той поры страдали нижегород-

цы от набегов казанских татар, а потому и радовались победе. Показались на Волге ладьи московского войска, затрезвонили на всех колокольнях, толпы народа сбежались на берега. Духовенство с крестами и иконами вышло навстречу царю. Едва царь сошел с ладьи, народ упал на колени, радуясь, что наступило избавление «от таковых змий ядовитых, от которых страдали сотни лет».

Два дня пробыл царь Пван в Нижнем, распустил войско, благодаря ратников за труды и подвиги, и отправился в Москву через Балахну.

Старик с гордостью поведал о том, что царь Иван полюбил мордву за верную службу. Проводниками у московского войска были мордовские люди. Особо угодил царю мордвин Ардатка. Его именем царь назвал город Ардатов. Именем Арзая назван город Арзамас. Именем Плейки — село Калейки; одарил царь и проводника Пчалку.

Старик хитро подмигнул и рассказал тихо, вполголоса.

— Недалече отсюда дочку я хороплю... от нашего наместника. Пригляделась она ему, и велел он ее во двор свой свести, и сказал я в ту пору наместнику, будто утопла она... моя дочка... Дали два десятка батогов и с воеводского двора согнали меня. Она тут на берегу, в земляной поре... А что дале делать — не знаю.

Парни переглянулись. Стало-быть, не они одни хоронятся от людей.

— Лахно, друг! Не горюй!.. Жди правды. Далеко ли она, твоя дочь-то?

— Недалече.

Андрейка вздохнул.

Герасим пошел вместе со стариком.

В соседней ложине, в землянке, на домотканной узорчатой холстине, покрывавшей сено, лежала девушка. Услышав окрик отца, она испуганно вскочила.

Герасим с удивлением и восторгом глянул на нее.

— Вот, прими, — сказал старик, протягивая ей хлеб, — добрые люди тут, недалече от нас... Тебе послали. Пожалели.

Высокая, стройная, чернوبرвая («ой, вот так девка!»), одета в лиловую бархатную душегрею поверх длинного белого шупшана, расшитого широкими синими узорчатыми полосами на подоле. Простой белый кокошник. Она стала против Герасима слегка наклонив вполборота голову, так что ему не удалось уловить выражение ее лица. Тихо спросила, не оборачиваясь:

— Русский?

— Добрые люди, Охима... Не бойся!

Дед сердито заговорил с ней по-мордовски. Она подошла к Герасиму и приветливо улыб-

нулась. Черные, как вишни, глаза, смотрят дружелюбно: маленький рот слегка усмешливый.

— В Москву? К парю? — живо спросила она, взяв Герасима за руку. Парню стало жарко: «эх, какие бывают!» Тяжело вздохнул, и, смутившись, ответил:

— С челобитием к царю-батюшке.

— Возьмите меня, — оглянувшись на отца, проговорила она по-русски. — Нельзя мне тут. Уходить надо.

Старик опять заговорил с ней на родном языке. Видно, он ее журил за что-то.

— Иди, молодец, отдохни... — махнул он рукой Герасиму. — После покалякаешь.

Герасим быстро побегал по берегу к своему товарищу. Камни катились по нагорью к воде, несколько раз он цеплялся за коряги и падал, по всего этого теперь он не замечал.

Волга притихла. Наступал теплый, синий летний вечер. Солнце опускалось за сосны. «Какая девка! Будь проклято это чудовищепаместник!»

Андрея клонило ко сну. Оставшись один, он помолился о благополучном исходе из нижегородских земель.

Появился веселый, сияющий Герасим.

— Вот так дочь!.. Мордовка! Вот так чудо! Не могу я тебе рассказать какая!

— Помолчи... Спать хочу.

— Андрейка! Чурбан! Она тоже в Москву... как и мы, видать, собирается.

Андрейка не отвечал. Голова его опустилась на грудь. Он засыпал.

Герасим сел рядом, задумался: брать или не брать мордовку в Москву. Взять? С парнем трудно будет скрываться от лихих людей, она свяжет их обоих. Не брать? Огорчишь ее, будет плакать (Герасим вспомнил ее глаза, ресницы, голос). Она может одна уйти, ее могут убить, звери растерзать... Можно ли допустить? Да, и скучно будет без нее, двоим-то!

И так, и этак, у Герасима получалось — надо взять.

Но небу широко разметалась звездная россыпь. В лугах, заглушая один другого, стрелотали кузнечики. Герасим осторожно, боясь нарушить сон своего товарища, приподнялся, прислушался. Крадучись, пробрался через кустарник на берег. Где-то поблизости, в тихой воде, всплеснула крупная рыба. Разбежались круги по стеклянной глади.

Старый мордвин возился на берегу около челна. Увидав Герасима, он поднялся, молча стал следить за ним, а когда тот приблизился к жилищу его дочери, старик сердито обликнул парня по-мордовски:

— Месьть тива азгундыят!¹

¹ Что тут пляешься?

— Ух, ты, старина, какой ты сердитый! А где дочь твоя?

— Спит она.

Сверху раздалось:

— Человек, иди!

Строгий, повелительно прозвучавший голос девушки приятно поразил Герасима. Старик замолчал и, как ни в чем не бывало, снова углубился в свою работу. Герасим вскарабкался по берегу к тому месту, где стояла Охима. Она взяла его за руку и отвела в сторону. Оба сели на большой камень над Волгой.

Теплая летняя ночь, запах скошенных трав. Далеко-далеко на той стороне Волги — тихие мерные удары колокола.

Охима рассказала Герасиму:

Когда царь Иван с войском шел на Казань, то в Нижегородской земле, на реке Кудьме, была вот такая же ночь, как теперь. Поставили царю в поле шатер. И только обошел он ставовище, как увидел, что все спят, и явился к себе в шатер, снял с себя меч, приготовился ко сну. Но когда он молился, услышал, будто около шатра кто-то ходит. На воле увидел он облаканную луной мордовскую девушку в одной рубахе. Была она подпоясана зеленою веткой. «Что тебе надо близ моего царского шатра? Идем ко мне!» — сказал царь. Он был совсем молодой, и его улыбка была такая, что девушка с радостью вошла к нему в шатер. «Великий государь, — сказала она, — твои ближние люди, — и назвала она их всех по имени, — умыслили тебя извести. Берегись их! Два дня осталось тебе жить, коли ты их не уничтожишь. Молодой царь крепко обнял ее и облюбывал. Снял с нее зеленую ветку и опоясал ее дорогим золотым кушаком.

Враги ночью подкрались к шатру, чтобы известить царя, а царева стража, укрытая в шатре, выскочила и всех перехватала.

Мордовка пошла к себе домой, в деревню, но тут братья злодеев увидели в поле эту девушку, догадались, зачем она ходила в царский шатер, и убили ее.

И когда царь узнал про то, горько сожалел о ней и велел похоронить ее по-царски. А на память будущим людям насыпать на ее могиле высокую-превысокую гору. И называли ту гору «Девичьей горой», а стоит она, эта гора, недалеко от Арзамаса.

Охима вздохнула:

— Та, бедная, которую убили и пояс у которой золотой унесли, была наша мордовская девушка, а звали ее, как и меня, Охима. И не будете жалеть вы, что пошли к царю с мордовкой... Царь знает мордву. Я правду говорю. Наш народ любит ваш народ. Наша нижегородская мордва царю служит, как и все.

Она замолчала. Волнение послышалось в ее голосе.

Небо потемнело, звезды стали ближе, ярче. Герасим сидел, очарованный Охимой, ее рассказом, летней ночью, вольной волюшкой...

Плечо Охимы пригасалось к его плечу, а кудри его щекотали ее щеки. Она не дичилась. Она рассказала ему то, о чем умолчал ее отец. Старый рыбак слукавил. Он умолчал, что Охима уже была во власти помещика, что он силою взял ее себе в наложницы, и что она тоже «в бегах». Мордовские всадники похитили ее из кремлевского терема и вернули отцу. Но каждый день она со страхом ждет, что ее снова схватят воеводские холопы и увезут в нижегородский кремль.

— Эге! — вздохнул Герасим. — Вижу я, и впрямь тебе остается бежать с нами. Доколе будем терпеть, доколе будем страдать? А мы с Андрейкой и на войну попросимся. Приезжал в нашу вотчину один дворянин, много про войну говорил... смущал народ.

Охима смелая, она не похожа на прочих женщин, забитых, бессловесных. Прислушиваясь к ее мужественной речи, Герасим диву давался, как так могло случиться, чтобы такая смелая баба на Руси была. В богоявленской вотчине все бабы забитые, безгласные, а эта... «Уж не оттого ли, што воеводской наложницей была?» Как не пожалеть такую? Вот он ее обнял и поцеловал, и она не противится, притихла, такая теплая, ласковая...

А как она говорит о своих соплеменниках, с каким огнем в глазах осуждает неправду, чинимую мордве воеводскими холопами!

Герасим думал уже теперь о том, что хорошо бы Андрейке поспать покрепче и подольше. Так приятно беседовать с Охимой наедине. Ее черные очи сверкают ярче звезд... Вот бы сесть с ней вдвоем в чели и поплыть вниз по Волге-реке... Позабить все на свете!

Ох, ты, воля моя, воля, воля дорогая.

Уж ты, воля дорогая, девка молодая...

— Пойдешь? Да? С нами пойдешь, Охимушка? — опяпев от первого же поцелуя, шопотом спросил ее Герасим.

— Зачем спрашиваешь? — прошептала Охима. — Ну что ж! Пойду! Чай вас я не хуже!

IV

Много рассказов ходило в областях и на окраинах о Москве. Силу ее чувствовали на себе все в государстве. Были послушны ей, боялись ее.

Андрейка, Герасим и Охима, однако, подходили к Москве без всякого страха, с любопытством.

Дорогою слышали они и о боярине Кучке, который в древности раскинул на берегах Москва-реки свое усадьбу, и о великом князе Юрии, сыне Владимира Мономаха, основателе Москвы, и о кремле, построенном в лето тысяча сто пятьдесят шестое.

Пока же в окрестностях Москвы, кроме темного бора, ничего не было видно. Широкая дорога, обросшая ельником и соснами. Деревья высокие, столетние. Мелькают болота, раскиданные в беспорядке избы, копны сена на полянах, коровы, ягнята...

Андрейка удивлялся — чего ради на таком низком, грязном, болотистом месте построили Москву? Сосен да елей, можжевельнику, что хочешь и в других местах, и комаров тоже.

Но вот лес кончился — слава богу! Дорога пошла по открытому месту в гору; извозгорье — ветряная мельница, поодаль — кучка бревенчатых домишков, деревянная острокопечная церковь.

— Стойте! — сказал Герасим. — Помолнися, — и айда на гребень.

Помолнились. Осмотрелись крутом — ни души. Осторожно взошли на гребень, внизу — река! Быстрая, неширокая.

— Вот те и на! — вздохнул Герасим. — Где же Москва?

Охима рассердилась:

— Всю дорогу поете... Эх, и послал же мне шайтан вас!

— Не ты ли сама, язычница, на грех нас навела? Кабы не твои глаза — не пошли бы мы с тобой. Шла бы ты одна, — сказал с досадою Герасим.

Охима посмотрела на него полусердито, полусмешливо.

Полдень. На реке тихо-тихо. По брюхо в воде бродит теленок. Андрейка быстро разделся, сбегал вниз и бросился в воду. Герасим помялся-помялся, да и за ним. Охима отошла несколько в сторону, хотя и не было ничего зазорного в том, если бы и она разделась тут же. Купанье повсюду было общее. Охима тоже разделась и сошла в реку.

Разбивая руками и ногами воду, она отплыла на середину реки, стала на дно. Сквозь прозрачную воду виднелись многоцветные камни и ракушки.

Охима громко и бедою запела по-мордовски:

«Если смотреть на меня спереди —
Я как сильный хмель,
Если смотреть сзади —
Я крутая-прекрутая гора —
Место для игры солнца.
Если смотреть с правой стороны —
Я хорошая, кудрявая береза —
Место для игры белок.

Если смотреть с левой стороны,
Я широкая, ветвистая липа —
Место для посадки пчел».

Оборвав песню, Охима весело рассмеялась тому, что она только одна понимает слова этой песни. Ее окликнули Герасим и Андрейка. Она с сердцем отвернулась. В ее мыслях — молодой, дородный Алтыш Вешкютин, лихой наездник. Одарил его подарками царские воеводы под Казанью и увели с собой вивесть куда! Алтыш дал слово Охиме, Охима ему — любить друг друга вечно. Свадьба расстроилась, увели Алтыша. Вот о чем хотела говорить с царем Охима. Герасим и Андрейка не должны знать этого. Пускай думают, что думают. Она свою тайну ни за что не выдаст.

— Гляди, и не смотрит на нас и не откликается, — вздохнул Андрейка.

— А на што тебе?

Герасим сердито покосился в его сторону. Тот сделал вид, что ловит стрекозу.

— Ну, ты, еретичка! Негодная! — приговаривал он, подпрыгивая в воде, а сам украдкой поглядывал на Охиму.

Она перекривляла на ту сторону, отвязала челн, приткнувшийся к берегу в осоках, и повела его к тому месту, где разделась. Андрейка рванулся за стрекозой, которая полетела пчелно в сторону Охимы.

— Лови!.. Лови!.. — крикнул он неслучайно.

Герасим с силой толкнул его в спину, так что Андрейка скрылся с головой в воде. Отдуваясь, он обернулся к Герасиму и проворно объяснено:

— Эх-эх, помешал ты!.. Улетела!

Охима стояла во весь рост на берегу и смеялась.

— А ты вот что... Думай, как с царем встретиться. Останутся ли после того голышки у нас на плечах?

— Ладно. Знаю я, — махнул рукой Андрейка. — Господи! Господи! Согрешишь с вами! Все трое быстро оделись.

Вскоре переправились в челне на ту сторону. Здесь встретили толпу ребят, — шли купаться.

— Какая река? — спросил Герасим. — И скоро ль Москва?

— Река — Юза... Москва тут и есть... Вон, глядите! Аль слышны?

Сквозь деревья открылась чудесная картина раскинувшегося на холмах златоглавого кремля с его дворцами, зубчатыми стенами, соборами, башнями, а вокруг большое пространство, застроенное домами и церквями...

Очарованные видом громадного города, нижегородцы долго молча любовались им.

— А где бы нам тут батюшку государя увидеть? И что тут впереди за этим забором? — спросила Охима.

Самый старший мальчуган бойко ответил: — Скородом, а там — Китай-город, а уже после — Кремль... Там и есть дом государя.

— А вы кто же такие есть?

— С Волги мы... Издалеча.

Диву дались путники. Таких бойких, разговорчивых ребят в Нижнем, да и в Заволжье, не увидишь.

— Ну, бог спасет! — низко поклонился ребятам Герасим.

Двинулись дальше.

Скородом ширился; строгий становилось все больше и больше, а вокруг них огороды и пустыри; такие же мужики и бабы, как и в Нижнем. При встрече отворачивают низкие поклоны, оборачиваются, смотрят вслед.

Впереди — высокий вал с башнями; в конце дороги — решетка. Она поднята, страж, обняв бердыш, стоит тут же, на траве, у подошвы вала, дремлет. Герасим, Андрейка и Охима проскочили в ворота и, утопая в высокой траве и кустарниках, пошли мимо больших, богатых хором дальше.

— Москва! — в волнении перекрестился Герасим, оглядывая красивые каменные стены с бойницами.

На широкой дороге поскрипывали телеги, а около обоза тихо следовали верховые. Трудно разобрать: не то татары, не то еще какие-то. В косматых шапках, в цветных штанах, обвешанные оружием, они невольно бнущали страх всем, попадавшимся им навстречу. На поклон не отвечали.

Слышен стал благовест многих церквей, говор толпившихся у кабаков людей, звуки свирели. Нарядные хоромы мешались с мелкими бревенчатыми избушками. Из подворотен выбегали псы. Андрейка отгонял их дубиной, оберегая Охиму.

— Э-эх, кабы теперь поспать! — громко вздохнул он. — Гляди, с меня уж и лапки слезают. Пожалей меня, Охимушка!

Усталость, действительно, давала себя знать, и лапки в самом деле пришли в негодность. Одежка тоже понизносилась. Правда, Охима несколько раз в дороге стирала рубахи и опунч и себе и парням, но от того ведь одежда не станет повее.

Каменные и деревянные дома тонули в густой листве множества садов — яблоневых, вишневых, в серебристых березовых рощицах. В тенистых местах стояли большие лужи, похожие на пруды. В них вспошилились утки с утятами. Медленно и сонно плавали гуси и лебеди. Мальчишки шумели, ловя лягушек. По сторонам — поля, всполя, нески, пыш-

ные, зеленые, усеянные яркими цветами луга.

Почти у каждого пятого дома под боком ютилась часовня. И всюду бесчисленное множество колодцев.

Прыгая через канавы и лужи, путники подошли вплотную к высокой кирпичной стене. Внизу, у подошвы ее, лежали козы, псы и бродяги.

Герасим спросил волосатого человека с подбитыми глазами, где пройти в Китай-город.

Волосатый плюнул, гадко изругался, покраснел от злости и ничего не ответил.

Из кучи тряпья доносился бабий голос:

— Ищи дыру в ограде под Миколой... Блажной! Нищий!

Псы затаивали, взбеленились.

Герасим нащупал нож. Бродяги лениво повернули головы в сторону Охимы. В их глазах было мутно, невесело. Однако язык шевельнулся, чтобы сказать непотребное.

Андрейка шепнул Герасиму:

— Кабы теперь шестопер...¹ почесал бы я их.

— Умолкни! — сурово отозвался тот, поколебавшись с тревогой в сторону бродяг.

Ускорили шаг. Дошли до сводчатых проезжих, с башней, ворот и, пройдя их, очутились на тесно застроенном месте. И справа, и слева лари, часовня, церковь. Деревянная, из бревен, мостовая. Вдоль стены ходят стрельцы. В железных шапках, в красных кафталах с пинцалами в руках. Молча следят за проезжими и прохожими.

— Устал, друг! — вздохнул Андрейка. — Никак не пройдешь ее. Вот так Москва! Велика и богата, не как у нас, в Нижнем...

Герасим опять: «Молчи, держи язык за зубами».

Андрейка надулся. Первый раз за всю дорогу обиделся на Герасима. Охима — на стороне Андрейки. Она стала замечать, что Герасим зря нападает на товарища — к делу и не к делу ворчит на него. Девичье чутье ей кое-что подсказало. Ей стало жаль его.

Улицы постепенно становились чище и оживленнее. На каждом перекрестке столб с иконой, а около него нищие, дети, голуби. Сновали метельщики, прихорашивая деревянные мостовые, лоднимали тучу пыли, вопугивали голубей и вороб. За капавами по бокам дороги вытянулись длинные ряды лавок, харчевен. Пахло паленым мясом, салом и рыбою.

Конные стражники разгоняли плетью толпы кабацких ярыжек, пьяниц, любителей поиграть в зернь².

¹ Шестопер — оружие, вроде булавы либо кистеня. На утолщенной части — шесть перьев (железные выпуклые пластины).

² Игра в кости или в зерна.

Чем ближе становился Кремль (уже ясно было видно широкие золоченые куполы соборов и башен), тем более стало попадаться воинских людей, особенно стрельцов. Монахи бродили по улицам робкие, с опаскою оглядывались и поминутно крестились.

Царь строго-настрого повелел приставам и стрельцам следить за монахами, чтобы «не чинили порухи уставу Стоглавого собора¹ и не предавались бы ниипетственному питию и вину бы горячему». Даже сквернословить было запрещено. А ходить нагими, мыться вместе с бабами и вовсе каралось плетью.

В Китай-городе курные изб почти не встречались. Окруженные садами, высились нарядные каменные палаты и бревенчатые хоромы с широкими сенями и выкрашенными узорчатыми лестницами. В открытые окна виднелись зеленые изразцовые печи, нарядные покои, убранные коврами.

Нижегородские путники с любопытством заглядывали внутрь домов. Старушка-нищенка, просившая милостыню под окнами, пояснила: в Китай-городе живут бояре, князья да богатые купцы.

А вот и Кремль! Грозный, неприступный, с высокими в несколько рядов зубчатыми стенами и еще более высокими башнями и соборами. Вблизи Кремль совсем ошеломил нижегородцев. Думали, их нижегородский кремль — невиданное и неслыханное чудо. Ан вона что!

Герасим и Андрейка отстукали несколько земных поклонов. Охима прошептала что-то по-своему, по-мордовски. На щеках ее заиграл румянец, словно нашла она своего любимого красавчика-Алтыпа. На самом деле она стыдилась при спутниках молиться по-своему.

Обширная торговая площадь, называемая «Поजारом», потому что некогда место это выгорело (Красная), — перед Кремлем, была загромождена палатками, ларями, распряженными телегами и лошадьми. Пестрая толпа хлокотала здесь. Гудощники, блинники, сбитеньщики, медвежатники-поводыри сповали в толпе наехавших в Китай-город принарядившихся крестьян. Крики, свистки, ржанье коней, колокольный звон оглушали.

По торговым лоткам были раскинуты шелковые материя, турецкие ткани, узорчатые ширинки, кружева. У Охимы глаза разгорелись. Она отделилась от Герасима и Андрея, остолбенела перед развернутыми кусками материя, точно околдованная. Дыхание сперло в ее груди. Глаза заблестели. Ноги будто железом скованы.

Герасим вместе с Андрейкой едва не потеряли ее из виду. Они шли к кремлевской сте-

не, думая, что и она с ними. Оглянулись — ее нет. С трудом разыскали.

— Экая ты, чего прилипла? — заворчал Герасим, взяв ее за руку. — Идем.

Она отдернула руку, нахмурилась.

— Охимушка, не упрямясь! Уйдем отсюда, — ласково погладил ее по плечу Андрейка.

Она не обратила внимания и на его слова.

Пришлось обоям силою оттащить ее от лотка с красным товаром.

— И чего ты там увидала? К царю идешь, забыла?

— А ты чего цапаешь? Чего цапаешь? — сердито закричала девушка; в голосе ее была досада, печаль и даже слышались слезы. Она с силой стукнула Герасима по руке.

— А может, ты потерялась бы? Одна осталась!

— И пускай! Без вас бы дорогу нашла...

Успокоившись, все трое, притихнув, направились дальше.

Вокруг Кремля глубокий ров, наполненный мутною водой.

Слепила белизна стен Кремля, освещенных ярким солнечным светом.

Налево надо рвом — мост, ведущий к кремлевским воротам.

— Идем туда, — толкнул своих спутников Герасим.

— Не пустят, пожалуй, — почесал лоб Андрейка. — Да коли не пустят, через стену полезем....

.....

Все трое вошли во Фроловские ворота¹. В одном из кривых переулков огромного, богатого Кремля беглецы наткнулись на горбуна-чернеца, который «все знал». Он был ласков и на слова не скуп, расспросил шаркой — чьи они, откуда и зачем идут к царю. Андрейка поведал ему, как его мучил боярин Кольчег. Чернец вздыбал, качая головою, ужасался. Назвался иноком Самуилом.

— Так будь же милостив, добрый человек, отведи нас в царевы палаты...

Лицо инока стало печальным, он тяжело вздохнул, скорбно покачал головою:

— Увы, чада мои, не легко то! Грозен наш батюшка-государь, осподь с ним! Не примет он вас, в темницу свергнет... в железо обрядит... пытать учнет...

Нарпи переглянулись. Как же так? За правду, за челобитье — в темницу?

Горбун задумчиво погладил бороду и тихо молвил:

— Ступайте, голуби, за мной. Повежу вас к доброму государю, двоюродному брату цареву, ко князю Володимеру Андрейчу Старичко-

¹ В 1551 году 23 февраля — съезд духовенства в Москве («Собор слуг божиих»).

¹ Спасские ворота.

... Поведайте ему горе свое и приголубит он вас и паря Ивана Васильевича попросит за вас, горемышных.

— Ну, что ж! Веди, добрый человек, к тому доброму князюшке — к болезному заступнику, помоги нам, злосчастливым.

Горбун повел их через площадь к большому тенистому саду. Широколиственные, могучие клены окружали богатый дворец с узорчатыми слюдяными окнами, с куполами и башнями, украшенными резною отделкою.

У ворот стояла хмурая вооруженная стража в панцирях.

Горбун сказал что-то непонятное рябому усатому воину, — тот пропустил странников внутрь двора. Но только вошли они во двор, как Самуил мигом исчез, будто сквозь землю провалился.

Охима прошептала:

— Чую недоброе.

Герасим улыбнулся:

— Всего-то ты боишься! Никому-то ты не веришь!

И только что Андрейка захотел тоже пожесть над Охимой, как их окружили вооруженные люди и плетью потянули к большому кирпичному амбару. Герасим и Андрей пробовали отбиваться, но, получив сильные удары палкою по голове, притихли. Всех троих толкнули в амбар и заперли.

Ночью в темноту явился с фонарем приземистый, скуластый человек, стал допрашивать узников: кто они, откуда, на кого несут слово царю? Он слушал ответы парней, бесловойно вращая белками и кусая свои громадные черные усы.

— На Кольчова?.. На Никиту Борсыча? Ах, проклятые, — злобно произнес он как бы про себя и плюнул сначала в лицо Андрея, а затем Герасима.

Андрей не стерпел, сорвался с места, среб в свои могучие объятия обидчика, повалил его, потушил фонарь. Герасим и Охима потянули парню. Надавали усатому тумаков, связали его, заткнули рот тряпкой и, закрыв дверь, тихо выбрались в сад. Засуетились, нащупывая место, где бы можно было перелезть через ограду. Но только что Герасим с товарищем очутились на воле, как в усадьбе князя поднялась тревога. Охима не успела выбраться наружу. Осталась внутри двора.

На улицу выбежала толпа сторожей в полноту на парням. Они бежали им в обход с саблями наголо.

Андрейка и Герасим принялись кричать о помощи.

Из ближайшего проулка неожиданно выскочили верховые стрельцы. Княжеская стража бросилась в бегство.

Стрельцы окружили парней. Один из всад-

ников слез с коня и близко подошел к ним. Удивленные до крайности Герасим и Андрей узнали в нем Василия Грязного, того самого дворянина, который приезжал в колычевскую вотчину.

Грязной расспросил их, как они из тех далеких краев попали в Москву и что с ними приключилось здесь, в царском кремле. Герасим толково, по порядку, все рассказал и про Охиму вспомнил, которая осталась во дворе князя Владимира Андреевича.

Снова вскочил на коня дворянин Грязной и повел свой отряд к воротам княжеской усадьбы. Одного стрельца оставил караулить беглецов.

Охима была освобождена из княжеского плена. Она шла окруженная всадниками и весело смеялась.

Грязной приказал парням и Охиме следовать за ним. Через огромную кремлевскую площадь отряд двинулся к большому государеву двору.

Андрейка шел вслед за стрельцами и обтирал кровь на щеке:

— Дьявол, всю харю княжеский пес искарябал! — ворчал он.

— Ну, уж и я ему ребра помял... Жирный какой, лешай!.. Знать, балованный... Не как мы!

— Я тоже его погладил... — усмехнулся Герасим. — Куда вот теперь-то нас ведут?

— Лишь бы жизни не лишили... Погрешить охота! — вздохнул Андрей. — Повеселиться в Москве.

Охима подарила ласковый взгляд Андрею (уже не первый).

Грязной был доволен всем случившимся. Когда-то и он служил у князя Владимира Андреевича. Зная, что государь недолюбливает князя, он перешел на службу к царю, чем и доказал свою преданность Ивану Васильевичу. С тех пор он был поставлен царем как бы в охрану к князю. На самом деле обо всем доносил, что узнавал о нем, царю. И вот теперь... «Будет потеха!» — весело и озорно подсмеивался он, поглядывая на своих пленников.

V

В кремлевских хоромах царского советника, благовещенского попа Сильвестра, много цветов, много солнца, много людей, тихие разговоры.

Приедет ли какой паместник, либо воевода из уезда, — тотчас же к Сильвестру; вздумает ли кто из вельмож обратиться к государю, непременно побывает у Сильвестра: «в духе или не в духе Иван Васильевич, худа бы не вышло от того челобитья?» (Кстати, не лишнее поискать и заступничества всеильного советника.) О многом толковалось у Сильвест-

ра. Много у него было «своих людей», подслушивавших, что говорят на базарах, в церквях, в кабаках... При царском дворе у него тоже были «свои люди» — доносили обо всем, что слышно было и что делалось в царских хоромах. Особенно следили за царицей. Каждый шаг, каждое слово царицы становилось известными в этом доме. На всю Москву была знаменита «сильвестрова келья».

В этот день ее посетил один новгородский поп, с которым когда-то давно, в юности, дружил советник.

— Здравствуй, отец Кирилл. Каким ветром тебя занесло? — облобызав земляка, приветствовал его высокий, худощавый Сильвестр.

— Дорогой мой, батюшка Сильвеструшко!.. Да какой же ты стал! О, господи! Десять зим тебя не видывал. Подобрел, а гляди, ряса-то... ряса... шелковая, а крест! Дай поцелую его.

Поп поклонился, облобызал крест, а к стати и руку Сильвестра.

— Такова милость божья. Убогий пришелец из Великого Новгорода стал первым советником у царя. Все от бога.

Поп рыдающим голосом воскликнул, крепко обеими руками ухватившись за руку Сильвестра:

— Да, господи! Кто же того не думал? Вель ты же у нас один такой.... Во смиреннии — удалой, в тихости — орел! Сызмала не силой ты брал, а умением... Молчал, а народ слушал тебя более благолющих. Сильвеструшко! Родной! Дай взглядеться на тебя!

Сильвестр обозревал попа с легонькой усмешкой:

— Полно, друже! Полно, смиреннем бо служу царю и государству. В кротости — дальше от пропасти. Вспомни царя Давида и кротость его.

— Плохо мы грамотны, батюшка! Неучены. Так живем, по привычке.

— Сказывай, друже, почто прибыл в Москву?

— Истинный бог! Токмо к тебе! С поклоном.

— Чего ради? — нахмурился Сильвестр.

Поп приблизился к его уху и прошептал, сморщив от волнения лоб:

— Трещут торговые люди! Богачества стали бояться! Москвы остерегаются... Нарядили меня к тебе: просить, батюшка, умаливать. И то уж народ новгородский приуныл... Горько и торговым людям. Волюшки им нет прежней. А тут, не дай бог, война, да еще с Ливонией. В наш край войско погонят. Пспокоя века наши купцы заодно с немцами. Выгоду от них имеют. Москва с ними не ладит, а наш купец ладит. Как же быть-то, Сильвеструшко, ужель ты забыл? И што бу-

дет? К добру ли то? Заступись за земляков, торговых людей, при случае!

Сильвестр в задумчивости приглаживал свою жиденькую бороденку. Карие пронзительные глаза смотрели на попа холодно:

— Кто подослал тебя ко мне?

— Родичи твои и земляки, премудрый Сильвеструшко! Новгородские люди прислали!

— Помни, земляк! По человечеству я равный вам, может, и хуже взз, по... как советник великого князя не могу я стать на одну половицу с вами, с тобой... Прискорбим видеть советнику государству, чтоб дела его были добычею мышей. Ты меня назвал орлом по достоинно ли орлу ютиться в одной норе мышами? И не пожрет ли он их? Со мной лукавить опасно. Не попам и гостям¹ новгородским пещись о судьбе царства, а бег и великому князю. Москва супротив немцев и новгородские гости должны также. Москва растет, и вы должны помогать ей, а не мудрить лукаво. Москва — мать городов. Уходи и не малкивай, что был у меня. Я мог бы отдать тебя на пытку... Но бог тебе судья! Отпусти без спроса. Уходи и больше не бывай. А землякам передай: пускай одолеют алчность и гордыню!

Поп растерялся, в страхе попятился, кланяясь Сильвестру до самого пола.

— Прости, Сильвеструшко, прости! Не зная, батюшка... не знал!

Сильвестр с укоризной в глазах покачал головой:

— Бедные! Приходят ко мне, землякам моим величаются, поминуют дни отрочества, глядят мне в очи, а того не знают, что большая польза им была бы от беседы с простым смердом, нежели со мной. Я смотрю в тебя — и не вижу тебя, слушаю — и не слышу тебя. Не земляки мне нужны, а дела больше правды, коей служат сыны великой силы, люди, отрешившие не токмо от земляков и родного города, но от матери, отца, жены и детей. Несчастный! Передай новгородцам Сильвестр — верный слуга московского великого князя. Нужды государства для него выше нужд кичливой толпы новгородской. И я отведу тебя в чулан, там и ночуй, а завтра утресь, затемно, уходи от меня... верни в Псегород.

Поп поклонился, почесал за ухом и с красным, недоумевающим лицом, тяжело вздохнув, последовал за Сильвестром.

Оставшись один, Сильвестр опустился на колени перед аналоем, на котором лежал крест и евангелие, и принялся усердно молиться.

Постучали в дверь.

¹ Гости — купцы.

Вошел Адашев Алексей. Стройный, крепкий, высокого роста краснощекий молодой человек. Помоллся и он. Взгляд какой-то растерянный.

Облобызались.

— Ну, что повелась, брат?

— Войну с Ливонией не минуешь. Аминь!

— Ого! — покачал головою Сильвестр. — Да может ли то быть? Ужель?

— На обеде в Большой палате¹ был я... Слышал, как великий князь беседовал с казачьим атаманом. Говорил он с ним о том, много ли всадников дадут казаки.

— И-пу?..

— И тут он прямо сказал о войне... Вскопаты уже и трамугу повую, мол, сготовил...

Сильвестр тяжело вздохнул:

— Лишние мы стали?.. Без нас обходятся? А? Мамка Агафья донесла, будто Иван Васильевич молвил: «Восхитил поп власть. Завел дружбу со многими мирскими, сдружился с Алексеем, опречь меня именем моим править хотят... Мне же оставили токмо честь «председания»...

Адашев усмехнулся:

— Изменчивый прав... опасный. Не пойму я государя. То весел, добродушен, то лют и несговорчив.

— Кто ныне... около него?

— Худородные дворяне отгеснили всех, да дьяки посольские... да иноземцы, да нехристи... Народу нового много нахлынуло. Вчера к трапезе званы были две тыщи татар... Шиг-Алей с ними и казаки. Нанились. Песни по-своему выли.

Сильвестр остановил испытующий взгляд на Адашеве:

— Ты был?

— Был.

— Тебе неча, Алексей, роптать. Ты в чести у царя, а братенек твой Данила и вовсе по сердцу царю... большой воевода. Гнев на одну мою голову!.. Постоянно так. Найди близ царя человека, кой не осуждал бы меня ему в угождение. Злословие стало обычаем, и кто может удержаться, чтоб не потешить царя восклпом на меня? И ты... мой друг... удержись ли? Не искупись ли? Иван Васильевич своим приятством и лаской многих покорил... И людей моей стороны. Он умеет.

— Но, отец Сильвестр... И к тебе царь явной опалы не кажет. А кто за глаза поносит тебя, тот боптает тебя, кто хвалит тебя в глаза — тот лукавит... Тебе неча бога гневить. Ты силен!

— Чем я провинился перед Иваном Васильевичем? — продолжал Сильвестр, как бы не слыша Адашева. — Не уразумею! Буде —

спорим мы? А в споре каждый и прав, и виноват. Он упрекнул меня, что держусь я старины, я сказал ему, что некоторые повинны государства разрушали. И я первый боролся за новины, за те, кои разумнее старых, постревавшихся обычаев. Болею я о государстве, а не о себе. Много ли мне надо? Я не искал ни славы, ни богатства, как и ты. Чего хотим мы? Сделать сильными и царя и царство. По ночам стала сониться мне плаха, а утром я иду к нему и говорю, чтобы не забывал он своего божьего призвания. Говорю смело, угрожаю ему божьим наказанием. На его лице тоска, но я не могу скрывать того, в чем вижу правду. Не могу, ради страха, льстить юному владыке... Таков путь честных правителей — либо путь, имп избранный, либо темница или смерть. Мудрый человек должен огорчаться тем, что он беспилен сделать добро, но не огорчаться тем, что люди хулят его, неправедно судят о нем... И ты, Алексей, не льсти Ивану Васильевичу, не делай тем самым хуже государству.

Адашев пожал плечами, покраснел:

— Жизнь наша коротка, но в этой краткости человек может сделать свое имя вечным... Его будут благословлять отдаленные потомки... Только о том молю и я господа-бога, чтоб прожить мне свой ничтожный век в правде, достойно и нелицеприятно. И кто упрекает меня в лести? Кто более меня приямит царю? Да и кто может обмануть государя? Не знаю человека прозорливее Ивана Васильевича.

— То-то!

Улыбнувшись ласково, Сильвестр похлопал Адашева по плечу.

— Бог благословит тя на добрые дела! Против Ливонской войны, видать, нам не сдержать великого князя. Как горный поток, не удержим он в своем намерении. Но мы с тобой должны взять на попечение дела не воинские, но обыденные, они важнее для нас и друзей наших, нежели ратные дела. Пускай будет царь запят войной... Запомним: излিশнее стремление к достижению чего-либо одного делает человека слепым ко всему другому. Государство нуждается в нас с тобой. Будем зоркими и сильными в уездах и городах... Ну, а что князь Андрей Курбский?

— Не упимается... хочет с царем говорить... Теперь о пагайской орде. Новое задумал. С Литвой и Польшей свары боптает. Не хочет. А я буду стоять в стороне. Не вмешиваться до поры до времени. Не перечить царю. Приказы его исполнять без прекословия.

Долго беседовали Сильвестр и Адашев о том, какие последствия для бояр и дворян будет иметь эта страшная война; Сильвестр высказал большое беспокойство за Новгород.

¹ Грановитая палата.

Война может опять противопоставить Новгород Москве, навлечь царский гнев на тамошнее купечество, посорить Новгород с исконными друзьями его — ливлядцами и шведами. «Да мигнет нас чаша сия!» — вздохнул Сильвестр.

Перед уходом Адашев сказал:

— Об одном еще хотел я тебе доложить. Приключилось неладное. Беда случилась с Владимиром Андреевичем! Стража его перехватила вчера доносчиков, беглых мужиков из колычевской вотчины, но хотя допустить их до царя, а Васыка Грязной отбил их... Государю все станет известно. Он и так косится на колычевский род. Жалко и князя Владимира... И без того уж он в опале... А эти щенки, льстецы — Грязные, Басмаповы, Вешняковы, Субботины, Вяземские, Кусковы — имя же им легион, только того и ждут, чтоб распалить сердце царево против брата Владимира... Грязной — чистый разбойник... И в вотчину к Колычеву неспроста ездил... Подтачивает, как червь, боярский сан.

— Сия новоявленная орда дворян вся такая. Своею дерзкой удалью они неспроста тешат царя. Ладно. Попомню. За Колычева постоять надо... И без того много зла кругом! Почто губить человека? Лиха беда одному податься, как навалится горе и на другого, и на третьего. Положим копец злобе, Алексею! Образумим царя! Изводить надо доносчиков втихомолку, без шума.

Перед расставанием Сильвестр и Адашев снова облобызались.

В покоях князя Владимира Андреевича Старикого, двоюродного брата Ивана, полумрак. Неугасимая лампада едва теплится перед большим образом «нерукотворного спаса».

— И кто такие думные дворяне? — уныло, скрипуче звучит голос Евфросинии, матери князя. Она совсем утонула в глубоком кресле.

Около образов, из сумрака, выступает хилое лицо самого князя. Оно бледно, глаза блестят, кажутся лихорадочными, больными.

— Такова воля его милости, Ивана Васильевича... Он ввел в Боярскую думу дворян и дьяков.

— Робок ты, Владимир, робок! — вздохнула княгиня Евфросиния. — Оставил бы его... Не падо! Обида всем от того.

— Был я храбр по твоему наущению в дни воанновой болезни... собирал бояр и детей боярских на своем дворе, денег немало роздал им, а потом... все присягнули не мне, а царевичу Дмитрию... И я перед царем остался посрамленным, виноватым... Надругался над общею скорбью, слушая вас, и теперь нет веры мне... Дворяне в ту пору оказались честнее нас, честнее бояр... И теперь сильнее

они, а не мы. Во все кремлевские щели набилась худородные, будто тараканы... И вот в Боярскую думу влезли и там теперь сидят, как и мы. Такова царская воля... Что подлаешь!

— Гибнем! Слыханое ли дело, чтоб дворяне сидели в думе? — крикнула рассерженная княгиня. — Креста на них нет... Святую древность, старину дедовскую поспрают они своими саможищами... Что им старина? Что им благородство предков? Из ничтожества явились они! Кто их отцы? Кто их деды? Исарями и то недостойны были у нас служить!

Голос Евфросинии постепенно превращался в громкий, озлобленный крик, пугавший самого князя.

— Тише! — шептал он, махая на мать руками. — Тише! Погубите нас!

— Трус! — прошипела старуха, уйдя еще глубже в кресло.

— Хоть бы король образумил этого беса!

— Король? — горько усмехнулся князь Владимир. — Вот князь Ростовский Сема хотел сбежать в Литву с братьями и племянниками... Продался Августу, открыл ему все государевы тайны, все выдал, что знал, чернил Ивана и Русь, сидя в Москве, отослал в Польшу своего ближнего — князя Никиту Лобанова-Ростовского, — все делал для короля, а что после? Сами же бояре за измену приговорили его к казни... А государь, красуясь добротой, пожалел его, простил, отменил казнь. Вечный позор Семке, и только! Вот тебе и король. Опасно надеяться на Литву.

Тяжело вздохнула старуха-княгиня.

— Э-эх, как вы все близоруки! Не верю я доброте его! Хитрит он! Для показа все это. Оставляет врагов живьем для сыску же! А тебя боится. Знаю, боится!

— Чего бояться меня? — тихо засмеялся Владимир Андреевич. — У меня только сотня воинов, у него — все русское войско.

— У тебя друзья — все царские советники и воеводы. О тебе богу молятся и бояре, и священство, и черный люд, заволжские старцы, сам Василий за тебя, Ивана проклинает... Многие князья за тебя, за него кучка ласкателей-бояр, вроде Воротынского и Мстиславского, и толпа холопов — дворянская голь, подобная перебежавшему от нас к нему Васыке Грязному... да еще митрополит Макарий.

— И все-таки, матушка, их много больше... И народ его больше знает, пежели меня.

Во время этих слов князя раздался негромкий стук в дверь. Мать и сын вздрогнули. Дверь распахнулась, и в палату вошли друзья князя Владимира Андреевича, некогда ратовавшие перед народом за возведение его на престол вместо царевича Дмитрия, князя: Дмит-

рий Федорович Телепнев-Овчинин-Оболенский (прозванный при дворе «Овчиной»), Михаил Петрович Репнин, волосатый, свирепый человек, наводивший ужас на своих дворовых; Александр Борисыч Горбатый-Сузальский; Петр Семенович Оболенский (Серебряный); князь Владимир Константинович Курлятев; боярин Иван Петрович Челяднин; Телятьев и многие другие князья и бояре.

В палате стало сразу тесно и душно.

Отдуваясь и вздыхая, князья помолились на иконы, затем отвесили низко поклоны приподнявшемуся с своего места князю Владимиру Андреевичу.

— Милость божья да будет с вами, государь Владимир Андреевич и добрая княгиня, государыня наша, Евфросинья Андреевна! Бьем мы вам челом! — сказали князья.

Владимир Андреевич попросил своих гостей садиться. Вдоль стен на скамьях охучью усаживались князья-бояре.

Первым заговорил князь Семен Ростовский, заговорил тихо, полупрошопотом:

— Государь, Володимир Андреич, обсудили мы, бояре, поведать тебе о случившейся беде... Сею ночью царский прихвостень Васька Грязной со стреленкой конной стражей отбил у твоих людей кольчужеских мужиков, кои утвели из вотчины со словом на своего господина Никиту Борисыча... Выходит, ты урывать, — кольчужеских бережешь!

Ростовский подробно рассказал о ночном происшествии.

Владимир Андреевич испуганно-удивленным голосом воскликнул:

— Мои люди? Захватили? Но я ж ничего не знаю! Кто их приказал?

Общее молчание было ему ответом.

Владимир Андреевич вскочил с своего кресла и стал взволнованно ходить взад и вперед.

— Брат простил мне мою вину, отдал мне во владение Дмитров, Боровск, Звенигород, а я буду самоуправство чинить над государевыми людьми? Не вероломство ли это? Кто приказал! Я ничего не знаю!..

Когда князь успокоился, стал говорить Михаила Репнина. Поглаживая широкую бороду, он метнул гневный взгляд из-под нависших бровей:

— Буде, государь! Не кручаться! Кто приказал, не ведаю, но похвалить того надобно. Живыми бы в огне сжег я таких боряг. Бегают жаловаться на бояр, в угоду дворянам и посадским сплетникам, а не чувят того, что из боярской кабалы попадут в вину, худшую... Крест целую, что оное так и будет!

— Кое мне дело до смердов! Не хочу я мешаться в боярские распри! Боюсь обмана и измены! Не вы ли все меня в царя тя-

нули и не вы ли присягнули Ивану? Все отреклись от меня! Один я остался виноватым. Не верил я старцу Вассану... сомневался... Говорил он мне, чтоб сторонился я Сильвестра, и Адашева, и митрополита... Правду сказал он, что все они верные псы царские... Ненадежны.

Рывнул Михаила Репнин:

— Я не отрекся от тебя! На заволжских старцев не полагайся, Вассан ума лишился.

Неуверенными голосами выкрикнули тоже самое и другие бояре. Неуверенными потому, что в словах князя Владимира была большая доля правды: многие, испугавшись царя, стали сторониться князя.

Опять поднялся с своего места князь Ростовский. Тихим, вкрадчивым голосом он заговорил, подобострастно вытянув свое худое с остроконечной рыжей бородкой лицо:

— Плохо будет нам, коли мы сами от себя отрекаться будем. Ой, плохо! И со мной ведь случилось не то же ли? Писал я королю о заступничестве, меня обнадеживали, а как узналось все, и я в опале оказался — никого уже из бояр около меня не было. Королю ведомо, что один князь Ростовский — в поле не воин. И выходит: нам всем надо стоять за едино. От ливонской войны отговаривать царя не след. Пускай воюет. Немцы его проучат. При той тягости зыбле цена будет боярам и всем его недругам. Да и королю легче будет пригрозить Ивану Васильевичу, чтоб не забывался. А внутри царства, по уездам, мы волю можем взять большую. В том нас поддержат и заволжские старцы...

Слова князя Семена Ростовского сначала звучали укоризной, а затем, перейдя в шопот, приняли тон увещательный. Бояре склонились с своих мест, приложили ладони «козырьком» к уху, чтобы лучше слышать.

Князь Владимир перестал ходить из угла в угол, внимательно вслушиваясь в слова князя Семена, который продолжал:

— Литва нам зла не желает... Тамошние вельможи-магнаты подобной тесноты и поругания не выдвигали и не слыхивали... Король обещает и всем нашим отъехавшим боярам и князьям великие угоды и вотчины и почет высокий. Мой родич Лобанов-Ростовский о том мне шесточку тайно прислал. Живетя ему там много лучше, нежели на Руси. И он пишет, чтоб никто царя не отговаривал от войны с Ливонией, а помогали бы Ивану Васильевичу в его походе, — то будет к лучшему... Где же нам справиться с немцами? Склища!

После этих слов Семена Васильевича долго длилось всеобщее молчание. Где-то раздал-

ся шум. Все вздрогнули, опять переполошились.

Опять первым подал голос Михайла Репнин.

— Будь что будет! — махнул он рукой с усмешкой, причмокнув. Война Пвашке даром не пройдет!

— Не робей и ты, князюшка! — донесся ободряющий голос Ефросинии, — бог правду видит. Он, батюшка, долготерпелив, но придет время — разразится гроза... Истребит, кого следует... А почему среди бояр не вижу я Андрея Михайловича?

Ответил князь Курлятев:

— У Сильвестра он с Алашевым сегодня. Дело у них тайное. О погайском походе задумали. Готовятся к беседе с царем. Андрей Михайлыч другую войну выдумал... В степях воевать у Крыма и Перекопа.

Ростовский вскопчил, перебил Курлятева:

— Не гоже так! Не надо! Пускай Ливония!.. Она сильнее! Я пойду к отцу Сильвестру, остановлю их.

— Степная война того губительней! Не надо Ливонии!

Разгорелся спор, во время которого Владимир Андреевич то и дело вскакивал и в отчаянии махал руками:

— Тише! Тише! Худа бы не было!

Разошлись в полночь, поодиночке, крадутись.

В заточеньи, в глухой монастырской келье, где единственные сожители человека — пауки и крысы, можно много думать, неторопливо перебирая четки из рыбьих зубов. Куда торопиться? Зачем? Пускай там, за решетчатыми окнами, идет жизнь торопливая. Пускай! Кто помышляет только о радостях успокоения, кто, углубленный в свои думы, счастлив тем, в чем люди не видят счастья, тот разорвет эти цепи смерти, тот навсегда сбросит с себя великие страхи перед земными страданиями.

Сгорбленному, седому старцу, которому никогда не суждено быть свободным, никогда уж не разгуливать по кремлевским площадям, никогда не бывать в царевом дворце и не собирать, как встарь, около себя народ горячими, словно угли, пальцами сердце словами, ему, обреченному на смерть в монастырском каземате дремлету столетнему иноку, жаль человечество. Он считает себя счастливее самого юного отрока.

Как путник, преодолевший трудный путь восхождения на вершину высокой горы, он оглядывается с улыбкой назад, туда, вниз... Все пройдено! Путь кончается! Он знает каждый перевал, каждую тропинку этого пу-

ти, он знает, какие острые камни ранят ноги, знает землю, которая, если на нее твердо ступить, увлекает путника в пропасть, откуда нет возврата. И только ему ведомо, добравшемуся до этой загадочной вершины, что такое радость, горе, счастье, честь и слава; он знает больше того! С грустной улыбкой смотрит он на все Московское государство, на его бояр, на священнослужителей — князей церкви, на воевод и всякие чины служилых людей.

Государство, как и человек, должно идти осторожной ногой по тропам всеlejной. чтоб не уподобиться Византийскому царству, которое соскользнуло в пропасть. Царьград пал от меча пришельцев-турок... Рушилось греческое православие!

Москва! Подумай об этом! Или без гордыни по своей тропе! Ныне твоя судьба — стать «третьим Римом». Московский государь хочет принять престол римских кесарей... Дело великое, но бог выше царей... Не забывай о том, Иван Васильевич! Не гордись!

Во дворцах не могут рождаться такие безпристрастные мысли, какие бродят в голове сидящего в темничной келье, ожидающего своей кончины старца.

Знает он и о том, что такое власть. И опил этот пьянящий напиток. Он хорошо помнит его сладость. Видел он владык, их слабости, их ничтожество. Его не привлекают великокняжеские милости, ибо видел он их! Вкусил их обманчивую сладость. И когда захотелось востать против неправды... эта неправда оказалась сильнее его. Она бросила его в тюрьму, но не затушила огня злобы к противникам... Горе защитника неправды!

На его желтом, сморщенном лице суровое упрямство и благородная гордость. Он ни у кого ни разу не просил снисхождения, он презирает жалость. В его старческих движениях — мягкая грация уверенного в своей силе вельможи, который вот-вот выпрямится, отбросит на затылок кошку длинных седых волос, вытянется во весь рост и властной рукой укажет всем своим недругам, чтобы они распластались у его ног. Из-под нависших седых пучков выглядывают бодрые, насмешливые голубые глаза; кто же поверит, что этому старцу столько лет?

Да, он был вельможей, он — узник-старей Вассанн. Это он вступил в спор с Иосифом Волоцким, игуменом Волоколамского монастыря, тяпущим церковь под стопу государя, это он восставал против этого государя, богатств, против монастырского землевладения... Он поднял великую бурю в государстве, и за ним пошла толпою боярская знать. Бояре на память влущивали его писания

ведь они также за то, чтоб у монастырей не было вотчин. Вотчины — достойные только князей и бояр. Не к лицу инокам гоняться за землями и усадьбами, как это делают царские прислужники — носифляне.

Васспан знает, что его имя стало страшным.

Чем сильнее становится власть царя, тем страшнее для людей и его, Васспана, имя.

От него уже давно отреклись в угоду царю все его родные и друзья, и он молится каждый день о них, прося у бога им прощения за их малодушие, за грешную трусость.

И вот однажды в сумраке, когда за окном спускался вечер и когда только что возжег старец свой светильник перед иконою «перуновтвороного спаса», в келью тихо вошел царь Иван Васильевич.

Он ласково взглянул на старца, подошел к нему под благословение. На нем был зеленый длиннополый кафтан и красные с золотыми узорами сапоги на серебряных подковах.

Васспан не шелохнулся. Царь поднял голову, выпрямился.

— Не хочешь? Ну, бог с тобой! — улыбнулся он. — Вот вздумалось мне, старче, побывать у тебя, сослужился я по мудрому слову, — тихо произнес Иван Васильевич, усаживаясь на скамью. — Давай совет держать.

— Чего ради великому князю с мертвецами советоваться? Инок мертв, а сидящий в темнице и того горше.

— Почему порочились иноческие чин? Издревле владыки не только советниками иноков имели, но и помощниками в государственных делах. И по сей час все мы читаем писания Иосифа Волоцкого, митрополита Даниила, Максима Грека, Макария, нашего духовного отца, и твои...

— Иисаний много, но не все божественны суть. Носифляне борются с нами, заволжскими старцами, не ради господней правды, не ради чести священного сана, а ради выгоды, ради стяжательства. Не только царь, но и черный люд, смерд повинны перед богом разбираться: кая — заповедь божья, кое — отеческое наставление, кое — человеческий обычай, корыстью подказанный. Писание надо испытывать...

Глаз старца, холодные, непокорные, сверкали из-под густых седых бровей гневно.

— Евангелие и Апостол правдивы суть. Найди же там, где указано было монастырям, чтоб инокам и церковнослужителям владеть вотчинами.

Царь поднялся, почти прикасаясь головою к потолку, тяжело вздохнул и, как бы наярывая память, шотер ладонью лоб.

— Евангелие и Апостол — для души, — промолвил он, — многого там, однако, не сказано. То самое земные владыки и их духовные отцы должны досказать... Христова вера без власти — что есть? И ныне, при падении византийского владыки, московскому государю надлежит стать опорой церкви. Разве неведомо тебе, что немцы да их попы возымели спесь христовым именем и мечом все славянские племена в своих рабов обратить? Себялюбие и жадность их, прикрываясь святительской проповедью, покоряют славянские земли хищным, аломанским¹ князьям... Христианство без меча подобно мотыльку без крыльев... И церковь божья, коли в бедности станет да от власти отойдет, — может ли она заморским попам помешать в их еретическом захвате... Немецкие попы да князья и к нам змею подползали в прошлые времена и до сего дня лютуют они на побережья Западного моря и обращают в свою веру латышей да эстов... И не они ли христовым именем истребили славное племя полабских славян и воиственных ливов?

Лицо Ивана покрылось красными пятнами, в голосе звучали досада и раздражение.

— Вам, проповедникам нестяжательства, многое неведомо; вы — более себялюбцы, нежели иноки-стяжатели, вотчинладельцы... И в Заволжье ушли от мира и прячетесь в скитах и дубрах во имя себялюбия. Истинный священнослужитель не может удалиться от тягостей царства, в коем его церковь. Не может не почитать государя и не принять из рук его дары земные, ибо царь — защита веры, царь — божий воевода на земле.

Вскочил с своего места и старец. Громко выкрикнул прямо в лицо царю:

— Пастыри должны до смерти стоять за правду! Государь не судья в духовных делах! Дело духовное — дело совести! Не жить на чужой счет должны христовы подданные, а пытаться трудом рук своих! Изыми вотчины у монастырей, заставь их богу молиться за тебя без выгоды!.. Обманывают они своими молитвами и бога и тебя!

— Уймись, старче! Смирн свою гордыню. Перед тобой стоит твой государь. Садись!

— Коли так, могу ли я садиться прежде, нежели сядет царь? — упрямылся старец.

Иван Васильевич покачал головою, оглядываясь по сторонам с насмешливой улыбкой:

— Опомнись, Васспан! Будто бы тут келья, а не Боярская дума... Не забыл еще ты мирских обычаев. Добро, друже! Будь по твоему — сяду!

¹ Аломанским — германским.

С этими словами царь сел на скамью.

Сел и старец.

— Ответствуй, правдивый человек: коли я послушаю тебя и отниму у монахов и бельцов их владения, не ополчатся ли в ту пору они на меня?

Наступило молчанье. После некоторого раздумья старец сказал:

— Ополчатся, ибо они — хищные стяжатели, себялюбцы.

— Подумай, добрый пастырь, где же христианскому царю искать опоры, коли заволжские пастыри откачнулись от царя да коли иосифляне откачнутся от него же? И кто ж будет венчать русских владык на самодержавное царство?

Растерянная улыбка сменила злость, бывшую до сего на лице старца.

— В Византийской империи патриарх не подчинялся императору... Церковь была свободна от воли государя... — громко, самоуверенным голосом ответил старец. — А тебя царьградский собор святителей еще и царем не признал и не признает!

— Оттого-то Византийская империя и пала, что волей государя пренебрегли там. От одного погиб и сам византийский император, — задумчиво, глядя в сторону красного огонька свечки, тихо, спокойно произнес Иван Васильевич. — Знай, друже, ты и все заволжские старцы опасны не столь государю, сколь государству, а иосифляне покуда полезны и государству, и государю. Кого же мне выбрать из вас?

— Воля твоя! Мы не просим у царей милости! Не надо! Нрав твой непостоянен и свиреп, часто ты говоришь о любви к богу, а человека, близ тебя стоящего, ненавидишь, но не любящий брата своего, которого видишь, как может любить бога, которого не видит? Опасен ты одинаково как полезным тебе, так и вредным своим прислужникам... Слыхал я, будто уже и на Сильвестра, на попо-иосифлянина, сторонника своего, ты нападаешь? А уж кто больше-то старался возвеличить имя твое?

Иван Васильевич внимательно посмотрел на старца.

— Вассан! — сказал он. — Почитаю я тебя за прямоту твою... Нет ничего опаснее льстецов, лицемерных ласкателей. Как в море камней много-много: и малых, и средних, и великих, и желтых, и белых, и черных, и всяких иных, так же много способов у льстеца к расположению в свою пользу всемогущего начальника. Искатель места и тепла близ царского трона ни одного камешка в житейском море не оставит без того, чтоб не воспользоваться им... Сильвестр, пока был моим учителем, не льстил

мне, а когда я захотел сам править, он стал мне внушать, будто всякая умная мысль всякое дело доброе для государства, ним мне подсказанное, будто это изшло от меня... Увы! Я не хочу таких благодеяний от своих холопов... Коли я знаю, что разумное и полезное исходит от холопа моего, то я награждаю его, возвышаю за службу, но Сильвестр привык, чтобы я жил его головою, и теперь меня, бородатого, хочет делать похитителем его мыслей, хочет в моих глазах моего же унижения... Я тебя держу в заточении за твою смелую прямоту, а как же мне наказать ближнего советника, коли он хочет, мести ради и обладания первенством в государстве, меня сделать вором его мыслей его дел? Справедливо, что я опасен для своих ласкателей, если они льстивыми путями пытаются похитить мое право самодержавия, высшего судьи, который своею волею казнит и милует.

Иван порывисто поднялся с места и прешелся, тяжело дыша, из угла в угол кельи.

— Тесно мне стало среди моих советников, душно! Непопусту пришел я к тебе. Слово прямо хочу слышать, стесковался я по нем. Честолюбцы задавили меня. Страшно старче, быть царем! Заволжские нестяжатели счастливей меня... Они отошли в сторону заботы их в поругании иосифлян. А у меня две великие заботы. Одна — быть справедливым, другая — познать людей, окрест себя. И то и другое надобно мне, чтоб поступать по-своему, чтоб иметь свою волю и чтоб вернуть дела, полезные нашему царству. Люди постоянно чего-то ждут от правителя. Человек живет ожиданиями и надеждами. Один требует больше, другой меньше, а есть и такие, что хотят обладать всем... Как тут всех насытить? Бояре негодуют на монахов, на инок, получающих из моих рук земли; священство восстает против бояр «ленивых богатых»; черный люд жалует на тех и на других, а ливонские немцы возмнили уж, будто разруха пошла в наши земли — перестали дань платить, падают на наши рубежи, хватают и грабят едут к нам из заморских стран мастеров... Немцы наглеют с каждым днем... А мои советники думают-гадают, только как бы им ближе к царю место взять... Вот о чем страдает душа моя, старче, вот, чего ради непостоянство, злоба и иные слабости...

Вассан поник головой, тяжело, по-старчески, сопя носом. В окно из сада пролился отблеск заката. Шмыгнула крыса под ноги у самых ног царя.

Оба молчали. Устало, с передышками, заговорил старец:

— Нет такого владыки, который победил бы лесть. Не верю я и тебе, Иван Васильевич, но не по сердцу мне и твой Сильвестр, и Алешка Адашев, и Курбский то ж, никого я вас не люблю, а особенно не люблю твоего митрополита Макария... Губит он первую... Отвращает ее от лица господнего. Под твои стопы гнет ее... волю дает монахам... Главный наставник он расхитителей, тунеядцев, питающихся мирскими крестьянскими слезами... На что не способны они, дабы молить у великожи село, либо деревушку, жестокосердные они притеснители своих крестьян. Бояре, те, что с тобою в неладах да в немилости твоей — прямее, честнее твоих церковных князей... Слушай их!

Подозрительный взгляд бросил царь в сторону Вассиана.

— Ответь мне, старче! — Захотели мы, чтоб угодники божии и святые божественные иконы, чтимые в разных бывших уделах нашего царства, стали почитаться по вся места на Руси одинаково. Ведь Володимирская божия мать, писанная святым евангелистом Лукой, была привезена нашими родителями из Владимира в Москву и почитается в Москве всею Русью. В иконостасе соборной церкви Успенья пречистой богородицы мы собрали иконы присоединенных нами к Москве уделов... Почему же заволжские старцы и ты с ними восстанут против сего? Открой тайну!

Вассиан нахмурился:

— Не пытай меня, государь! Не считаешь ли ты меня за такого же стяжателя, как близкие твои бояре? Скоро я умру, лукавить мне нечего перед тобой и ни в каких заговорах я отроду не бывал. Скажу тебе совестью — народ так привык, чтоб молиться своему святому, народ не верит не только чужим всеодам, но и чужим иконам... А вы отняли и это у него.

Иван Васильевич стал еще подозрительнее. Голос его сразу сделался холодным, суровым.

— Все вы валите на народ! И бояре и попы постоянно пугают меня народом, когда им сказать нечего. Моя воля, чтоб священство помогало мне, но в мои дела не вмешивалось. Когда бог освободил израильтян от плена, разве он поставил во главе их священника или многих советников? Нет! Он поставил там одного Моисея, как бы царя. Аарону же винушил священство, не дозволить ему вмешиваться в гражданские дела. Но, когда Аарон отступил от этого, то и народ отпал от бога. Точно так же Дафан и Авирон вздумали себе восхитить власть и сами погбли, и лютое бедствие навлекли на весь Израиль! Не бойся, не допущу я попов к власти. Нет царства, которое не разорилось

бы, будучи в обладании попов, но и отказаться от них царям не след.

Старец весело рассмеялся:

— Вижу, батюшка Иван Васильевич, как горько обманывают себя мосфилье! Вижу, что сами они себе готовят могилу, возвеличивая цареву власть над церковью!.. Горько восплачутся потом! Может статься, что я уже не увижу сего, умру, но так будет. Сам себе они готовят деспота. Аммишь!

Царь молча поклонился и, сердито хлопнув дверью, вышел из кельи. Старец с насмешливой улыбкой посмотрел ему вслед.

Увидев около ворот обители чернеца с громадною секирой, Иван Васильевич ударил его по плечу:

— Крепче сторожи! Не пускай никого в келью к старцу Вассиану... Головой отвечаешь... Вот тебе мой царский приказ!

VI

Курбский, получив на то разрешение, вошел в государевы покои. Иван в шелковом полосатом халате, подпоясанный по-татарски кушаком, сидел у окна. Задумчиво глядел он на дворцовую площадь, там собирався на торжище народ, бродили козы по склонам холмов, пощипывая траву. Скрип дверей и шаги Курбского вывели царя из задумчивости. Он оглянулся.

— Дозволь, государь, слово молвить.

Иван зевнул и сказал с улыбкой:

— По вся дни мы говорим с тобой, тоже и с отцом Сильвестром и Адашевым, но благодати божией немного вижу я пыле в беседах тех. А было время, мы понимали друг друга, и книжную мудростью своей ты согревал меня...

— Великий государь! — начал Курбский жаром. — Не томн себя... Не прав ты, государь. Тот же я, что и раньше, но ты не слушаешь меня.

— Для того ли божим изволением помазан я, чтобы думать чужими головами? — сощурив глаза, посмотрел Иван в упор на Курбского, — дивлюсь я, князь, — сколь слепы вы при толковой мудрости!

Курбский пожал плечами и принялся с горячностью доказывать — опасно де воевать с ливонцами; война может посорить Москву с Германней, Польшей, Литвою и Швецией. Но лучше ли пасть на ногайцев?

— От бога великий мор послан на ногайскую заволжскую орду, — говорил Курбский, — зимою скот весь ногайский от стужи понадал, сами ногаи мрут, что мухи, и хлеба у них нет. Оставшиеся в живых видят явно посланный на них гнев божий. Пошли они для пропитания к Перекопу. Гос-

людь и там покарал их: от солнечного зноя засуха и безводие. Где прежде текли реки, не стало воды. На десятки локтей в земле едва можно достать ее. За Волгой осталось того измайльского народа едва ли до пяти тысяч, а было множество его, подобно песку. На Перекопе пожирает их моровая язва, и пыле не будет и десяти тысяч всадников. Так, я думаю, настало время христианскому государю отомстить басурманам за кровь братьев, оградить себя и свое государство от нечестивых на вечные дни.

Курбский замолчал. Иван сидел за столом, опустив голову на руки, что-то шептал про себя. Потом, устало повернувшись в сторону Курбского, спросил:

— И прочие воеводы думают так?

— Истинно, великий государь! Но не стало пыле прямоты и смелости в людях, украшенных некогда бесстрашием.

Иван улыбнулся, похлопав по руке Курбского:

— Добро, князь Андрей!.. Люблю тебя за правду. Трусы не должны быть опорой царского трона. Что же ты хочешь от меня? Говори смелее, не бойся... Не такой строптивый я, как болтают.

Курбский некоторое время мялся в нерешительности. Потом, ободренный добродушием царя, сказал:

— Великим умом своим, государь, ты, я вижу, постиг то, о чем я хочу просить тебя... Паки и паки я буду говорить супротив похода к Свейскому морю... Наш долг перед богом — уничтожить без остатка ногайцев и крымских татар, а на запад нам ли ломиться? Что в нем? Еретия! Пагуба!

— Благодарю, князь! — крепко обнял Иван Курбского, — вижу твоё нелицеприятие. За воинскую честь и доблесть тебя не оставлю... Теперь же покинь меня, посижу один сею ради да подумаю над твоими словами... и над советами твоих друзей.

Курбский земно поклонился и вышел из царской опочивальни.

После его ухода Иван долго сидел в раздумьи. Мысли опять о том же. Ох, эти докучливые мысли! Они преследуют его, царя, постоянно. Временами слабеет вера в себя, в свои силы. Затеяно дело великое, а где выход? Так бывает с путником, идущим в горах. Одолев один перевал, он думает спуститься в место ровное, просторное, где можно отдохнуть. Но нет! Перед ним новая гора, опять он на вершине, и куда ни глянешь — везде горы, горы и пропасти, а не видно дорог ровной, без подъемов и спусков... Может быть, Курбский прав? Может быть... Не отстать ли? Не уехать ли с Анастасией и детьми за море? Их много... Ой,

как много этих непрощенных доброхотов!.. У них своя правда, они за нее согласны умереть, у многих из них чистые, светлые головы, и пока они явятся открытыми врагами — сколько зла могут сотворить как правители как всемогущие хозяева крестьян и холопов!

Тяжело вздохнув, Иван поднялся с кресла, помолится на икону и отправился в царницы покои.

Анастасия недужилось. Она поднялась с постели, бледная, исхудалая. По лицу ее пробежала ласковая улыбка. Глаза черные, печальные, смотрят страдальчески. Она из мамок, Феклушка, рассказала ей утром, что в эту ночь под ее, царницыным, окном как-то курица села петухом. Люди хотели поймать ту курицу, а она обратилась в черного ворона и улетела в ту сторону, где садится солнце. Венцунья-старушка, которую привели к царнице сениные боярышни, объяснила:

— Не к добру то. Если царь-батюшка пойдет войной на закат солнца, к морю, — не послушает советников, — приключатся великие недуги с ним и с тобою, и смута страшная поднимется в государстве.

Иван молча смотрел на Анастасию немлым, скорбным взглядом.

— Печальница моя по вся дни! Поведай, что с тобой подеялось? Бледна ты и худ, как того не было вчера и позавчера... Не сглазил ли тебя кто, не обеспокоил ли кто, моя горлица?

Анастасия через силу приободрилась: она дала себе слово ничего не говорить мужу о бурице и обо всем, что слышала от иворни. Больше всего Иван боялся колдовства. Она знала, как Иван мучается наедине, услышав что-нибудь колдовское. Анастасия всегда старалась успокоить его, хотя сама и не долюбивала Сильвестра и Адашева, хотя в тайне и мучилась опасениями за жизнь царя.

Сила «сильвестрового хвоста» велика. Многие служилые люди ставлены Сильвестром и Адашевым. Не скоро от них освободиться.

Что сказать царю? Ведь и сам он все это знает. Знает, и ничего пока не может сделать, ибо еще не набрал такой силы, чтоб одолеть их.

— Лекарь был? — тихо спросил Иван, усевшись в кресло. — Англицкий или свой? — пытливо взглянул он на стоявшую в углу мамму.

— Англицкий, батюшка-государь, — в страхе пролепетала старуха. — Англицкий...

— Удались! — кивнул царь в сторону двери.

После ухода старухи он, глядя на жену, тяжело вздохнул. Ему казалось, что царца хворает неспроста, что кто-то виноват в том:

— Цари, короли, их жены и дети во все времена недужили кому-либо на радость... И теперь враги радуются моему горю. Вида не кажут, лицемеры, и, стоя у трона, вздыхают. Окаянные, вселукавые души! Прикрываются добродетелью и любовью, а сами... Сатана перед крестным знаменем отступает и исчезает вовсе, а они, лукавцы, крестным знаменем и именем Христа прикрываются. Уже они самого сатаны!

Анастасия участливо взглядывалась в лицо мужа. Она не могла сдержаться, спросила: — Чем ты разгневан, государь?

Иван тоже многое скрывал от царицы, паля ее здоровье, но тут не вытерпел и, похотительно оглядевшись кругом и плотно прикрыв двери, сказал:

— Упрекают меня мои первые вельможи — не советуюсь с ними, слушаю шепоты, будто бы, ласкателей. А сами о турецком султано и подумать не хотят... Великий Салман золотыми буквами грамоту пишет мне о дружбе, а я льюду разорять ханскую землю Крым? Не хотят понять они, что погибель в безводных степях ждет войско. Добравшись до Крыма, едва половину войска приведешь туда, да какого войска! Голодного, убогого, усталого.

— Батюшка-государь! — сказала Анастасия. — Велика власть твоя, и сердце твое любовью к государству напоено. Побереги себя, не будь подобен огню, себя сжигающему. Бог мудрее нас. Он укажет своему помазаннику путь в делах земных.

Иван пахмурился.

— Огонь для того и есть, дабы гореть. Земной правитель повинен до смерти стоять за родное дело. Бывают дни, когда хотел бы я обратиться в сыроеца-волка, чтобы зарыть своих благодетелей. Вот была бы потеха! Нет такой казни, коя могла бы достойною наградою быть многим из них...

На губах Ивана мелькнула злая улыбка.

— Что ты, батюшка! Христос с тобой! — испугавшись, замахала на него руками Анастасия. — Помолись господу-богу... Да простит он тебя!..

— Ну, вот, ты и поверила!

Тяжело поднялся с своего места Иван. Постоял в раздумьи перед иконами, а потом порывисто осенил себя крестом, земно поклонился иконам:

— Экие мысли! Прости, господи! Смягчи, владыко, гнев мой!

И, обратившись к жене, мягким голосом сказал:

— Бойся, Анастасия, толкать меня на убогий, прискорбный путь. Не отвращай меня из жалости от более достойной дороги. По ней прошли мой дед и отец со славою.

— По ведь ты, батюшка, не снесешь обид и опасностей... Тебя погубят!

Анастасия опустила с постели ноги, взяла мужа за руку:

— Не сердись, государь! Это я так...

Она была прекрасна в эту минуту. Иван прижал ее руки к губам. Затем отошел от нее и, отвернувшись к окну, тяжело вздохнул.

— Помогай! Не по душе мне место малое, место тихое... Неужто до сих пор ты не поняла меня? Помни: царица — ты! Нам ли с тобой бояться обид?! Пусто! Бог требует возвеличить и прославить дело рук моих предков. Могу ли я довольствоваться помыслами честолюбцев? Не они ли у овра моего, в дни недуга минувшего, хватались за скипетр, бороды друг другу драли из-за первенства? Я не забыл. Помню! Дивуюсь, Анастасия! Ужели ты забыла? Не случилось бы ныне того, что прежде, чем я на них руку поднял, умертвят они нас с тобой?! Господь поменял им однажды. Помнишь? Я остался жив, выздоровел. Но если бы умер? Они истребили бы друг друга и сгубили бы родину. Один мужик сказал мне: «Царь да нищий — без товарищей». Но так ли это? Нет! Я велел выпороть мужика. Больно было слышать такие слова. Не товарищей, так слуг верных, царь всегда мочен иметь.

Он быстро занялся из угла в угол по комнате.

— Не тоскуй, царица! Рушится упрямство поганое!

Расстегнул ворот у рубахи, прислонился к косяку окна.

— Душно! Демон давит!.. Ох!

Царица вскочила, накинув на себя голубой шелковый халат:

— Молись, молись, Иванушка! Не думай! — прошептала она, пабожно сложив руки на груди. — Стань на колени!

Иван вытянулся во весь рост.

— Не страшись! Найду я в себе силы держать ответ перед богом и народом. Найду силу, чтоб раздавить непокорных!

Анастасия испуганно сказала:

— Грешно, батюшка, не гнеть господа, послушай меня!..

— Я — божий слуга на земле. Они — мои рабы! Не должны ли они молиться за божьего слугу? Они будут послушны мне, а я их послушание принесу в дар всевышнему. Я очисти монастыри от блуда, пьянства и лихоимства, очисти и души ближних слуг от лицемерия и гордыни... Я поклялся в том святой тропце и не нарушу клятвы. На площади дал я народу клятву — в строгости и справедливости судить и стоять за государство. Помнишь? Я не нарушу клятвы.

Анастасия глядела на мужа и ей жаль было его. Она никогда не была за него спокойна. Ей всегда казалось, что вот-вот с ним должно что-то случиться. Он всегда искал опасностей, шел навстречу грозам.

Неразумно умереть, не испытав сил своих.

Иван, как бы не видел жены и думал о чем-то другом, а не о том, о чем шел разговор. Глаза его загорелись. Очнувшись, осмотрелся кругом подозрительно.

— Никого нет? Да! Да! Ложись! Буду молчать. Язык не должен забегать вперед. Какая ты красавица!

Только зачем ты такая хворая! Тебе сюда тоже нужна. Вель и ты им не любя. Сильвестровы прислужники сравнивают тебя с царь-пеной Евдокней, гонительницей Иоанна Златоуста...

Раздался стук в дверь.

Иван вздрогнул, отшатнулся от жены. На носках подошел к дверям, приставив глаз к потаенному оконцу. Стук повторился.

— Входи! — строго сказал царь.

— Батюшка-государь! Дозволь молвить слово холопу твоему! — низко опустив голову, произнес постельничий Игнатий Вешняков.

— Говори.

— Из Нижегородского уезда пришли мужики.

— Чьи?

— Кольчевские. Их отбил Грязной у стражи князя Старницкого.

Лицо Ивана Васильевича стало гневным.

— Стража князя Владимира Андреевича перехватила кольчевских мужиков? — тихо и грозно спросил царь.

— Так, великий государь! Они не хотели допустить беглецов пред твои царские пресветлые очи. Василий Грязной со стрельцами отбил.

— Слышишь, Анастасия? Братец-то мой какой храбрый. Кольчевских мужиков половил!

— А зачем то ему?

— Со словом на своего боярина шли они на государев двор, царица-государыня!

Царь отошел к окну, чтоб не было видно его волнения. Глубоко вздохнул.

— Обласкайте странников с пути-дороги, накормите, напоите их, а от нашего двора — никуда! Держите с милосердием. Явите пристойное. Ступай с богом.

Поклонившись до земли, Вешняков удалился.

— Увы, мне! — покачал головою Иван. — Упорствуют князи. Стоят на дороге. Трудно Володимиру отказаться от того, что задумал он. Простил я его, но веры у меня нет ему. И почему Владимиру быть царем? От послед-

него сына моего деда родился он. Андрей Иванович не был наследником. Мой отец, Василий, наследник деда Ивана. Какая же вина моя перед ним? А он и по мне время в общину на меня и бояр, что отреклись от него.

Большой, сильный, Иван наклонился на жену, прошептал:

— Не быть лю-ихнему... И я не сплю. Вперед царевым судом будут равны... Раб-божии станут моими рабами. И бояре, и князи, и дворяне, и мужики. Так будет!

Иван тихо рассмеялся, поцеловал жену.

Из соседней светелки к нему подбежал маленький курчавый мальчик. Стал играть серебряными бляхами на халате. Это — трехлетний царевич Иван. Сегодня отец подарил ему крохотный железный шлем, — не потешный, заправского дела. Царь надел его на голову ребенка и с улыбкой стал любоваться сыном.

— Ты воин? — спросил он мальчика.

— Я матушкин! — храбро ответил тот.

Царь добродушно рассмеялся. Анастасия лежала в постели, тоже засмеялась.

— Благодарн отца! — сказала она царевичу.

В ответ на это ребенок прыгко, чуть не свалившись с ног, поклонился отцу.

— На войну пойдешь? — спросил отец.

— Пойдешь... — ответил царевич.

— На Крым аль на Ливонию?

— Пойдешь на... — мальчик растерялся и убежал опять в свою светелку.

Царь засмеялся:

— Царевич и тот скрывает свою мысль.

— Полно, государь!.. — улыбнулась Анастасия.

.....

В нижних покоях Вешнякова поджидал Грязной.

— Ну, как встретил ту весть, государь? — шопотом спросил он спустившегося вниз товарища.

— Спокойно. Осилит гнев.

— А сказал ты...

Не успел Грязной договорить, как на лестнице послышались тяжелые шаги царя.

— Тише! — сжал руку Грязного Вешняков.

Царь сошел вниз и удивленно остановился против Грязного.

— И ты здесь?

— Здесь, великий государь! — молвил Грязной, став на колени. — Прошу прощенья, что дерзнул я прийти без твоего, государева, зова.

— Поднимись! Слушай! Изловите начальника стражи князя Старницкого. Ноймайте его в почное время, хитростью завлеките.

— Слушаем, государь!.. Слово твое царское для нас то же, что слово божье, милостивый батюшка! Что прикажешь, то и сделаем. Ни отца, ни матери не пощадим, коли к тому нужда явится...

Слова Грязного понравились царю. Он пощипал его по плечу.

— Добудь разбойника... Попытаем его.

В полдень Вешняков доложил царю, что нижегородские мужики бьют челом, просят милости царской за самовольство и за приношение «слова» на боярина Колычева и его зятя, воеводу нижегородского.

Андрейка, Герасим и Охима пали ниц, когда вышел царь.

— Буде!..— услышали они над собой строгий голос.

Не вставая с колен, они приподнялись, чтобы увидеть царя. Большие серые глаза его выражали любопытство. Одет он был просто: в суконном коричневом кафтане, в темпоянких шароварах, запряганных в красные афьяновые сапоги. Он был молод, высок ростом, строен, с светлыми, гладко зачесанными волосами. Небольшая бородка делала его лицо простым, очень обыкновенным. Таких «Иванов» Андрейка и Герасим могли бы насчитать немало по деревням и селам богоявленской епархии.

Смущение и страх прошли. Парни смело рассказали о крутости колычевского права, о боярском неправедном, самочинном суде без старост, без целовальников; о том, как убили боярин старуху-знахарку, и за что ее стубил.

Царь спросил: всю ли свою пашенную землю захватывает Колычев и гонит ли хлебные избы в Нижний и на Волгу для продажи.

Герасим ответил, что боярин захватывает самую малую часть пашенной земли, чтобы накормить только себя и своих людей, холопов и крестьян, а в продажу ничего не дает, и никакого не прилагает старания, чтобы вся пашенная земля давала хлеб, крестьян своих и то теснит хлебом. И выходит, что боярин Колычев живет не по совести, а как «собака на сене».

— Был ли в колычевской вотчине паш посланный Василий Грязной и что он говорил людям? — спросил царь, цепыгующе взглядываясь в лицо парней.

— Был царский посланник. О войне он народу, батюшка-государь, баял, о верстаньи... А как уехал, еще лютее сделался Никита Богрянич. Тут он старуху и утопил, и этого парня на цепь посадил... Лютой он у нас, особо во хмелю...

Иван терпеливо выслушал жалобы парней. Вешняков низко поклонился царю и хотел было увести челобитчиков, но царь остановил его:

— Обожди — и, обратившись к Охиме, спросил ее.— Ну-ка, девка, что скажешь?

Он улыбнулся. Осмотрел ее с головы до ног; ободряюще кивнул ей:

— Эх, ты какая!

Охима рассказала царю, как воевода теснит мордву, и как его волостели и прикащики жестоко расправляются с мордвой, чувашиами и черемисами. Не пускают их в Нижний, а пустишь, облагают данью, кою взыскивают насильно, батожьем, себе на кормление. Охима сердито сказала:

— Худо станет воеводам и волостелям, коли бушевать учнет народ... Неправда ихняя на них же и скажется...

— Ого! — усмехнулся царь.— Бойка! Пугаешь!

Охима поведала царю о том, как воевода принудил ее силою быть его наложницей, и о том, что не ушла бы она из Нижнего, кабы не боялась попасть в руки воеводы. Не покинула бы она своего старика-отца одного, без ее помощи и заботы.

Глаза Охимы, казалось, еще более почернели, расширились от негодования, щеки разругались, высокая грудь ее тяжело дышала. Девушка приблизилась к царю, сложив свои руки, умоляюще и со слезами в голосе сказала:

— Покарай их, государь! Казни их! Проклятые они! Шайтаны!

Вешняков подскочил к ней, хотел оттолкнуть ее от царя, она с силою оттолкнула самого Вешнякова так, что он едва не упал.

Лицо Ивана стало холодным, сердитым:

— Так ли ты говоришь, не по злобе ли? Не хочешь ли ты, ради мордовской выгоды, оговорить своего воеводу?

Охима коснулась самого больного места в государевых делах. Совсем неловко утихли в Поволжье бунты среди черемисов и татар. Царь много ночей не спал, проводя время либо в советах с вельможами, либо в собственноразмышлениях.

Ведь не кто иной, как черемисы, приходили к царю, просили его принять их в свое подданство, и вдруг... Вон и кабардинские черкесы шлют своих послов, просят принять их в русское подданство.

А бояре и Курбский князь, посланные для розыска и судных дел, винят во всем народ, самих татар и черемисов. Заодно с боярами и мурзы, и кушцы татарские, многие князи и кушцы черемисские... Винят свой же народ! С их рукоприкладством бояре грамоты прывез-

ли. А в тех грамотах под клятвою по мусульманской и языческой вере сказано, что-де виновен сам простой народ. И что зря, мол, царь освободил его от пошщины и всякой государевой тяготы.

И вот простая девка, мордовка, впит в всем именно бояр и воевод, стало-быть и Курбского, и говорит, что народ не против царя, а против бояр и воевод. Кому верить? Мордовку посягать за глупью? Но он сам хорошо помнит, как и мордва, и черемисы помогали ему в Казанском походе. Они даже спасли его от смерти.

Охима, как бы угадав мысли царя, еще более горячо, еще громче сказала:

— Отсеки мою головушку, царь-батюшка, если говорю неправду... У меня был мой любимый Алтыш Вешкотин... На царевой воинской службе он поне... Что скажет Алтыш? Кто не знает, что воевода держал меня в своем терему? Пехоршая я! И не скрою того теперь я от своего Алтыша... Расскажу ему всю правду... Пускай лучше убьет он меня, нежели мне обманывать его!

Царь задумчиво спросил:

— Имя твое?

— Охима.

— Не страшись, не убьет! — и, обратившись к Вешнякову, царь приказал: — Поставь на работу ее к Федорову... Нездешняя она...

Царь спросил Андрейку:

— Твое имя?

— Андрейко Чохов, батюшка-государь, отец наш родной! — ответил парень, став на колени. — Добрый наш государь!.. Хочу пушки лить! Помогли умудриться ратному огневому делу.

— А ты?

— Герасим я, Тимофеев... Будь милостив, батюшка-государь! Тож хочу быть ратником...

— К дядьку Ивану Юрьеву веди! — произнес царь. — Посадить на воинскую службу, но не в одно место... Тому, — царь указал на Герасима, — под рукою Воротынского... на рубеж. А того — на пушечный двор... Учinite всем им расспрос в приказе. А за побег из вотчины накажи смердов батожем, чтоб не бегали самовольно из поместий, но чинили непослушания господам... Смерд должен знать свою меру.

Парни, стоя на коленях, смиренно выслушали слова царя.

Иван подошел к Охиме, поглядел ее по спине.

— Тебе ли упивать? Ишь ты! Крепка! Ни как не ущипнешь...

И обратившись ко всем, ласково сказал:

— С богом! Служите честью! Не пмейте зла на своих влады! А ты, Игнатий, накажи и накорми их, да сведи к протопопу... Пускай

покаются во грехе... очистят душу от злобы против господ...

Тем и окончилась встреча нижегородских беглецов с царем.

После свидания с нижегородскими беглецами, Иван, войдя к царице, сказал с хитрецей в глазах:

— Слушай! Колякня бы досады ни чинили мне наши честолюбцы, а не одолеть им меня... Когда умру я — погубленный врагами силою, аль по-христиански, своею смертью, — держава моя тверда будет и нерушима. Немало верных людей у меня, новых, дерзких, готовых сложить голову за меня. Один звездочет-мудрец сказал: «Что бы ты ни делал, распознай — сколь полезно то земле твоей. Вижу, что народился я божним изволением на царство... И что в делах моих его воля, и буду я правильным путем.

Царь рассказав Анастасии Романовне о беседе своей с колычевскими холопами, о том на какую работу посадил он их.

— Любо слушать дворянина, но не грешно царю послушать и мужиков. Монахи, странники, иноземцы и всякие челобитчики сказывают о великих неправдах в моем государстве, знаю... Посылаю бояр для розыску и спросу в дальние грады и села и николи же нахожу правды в их доношениях. Теперь буду посылать по деревням не бояр для сыска а иных людей... Опричь них.

Сел в кресло и несколько минут сидел, оцепенев от нахлынувших на него мыслей. Потом сказал:

— Все изменить надо, но не легко то! Надо обождать... Опасно уподобиться Самсону, повалившему столбы капища и похоронившему себя под ними.

Лицо его покрылось красными пятнами, глаза заблестели мрачным торжеством, и несколько раз он тихо прошептал: «Опричь них».

Зашлакал царевич Федор. Из соседней горницы прибежала мамка.

Иван встал с кресла, подошел к люльке, склонился над ребенком, потрепал его за ручонку... Мамка стала опрывать ребенка. Иван помог ей... Пришла кормилка, села около царицы. Анастасия требовала, чтобы ребенка кормили у нее на глазах...

Царь в хорошем расположении духа вышел из оличивальни.

Глубоко, в подвале, под царским дворцом помещался пыточный каземат, обложенный камнем, тщательно выбеленный, чисто подметенный, с изображением на стене громадами глаза, неотвязно следившего за каждым, кто находился здесь.

В одном углу широкий горн, таган.

В другом — дыба. На особых полках — в порядке размещенные сковороды; ремешные, с железными набалдашниками, биты; железные боты, круто изогнутые, острые, ярко начищенные кирпичом; разных калибров клещи, серые от постоянного калення, и множество шол для вонзания под ногти; ножи, пилы.

Все это содержалось с явной заботливостью и усердием.

Высокого роста, сплошь бритый, безусый, безборный кат¹, вывезенный из Ливонии, похотейски прибрался в застенке, ожидая прихода царя. На нем новая желтая рубаха и кожаные штаны, засунутые в красные сафьяновые сапоги.

Неторопясь он разводил огонь под одним из таганов.

В темном коридоре, недалеко от пыточного каземата, слышится полный ужаса и отчаяния голос человека. То начальник стражи князя Владимира Андреевича. Прешлой ночью его поймали государевы люди, в то время когда он шел из Чудова монастыря с богомолья, от полукощницы. Подстерegli Василий Грязной и Вяземский со своими стрельцами.

— Эй, уймись, божий человек!.. Пехорошо! — выскунувшись из двери каземата, крикнул кат. — Чи реви, чи не реви — не помогаешь. Апосли накукуишься удоволь...

Коварная усмешка скользнула по лицу ката. Вопли заключенного устлились.

Кат махнул рукой, вновь вернулся к огню. Тепло шло от тагана, угли и железо раскалились, едкий дым щекотал поздри, стало жонить в сон. Кат сладко зевнул.

Вдруг позади него послышался шум. Он вдрогнул, приподнялся. Из темного коридора, освещенный отблеском огня, на него глядел царь Иван, одетый в черный кафтан. На голове его была черная тафья-ермолка, усыпанная драгоценными камоньями.

Кат низко поклонился царю.

— Очнись, честная душа! — раздался тпный, усмешливый голос Ивана.

Из темноты вышли два дюжих стрельца. Обратившись к ним и к кату, царь сказал: — Испытаем плоть, разум, сердце и душу того холопа. Ведите!

Оставшись один, Иван вытянул из-за ворота за цепь спрятанный под черным кафтаном крест, помолился на него, поцеловал:

— Ты еси руководишь меня советом твоим, — прошептал царь, — и деяния мои приими во славу твою!

Там, в черноте подземелья, послышался дикий вой, возня.

Иван прислушался, улыбнулся. Сел у тагала, стал греть руки.

Возня ш шум усиливались, и, наконец, в каземат ввалились стрельцы, без шапок, растрепаные, ведя за вывернутые назад руки усатого, широкогрудого человека, все лицо которого было в синяках и кровоподтеках.

Увидев царя, он крикнул задыхающимся голосом:

— Батюшка-государь, Иван Васильевич! Помилуй!

Царь сделал рукою жест, повелевающий стрельцам уйти. Они вышли, а приведенный ими узник пал ниц перед царем.

Кат с деловым видом подошел к полке, снял с нее небольшую железную лопаточку и сунул ее в горячие угли, а на таган поставил чашу с маслом.

— Поднимись, собака! — толкнул ногою царь валившегося на полу узника.

Тот послушно приподнялся на коленях.

— Обладай! — повелительно сказал царь Иван кату, кивнув в сторону узника.

Кат мягко, на носках, подошел к трепетавшему от ужаса начальнику княжеской стражи и, приподняв его, поставил на ноги. А затем принялся неторопливо, называя его ласковыми именами, снимать с него кафтан и рубашку. Оторвав пуговицу, кат покачал головою, положил ее себе в карман.

— Дай мне ее! — строго сказал царь.

Кат вынул из кармана пуговицу, отдал царю, который, повертев ее в руках, сказал: — Литовская... Не наша...

Нагнулся, тщательно осмотрел одежду узника.

Кат суетливо возился около своей жертвы.

Иван Васильевич сел на скамью, сосредоточенно следя за действиями ката.

У начальника княжеской стражи зуб на зуб не попадал от лихорадочной дрожи. Когда он был обнажен по пояс, кат провел своей ладонью по его спине, погладил, с каким-то особым, деловым видом пошлепал по телу. И с выраженным удовольствием на лице отошел в сторону, стал ждать приказа царя.

Поднялся с своего места Иван Васильевич.

— Сказывай! Веруешь ли ты в бога, творящего чудеса, не зпающего в гневе пощады и в милости исполненного щедрот?

— Верую, великий государь, верую... — еле шевеля от страха губами, прошептал допрашиваемый.

— Знаешь ли ты царя, воцарившегося на Руси божним изволением, единого екшпетродержателя, владыку владычествующего и всеми правящего?

— Знаю, — послышался в ответ робкий шопот.

— А коли так, чего же ради ты на расправу своему князю увлек моих людей, шел-

¹ Кат — палач.

этих ко мне с челобитием? Стало быть твой князь выше царя, коли он может бросать в темницы царевых рабов? Отвечай!

Глаза Ивана глядели в упор на княжеского холопа.

Царь выхватил из кармана плеть и с силой ударил ею княжеского стражника по лицу.

— Ты молчишь! Окаянный льстец! Подобно своему хозяину, упрятал ты змеиное жало... А кто того не знает, что спрятанное жало — горчайшее зло, оно жалит, когда к тому случай явится. Ну, мы не будем того ждать. Вырвем жало, покуда оно не вышло наружу...

И, кивнув головой кат, царь сказал:

— Тронь!

Кат спокойно вынул из огня раскаленную железную лопатку и приложил ее к плечу узника...

Дикий вопль огласил подземелье. Пытаемый вцепился в одежду ката, оттолкнул его к стене.

— Стой, собака! — громко крикнул царь. Лицо его, красное от отблеска огня и волнения, перекопилось злобою. — Не шевелись! Отвечай! Кто бывает у твоего князя и о чем болтают?

— Не ведаю, государь! — простонал узник.

— Может быть, тебе неизвестно, и кто велел тебе захватить колычевских мужиков?

— Матушка-княгиня, Евфросинья, она... она... посылает нас! Князю то неизвестно.

Иван некоторое время стоял в раздумьи. Кат суетился около огня, нагревая большие железные когти.

Видя это, узник снова завыл, прижавшись к каменной стене.

Нахмурив брови Иван Васильевич стал внимательно следить за выражением лица узника, который снова повалился на пол, стал умолять царя помиловать его.

— Отвечай, кто из бояр и князей наибольшее добродетели князю Владимиру?

— Князья Репнин, Ростовский, Курлятев, Телятнев... А о чем болтают, нам невозможно знать... В хоромы нас не пускают...

— Станешь ли ты на мою сторону, чтоб служить мне верою и правдою, коли я помилю тебя?

— Стану, батюшка-государь, стану, по гроб буду верен тебе, — со слезами на глазах принялся креститься пытаемый.

— А коли не сдержишь слова, что тогда?

— Отсеки мне головушку. в те поры, отец наш родной... В огне сожги, спали на угле!..

— Клянешься?

— Клянусь!

— Выжги ему на груди крест, чтоб не забыл своей клятвы... Многие клянутся, отрека-

ются от злоумышления и измены, и скоро в том забывают, а ты, глядя на крест, припомни свою клятву...

— Великий государь!.. — снова завопил княжеский страж. — Запомню я и без того!.. Запомню!

— Самый тягчайший клятвopеступник под пытку употребляет слова сладчайшие, и я давно перестал тому верить...

Кат уже накалил докрасна небольшой железный крест... Подойдя к узнику, он ласково попросил его лечь на скамью навзничь. Тот поворотно выполнил это, — лег, закрыл глаза.

— Молись!.. — приказал царь. — Ежели праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, — он губит душу, а беззаконник, ежели обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, — в жизни возвращает душу свою... Аминь!

В это время кат ловко выхватил из огня щипцами раскаленный крест и приложил его к груди пытаемого...

Царь строго смотрел на лежащего перед ним человека, часто осеняя себя крестным знаменем и нашептывая едва слышно молитву.

Через некоторое время кат смазал грудь пытаемого согретым маслом.

— Оставайся слугою князя, будучи моим верным рабом...

И, хлопнув в ладоши, царь вызвал стрельцов.

— Отведите его к Василию Грязному... — сказал он, указывая на лежащего на скамье княжеского стражника.

Все низко поклонились уходившему из каземата царю.

VII

День двадцатого июня был приемным днем царя.

В большой палате, на скамьях, полукругом у стен тихо сидели бояре, думные и ближние люди; окошечники, стольники, стряпчие и многие приближенные царем к своей особе; дворяне сидели рядами в прилежавших к палате покоях. Бояре в богатых золотых одеждах и высоких горлатных шапках. Сидели все они неподвижно, храня глубокое почтительное молчание. Палата как будто была наполнена неживыми существами, и можно было слышать малейший шорох. Никто не приветствовал входивших в палату гостей.

Около царя стояли рынды.

Полы приемной палаты были устланы дорогими узорчатыми коврами.

Царь принимал прибывших через Швецию шотландцев. Они с отменной ловкостью отвесили поклоны, размахивая салютуя своими широкополыми в перьях шляпами. Старший из них вышел вперед, заявил, что шотландцы — народ испытанный, воинственный, готовый служить каждому христианскому государю. Они докажут это, если его величеству угодно будет взять их на государеву службу. Они могут быть войнами, размыслами и мастерами пушечного дела.

Иван сидел на возвышении в широком золоченом кресле. Приветливой улыбкой он встретил на поклоны рослых, курчавых шотландцев. По его лицу видно было, что ему нравится воинская выправка заморских гостей. Особое внимание уделил он старшему из них, стоявшему совсем близко около него.

Когда тот закончил свою речь, Иван приказал толмачу узнать его имя.

— Джонни Лингетт... — ответил он, с достоинством откинув голову.

Широкоплечий дегина, голубоглазый, с большим прямым носом и маленьким жемчужным ртом. На верхней губе чуть-чуть виден пушок. Взгляд простой, слегка наивный.

Царь Иван с любопытством всматривался в лицо бравого шотландца. Потом сказал толмачу:

— Спроси, как же так можно, чтобы вестный воин служил каждому государю? Мои люди служат только одному государю — мне.

Толмач перевел шотландцу вопрос царя.

Джонни Лингетт, весело улыбаясь, перекинулся со своими товарищами, а затем с легким поклоном ответил:

— Не «каждому государю», но только христианскому.

Иван Васильевич усмехнулся:

— Толмач, скажи ему: христианские государи проливают кровь христианскую же, и не менее, нежели мусульмане и язычники... Не христианский ли король Франции вошел в союз с Селейманом, называющим христиан «собаками»? Веры разные — меч один!

Выслушав толмача, шотландцы стали втулпать: что ответить?

Царь нахмурился.

— Ну?! — нетерпеливо постучал он посохом об пол.

— Мы уже давно не были на родине... Мы не знаем ничего о Европе, — смущенно ответил юноша.

Царь покачал головою, а затем подробно расспросил их, кто и к чему привычен.

Он всегда питал особую приязнь к людям королевы Марии Английской.

Бояре с трудом сдерживали зевок. Расспро-

сы царя утомили их. Михаил Решнин кусал губы, щипал себя, чтобы побороть дремоту. Ростовский думал о несостоявшейся сегодня, вследствие царева приемного дня, медвежьей охоте. У Курлятева болели зубы, он усердно приглаживал языком большое место десны, еле-еле сдерживаясь, чтобы не застонать. Самое утомительное было для бояр присутствовать при приемах Иваном Васильевичем иностранцев. Им казалось это пустою забавою «молодого, честолюбивого венценосца».

Царь завел речь об изобретенных в Италии двадцать лет назад пушках-фальконетах, именуемых в Москве «волкопейками» или «союлками». Ему хотелось знать: какие дальнобойные пушки шести-семи фунтов имеются за границей, чтобы можно было такие пушки возить на спине коня, при себе?

Толмач не успевал переводить вопросы царя, чем вызвал его неудовольствие. Велено было позвать другого толмача. Они стали вдвоем осыпать вопросами шотландцев, оказавшихся людьми сведущими в пушечном деле. Они охотно поведали царю о новых пушках, какие им приходилось видеть в других странах. Особенно заинтересовался царь рассказом их о кожаных пушках, которые изобретены в Швеции. Крепкая медная ствольница обволакивается кожей; можно стрелять двумя, либо тремя ядрами сразу.

Шотландцы, по требованию царя, нарисовали на бумаге углем устройство этой пушки.

Царь поблагодарил и велел Адашеву принять их на государеву службу.

По уходе шотландцев царь долго рассматривал нарисованное ими на бумаге. Вздыхнул, покачал головою и убрал чертеж в карман.

На смену шотландцам с шумом, с сабельным звоном явились атаманы казаков: донских, теребенских, терских, волжских и яицких. Были вызваны они царем для беседы о предстоящем походе.

В пестрых одеждах, в широких шароварах, подпоясанные зелеными и красными кушаками, с кривыми турецкими саблями и ятаганамы через плечо, усатые, чубатые, вошли они в палату. Во дворец никому не дозволялось являться с оружием. Казакам гддь это разрешил.

— Бьем челом, великий государь!.. — громко сказал любимец царя атаман Павел Заболотский. Он высоко поднял правую руку, в которой держал громадную косматую шапку. Оглянувшись, крикнул товарищам: «Гей!»

Казаки низко поклонились, звеня цепочками, четками и оружием.

Чубатые, седоусые атаманы с лукавой

усмешкой из-под сумрачно нависших бровей осмотрели неподвижно сидевших на скамьях бояр.

Царь Иван поднялся со своего места (с шотландцами беседовал еддя) и тоже низко поклонился казакам:

— Здоровы ли, атаманы?

— Живем, великий государь, я богу за тебя молюсь, — бойко ответил Заболоцкий.

Снова общий поклон.

«Разбойники, чистые разбойники! — думал Михаил Репнин. — Душегубы! С нами никогда царь не бывает так ласков, как с этими бродягами!» Сильвестр, вскинув очи к небу, вздыхал, что заметили многие из придворных. Адашев глядел с надменностью на толпу атаманов. Зато веселые, зазорные улыбки появились у дворян, и особенно выделялось лицо Василия Грязного. Неожиданно встретившись взглядом с ним, Михаил Репнин побавровел, насупился. «Сволочь! Пес!» — мысленно обругал он Грязного.

Коренастый, широкоплечий атаман Заболоцкий — старый рубака. На его красивом черном лице следы сабельных ран. В темно-синем казацком кобеняке, опушенном бобром, в малиновых субонных штанах с сафьяновых сапогах с золотыми украшениями, — он выделялся богатством своей одежды среди других атаманов. Его руки сверкали от множества дорогих перстней. У пояса кривая турецкая сабля в бархатных малиновых ножнах с позолотой.

— Великий государь! — громко прозвнес Заболоцкий. — Казацкие сотни у берегов Дона, Волги, Яика, Терека и с Гребня бьют тебе челом служить верно! Наслышаны мы о хотении твоём, государь наш, Иван Васильевич, видеть нас и слово свое царское молвить нам. Великая радость от сего в казацких станицах... Буди к нам милостив, великий царь! А мы не забудем добро твое.

Поклонился царю Заболоцкий, а вместе с ним еще и еще сделали низкие поклоны и все другие его товарищи.

— Храбрые атаманы! — воскликнул царь с воодушевлением. — Господарь Молдавский Стефан сказал про моего деда: «Он дома сидит и спит, а владения свои увеличил; а я, ежедневно сражаясь, едва могу защитить свои пределы». Наши соседи, ливонские немцы, посчитали и нас спящими... Десять лет не платят долга и к тому же — пытаются загорочить от нас моря и иные царства. Обманывали немцы моего, блаженной памяти, родителя, великого князя Василия, а ныне обманывают и меня... Обещают то, чего не могут сделать. Немцы не одни. Врагов у нашего царства немало. На них-то и понадеялись

немецкие вельможи... Надо ли нам терпеть? Ужели кони наши охромели, сабли заржавели, копья штыгутились?! Ужели мы не пойдем на защиту поруганных наших святых церквей и в тихости склоним головы перед бешеными псами?! Казаки! Единой веры мы с вами, единой крови — к кому прилепиться?! Не слушайте краснословцев, осуждающих распри с Ливонией... Наш гнев — гнев божий!.. Вседержителю угодно, чтоб наказал я лютерских еретиков проклятых, захвативших в древности земли наших предков... и надругавшихся над нашими людьми... Мне ведомо, что славный казачий вождь Дмитрий Иванович Вишневецкий зовет казаков воевать с Крымом, с нехристями-мусульманами... Но то от казаков не уйдет... Победив немцев, прилепившись к морю, мы сделаем себя еще более сильными! И крымские панадатели не устоят в те поры перед нами. И коли казачество будет прямить нам и пойдет на ливонцев заодно с Москвой, то и царь добротество его пожалует и дела ваши незабвенны станут. Казачество же, со славою, помощью божией и царской, поразит врагов своих и на востоке, и на юге, и на западе... Ныне, ради победы над ливонцами, да будет наш союз и дружба нерушимы!..

Последние слова царь громко сказал на всю палату. Говорил он так, что у некоторых казаков выступили слезы.

Заболоцкий поднял руку; застыли поднятые руки и над головами остальных атаманов. — Клянемся, батюшка-царь!.. Клянемся служить правду!

Палата содрогнулась от мощного восклицания казачьих начальников.

Царь стоял довольный, раздумывавший, кланяясь с ласковой улыбкой. Глаза его восхищенно смотрели на казаков, которые низко поклонились и походкой степных всадников переваливаясь, мягко, на носках, вышли из палаты.

Позднее, в «меньшой» палате, где хранились итальянские, латинские и немецкие книги и шутейные сказы доминиканцев, царь Иван принимал людей порубежного бережья и засечной стражи с южных окраин¹.

Сопровождал порубежников знатный боярин, третий местом в Боярской Думе, один из любимцев царя, князь Михаил Иванович Вортынский.

Вошедшие долго молились на иконы. Перед каждым образом горели лампы. Пахло маслом и церковными благовониями. Палата была небольшая, уютная, убранная коврами и шелковыми тканями.

¹ Пограничная охрана.

Иван Васильевич сидел в кожаном кресле. Он был в добром расположении духа. Распахнув кафтан, надетый на голубую шелковую рубаху, нетерпеливо поглядывал он на ратников. Лицо его было приветливым, глаза сверкнули добродушием.

Помогившись, порубежные низко, до земли, поклонились государю. Воротынский плавал каждого по имени и рассказал, из какой это окраины.

Внимательно выслушивал царь боярина, оглядывая каждого ратника с головы до ног.

— Господу-богу угодно, дабы позаботились мы об украинной дозорной страже, — сказал царь, выслушав Воротынского.

Царь объявил, что ныне настало такое время, когда государству отовсюду грозят враги. И назвал он немцев, Литву, крымцев, ногайцев, шведов, османов.

— Берега нашего царства велики и плохо оборонены... Дед мой, Иван Васильевич, да и отец мой, Василий Иванович, немало порадились бережению нашей земли. И мне надлежит беречь и землю, и народ наш по мере сил моих и милосердия всемплошного господь-бога. Иван, великий дед мой, многожды посылал слуг в иноземные крулевства добывать размыслы¹, стеновых, башенных и палатных мастеров... И крепости ныне сложены устоичивые и для боев пригожие. По засеки и до сих дней немногую согреты ласкою государей. Почли нужным мы послать на засеки размыслов, кон укрепят их прочною защитой. Засечную стражу надобно оснастить порядом и всякою иною утварью, а людей одеть и одарить войнами и милостию нашею украсить. Храните рубежи государства пуще глаза, будто усторожливый, бдите ежечасно, дабы враг не вторгнулся в засеку! В недалгом времени прикажу я Разряду созвать боярских детей с украин, станичных голов и старшин казачьих, и всех людей сторожевых, засечных начальных в престошный град Москву... На общем соборе рассудим мы, с божьей помощью, как то сделать, чтобы чужестранцы на государевы украинны войною безвестно не приходили, а станичники были бы сильнее и усторожливее, нежели то было до сих дней... Из нашей земли без царевых грамот никого не пускать. Учиним мы тем собором приговор о станичной и сторожевой службе, какою она должна быть... Передайте о моем царском слове своим товарищам по всем местам...

Царь тут же приказал Воротынскому разъяснить порубежникам, пока, до боярского приговора, как они должны охранять землю.

Воротынский строгим голосом объявил, что бы сторожа на условленных местах стояла, «с коня не ссая», развезжали бы по два человека направо и налево. Где и как сторожить, укажут ближние воеводы. Огни разводять не в одном месте: если кашу сварить, в другой раз уже готовь пищу в ином месте. В одном и том же месте огня разводять не след. И там, где подневали, не ночевать, а где нечевали — не подневать. В лесах не ставиться. Находиться там, откуда было бы хорошо видно окрестности на далекое расстояние. Увидев врагов, отсылать гонцов в ближайше города. И если будут такие сторожа, которые, «не дождавсь себе отмены», уедут с своего места, и «в те горы от воинских людей государевым украиннам учинится война, — тем сторожам от государя, царя и великого князя быти казненным смертию. А тем сторожам, что лишнее простоят, не получив смены, платить по полтине в день на человека».

Еще строже Воротынский сказал о том, что «если станичников или сторожей воеводы или головы кого пошлют дозирать на урочищах и на сторожах¹ и если узнается, что они стоят небрежно и неусторожливо и до урочищ не доезжают — хотя прихода воинских людей и не будет, то все же тех станичников и сторожей за то бити кнутом».

Долго объяснял Воротынский, как должна вестись сторожевая служба на рубежах. Все засечные головы и их товарищи слушали молча, тихо, ловя каждое слово боярина и робко, искоса, поглядывая на царя, который сидел в кресле, опершись головою на руку. Он не глядел ни на кого, погрузившись в раздумье. Лицо его стало хмурым. Вдруг он быстро поднялся, перебив Воротынского:

— Михаил Иванович! Накажи воеводам настрого, чтобы лошади у сторожей были добрые, на которых бы, увидев врага, можно было ускакать. Худых коней на засеки не отпускать. Не исполнят того, — ляжет на них гнев государев... Отпиши!

Все, что сказал станищикам Воротынский, все это давно обсуждено царем, и не раз, с ближними боярами и воеводами.

— Яви свою ревность в деле, и я поставлю тебя хозяином рубежей... Великую честь и великую власть ты приемлешь, — сказал царь Воротынскому.

Отпустив станичных голов и всех других станичников, Иван остался наедине с боярином.

— Тебя я не ставлю в ряду с пными. Ты тверд правом и не ищешь того, чего не за-

¹ Размыслы — инженер, архитектор.

¹ Сторожья — наблюдательные пункты пограничной охраны.

служил; родовитостью не кичишься и своей доблестью не превозносишься, как иные, даже самые ничтожные... Ты все требуешь от себя, а никак другие, требующие все от своего государя. Но нет в мире владыки, который бы во всем мог осчастливить человека...

— Полно, отец наш, батюшка-государь!.. — низко поклонился князь. — Мы ли, рабы твои, тобою недовольны?!

— И хотел сказать я тебе еще: согревай свою заботою малых сих, боярских детей и дворян. Они юны. У них долгий путь к славе, и на этом пути многое могут сотворить они в пользу государства. С Курбским ты не ладить... Знаю. Однако Андрей Михайлович мужественный воин. И не всю возведен мною князь в сан боярина. И на лугувую черемису ходил он тем годом, и в Дикое поле выступал под Калугу, ожедая там крымцев, и в Кампире был. Почетом немалым он уважен в войске... Нельзя государю того не видеть. Верю, что и ты не отстаешь от него и явись на рубежах усердие не меньшее. Будь прямым, как был, а на милость мою полагайся... Ты, да князь Иван Федорович Мстиславский, да еще есть у меня из бояр, прежде и ныне родством славных и службою царю верных. Места ближние в Думе крепки за ними...

Воротынский еще раз низко поклонился царю. Он был невысок ростом, широк в плечах, крепок; в сабельном бою равных себе не имел. Темные кольца волос непослушно сбивались на лоб.

— Повторяю: не гнушайся малых людей, худородных, незнатных. На рубежах они будут служить правдою, а мы не забудем их.

Царь положил руку на плечо Воротынскому:

— Появился на нашем дворе беглый мужик из нижегородских пределов... Прости я его за тихость и ревность к правде. Он послан к тебе. Гони его на ливонский рубеж. Поди, там ныне весело! А скоро будет и того веселее... Не соскучитесь!

Царь тихо рассмеялся.

— Не унимаются ливонские князи... Проят мира, а сами нападают. Церкви, битье, все наши разрушили в Риге, Дерите и Ревеле. Бьют моих купцов, хватают в полон посадских девок, секут головы моим людям... Иноземных гостей к нам не пускают. Сатана ум их помрачил. Ливонские земли извечно русские. О том мои дьяки и воеводы не раз отписывали магистру. И послы его приезжали к нам. Но дани, что требуем, до сих дней так я и не вижу от немцев. Подождем еще, потерпим. Терпение — великий дар!..

Немного подумав, он с шутливой улыбкой спросил:

— Скажи мне, князь Михайло, — обладаю ли я тем даром?!

— Не холопу судить о своем господине, великий государь! — смущенно развел руками Воротынский.

— Ну, добро! Како мыслишь о походе, что задумали мы?

— По вся места моя сабля прольет кровь твоих врагов, государь.

Иван молчал. Видно было, что ответ Воротынского не вполне удовлетворяет его.

— Ливония или Крым? — настойчиво спросил он.

— Ливония! — ответил князь.

Оба несколько мгновений смотрели друг другу в глаза. Воротынский спокойно и смело. Царь испытующе.

— Так ли?

— Так.

— Буде поедешь на рубеж, оставь нам, по обычаю, крестоцеловальную грамоту.

— Да будет так, великий государь! — низко поклонился Воротынский.

— Иди с богом! Верши!

Князь вышел. На площади он остановился, помолится на соборы, облегченно вздохнул.

Иван наблюдал за ним в окно. Он весело рассмеялся, когда увидел, как боярин оттирает пот на шею и лице и как затормозил по двору.

.....

Прежде нежели отправить Герасима в засеку, князь Воротынский сдал его на обучение копейщикам.

На просторном месте, в Лужниках, вместе с другими парнями, стали обучать его копейному делу.

Высокий, похожий на цыгана, смуглый, с вьющимися черными волосами, стрелец держал в руках длинное увесистое копьё. Так же копьё, но только покороче, были розданы и всем обучающимся парням.

Стрелец прохаживался по лужайке вдоль перенги молодых воинов и громким, грубым голосом говорил:

— Засечник — што муха, была бы щель, там и постель, а где забор, там и двор. Засечник спит, а одним глазом за околицу глядит. С копьём, как с бабой. Крепко держит в руках. Не расстается. А латы копейщику подобают легкие, чтоб не тяжелы были... Засечник — конный человек. Латы с брюхом не гожи ему. Латы, штоб не ниже пояса были, и везде плотно к телу. Не так, как в прежние времена, с великими брюхами делал, кои больше беременным женкам, чем жели

ляну пригодны... Смекайте! Чего губы рас-
решали?!

Будущие засечники и копейщики растрепали губы именно оттого, что с большим вниманием слушали своего учителя. Все, что говорил стрелец, Герасиму было очень ново и чудно.

— Паручи всякому гожи, но штоб не дол-
ги были. От посеку, от камня, и от стрел, и
иных невзгод надобно железные шайки иметь.
Внимай даде! Навострай ухи!

Стрелец некоторое время хмуро осматривал
лица своих учеников. В глазах суровость по-
лителя. Герасим замер: даже дышать ему
тяжко стало.

— После того, гляди, покажу я вам, как
владеть копьем красно и гоже против недру-
гов... — торжественно произнес стрелец. —
Гляди!

Он поставил перед собой копьё.

— Коли копьё так, возмись за него пра-
вою рукою в том месте, которое против под-
рей твоих, чтоб палец твой вверх по копыю
лег, и правую ногою немного наперед стой,
а левую немного назад... Пу, делай!

Ратники вразброд выставили правую ногу
вперед, а левую назад; копыя у них скла-
нулись в разные стороны. Стрелец сердито
ударял по затылку отстающих, крича: — Сту-
пи! ступи! Герасим тоже получил подза-
тыльника, несмотря на то, что старался со
всем усердием.

— Примечай! Примечай! Проворь! Про-
ворь!

Герасиму всегда казалось, что лет ничего
проще, как драться копьём. Дома он хорошо
владел рогатиной. Она очень похожа на
копье, стало быть и им тоже легко владеть!
Двух медведей заколол он на Ветлуге рога-
тиной, безо всякого учения, а тут, выходит,
не так-то просто...

Много времени понадобилось молодым рат-
никам, чтобы кое-как научиться копьём поды-
мать, ставить, да посылать.

— Когда копьё обоими концами ровно на
плече лежит и захочешь его острием кого
уложить, — ты его подыми с плеча и дерни
правую руку с копьём назад!

Обливаясь потом, яростно размахивая
копьем, стрелец проделывал упражнения,
разя много противника. Затем молча смо-
трел на своих учеников, смотрел как-то не-
доверчиво.

— Смекнули? — отрывисто спросил он.

— Смекнули! — последовал нестройный от-
вет.

А голос неумолимого учителя звучал с на-
растающей силой воодушевления:

— Всякому воинскому человеку надобно

в копейном деле гораздо примечать, как пе-
ших бить. Прямо перед собою копьё уложи
и недругу острием в горло или в очи уставь...
Чтоб польза учинилась, бей со всей силой!..
Не зевай! Плохой копейщик хотя высоко в
лицо острием и уставит, но недруг легким
обычаем копьём рукою вверх или в сторону
собьет. Смекайте! Смекайте!

— Смекнули, добрый человек! Смекнули!

— Второе: когда ты копьём недругу пря-
мо в брюхо уставил, которая есть лучшая
установка, тогда крепко острием повороты,
чтоб лучше шло. Смекайте!

— Смекнули, добрый человек! Смекнули!

Стрельцу по душе было, что его зовут
«добрым человеком». Это еще более вооду-
шевляло.

— И хоть пушки, порох и огненный бой
у нас и есть, — сказал он с усмешкой, — но
без копейщика не побьешь недруга! Приго-
жею копейного дела ничего не найдешь. Ве-
ликую силу против конных и пеших людей
копейщики чинят!

Две недели с утра до вечера обучали Ге-
расима воинскому делу в Москве. Никуда
из лагеря не пускали и, наконец, отправили
с большим воинским обозом на ливонскую
границу.

Когда Герасим, плотно усевшись в седле
на своем коне и крепко держа в правой
руке копьё, ехал по полям и лесам, он с
гордостью чувствовал себя настоящим воин-
ном.

Скоро и он станет на рубеже и будет на-
равне с князьями, дворянами и боярскими
детьми сторожить родную землю. Солнечные
лучи, как ему казалось, светили ярче, чем
всегда; зелень была свежее, птицы полевые
и лесные громче обыкновенного переклика-
лись веселыми песнями и щебетали, словно
бы в честь него, засечника Герасима. Этот
путь к ливонской границе явился для моло-
дого воина радостным праздником, которого
никогда не забудешь.

.....

Однажды утром царь Иван в своей го-
сударевой рабочей комнате, окна которой вы-
ходили к Москва-реке, разбирал вместе с
Алексеем Адашевым, осалным головою Щел-
каловым, боярскими детьми, дворянами и
дьяками поместного приказа дело о раздаче
земель служилым малого чина.

— И будет так, — сказал Иван Василье-
вич, строгим взглядом оглядывая всех, —
незнатный худородный, коли он в службе
способен и государю полезен, хотя бы и ху-
дородный дьяк, и уездный писец, и малый
стрелецкий начальник, и незнатный боярский
сын, либо дворянин, пускай, кто бы он ни

был, — сравнен станет окладом земли в равной доле с князем и боярином. Пороухи от того государю не изойдет, а польза великая явится.

Присутствовавший здесь один из любимцев царя, боярин и храбрый воин, прославившийся своими подвигами под Казанью, Алексей Данилович Басманов, почтительно поднявшись с места и поклонившись царю, сказал:

— Великий государь и отец наш Иван Васильевич! Мудрость воинскою твою царствование, будто солнцем, озарено. Знатность и богатство издревле в чести и челе. Твой глаз, государев, прощщает не только в верхнее оперение древа, но и в корни, сидящие в земле и невидимо пному глазу. И потому я, раб твой и слуга, как и многие подданные твои, чувствую и вижу то великое благо, кое несет нашему народу таковое верстанье... Кому не ведом тяжкий труд губных старост, ценно и пощно страждущих о порядке в твоём, государевом, царстве? Кто не знает городовых прикащиков, берегущих благосостояние вопиства на рубежах? Тож самое скажу я и о засечных прикащиках. Кого не восхищает великий труд и искусство толмачей, — без них же ни порубежное, ни полевое воинство обходиться не может! И многие подобные малые чины, забытые в пное время, ныне твою царскою мудростию, как обповенные маслом светильники, к службе возгорятся... Кто, кроме мудрого, украшенного любовью к воинству государя, позаботится у нас о малых сих?

Алексей Басманов, уже немолодой человек, держался свободно, смело и смотрел просто, без занескивания в лицо Ивана Васильевича.

Глядя на него, осмелели и другие дворяне. Они жаловались на то, что Боярская дума не замечает заслуг многих дворян, ибо она держится обычаям знатности и родословности.

В этих речах, хотя и осторожных, слышалось все же недовольство боярскими порядками верстанья землею служилых людей. Василий Грязной к тому же закончил свою речь словами: — Ты, государь, как бог, и делаешь малого великим. Все от тебя, великий государь!

Иван Васильевич терпеливо выслушал пестрые, полные подобоострастия, слова совапных им на совет служилых людей. Однако, сам он о Боярской думе высказался с большим почтением. Он сказал, что Дума создавалась прежними великими князьями из «стародавних честных родов» и многую пользу принесла прежним великим князьям и государям. Боярская дума дала государству немало мудрых правителей и

храбрых, доблестных воевод, и ныне царю надлежит всякие дела решать «с государева доклада и со всех бояр приговору».

На совете были определены земельные оклады: дьякам, подьячим, губным старостам, городовым прикащикам, ключникам, осадным головам, засечным прикащикам. Больше всех царь назначил оклад толмачам — от ста пятидесяти до тысячи четей.

Тут же царь указал, что такому хорошему толмачу, как переводчик турецкого и «фарсовского»¹ языков Кучук Устакасимов, мало дать и тысячу четей земли. Иван Васильевич очень хвалил этого толмача.

Составлен был длинный список по земельному верстанью. Царь велел дьяку прочтать его во всеуслышание и затем спросил:

— Ладно ли, добрые молодцы, мы с вами обсудили то дело и не учинили ли обиды какой?

Все, стоя и низко кланаясь, благодарили его за доброе внимание к себе.

После их ухода царь задумался, глядя в окно. По Москва-реке тихо плыла рыбацья лодка. Было тепло и солнечно. Несколько раз в окно влетал с жужжаньем шмель. Вот он сел на стол. Царь с улыбкой сильным шептвом сбил его со стола. Оглушенный шмель, просидев несколько мгновений на подоконнике, вдруг расправил крылья и стремглав полетел напрямик к Тайнинской балне.

Проводив его глазами, царь сел в кресло и с самодовольством в голосе стал вслух читать написанное на пергаменте.

VIII

Из дальних болот через Трубное взгорье течет эта неширокая, с берегами, поросшими репьем и лопухами, река Неглинка. На правом берегу — огороды, слободские строения, бревенчатые церкви, колодцы «журавлем»; на левом — Пушечная, Кузнечная и Оружейная слободы.

Андрейка приблизился к Неглинке, чтоб попасть в Пушечную слободу. Сюда послал его из Разряда дьяк Иван Юрьев.

Недолго стоял в раздумьи на правом берегу Андрейка. Вскоре он увидел между лапю с рогожей, готовую отойти к другому берегу. Гребец охотно захватил с собой парня.

Берег низкий, отлогий, огорожен крепким частоболом, за ним видны главы храма Софии Премудрости.

Андрейку окликнул угрюмый воротник² с кошем.

¹ Персидского.

² Ворóтник — сторож у ворот.

— Эй, вихрастый! Ходи сюда! Чей?

— Тож, что и ты — государев.

— Перекрести харю!

Андрейка усердно помолился на храм.

— Кайся! Чего ради в слободу залез?

Неровен час и железа́ на мостолыжки...
кузнецы рядом, — охидная улыбка мелькнула на заросшем косматом лице ворóтника.

— Не спешився, Афона, не на того па-
ел жопе! — огрызнулся, выпрямившись, Ан-
дрейка. — Сам батюшка-царь послал меня.
Литцом да пушкарем буду. Вó, гляди!

Андрейка выгнулся из-за пазухи грамоту.

— Не умудрил осподь! — смиренно попя-
тился, изумленный смелостью парня, ворóт-
ник, и копые убрал с дороги.

— Веди в пушкарскую язбу.

— Ладно. Шагай — лаптей шó терай.

Едкий дым стался по земле. Защищало
в горле и глазах.

— Ого! Заслезило! — рассмеялся ворóт-
ник. — Засопел?!

Андрейка вытер рукавом глаза.

— Дух чижолый! — закашлялся.

— Э-эх, овечка! Вон, гляди! Ямы... пещи...:

Пустырь. Ни травинки, ни кустика. Песок,
трудно идти. Деревья голые, почерневшие.
Место неровное: поры, бугры, камни, дрова...
Бое-то смердит дым, а где и огонь выры-
вается. Оголенные до пояса, покрытые ко-
потью, возятся около ям и бугров люди.
И многие из них лопатами вскапывают и бро-
сают в желоба темпобурые куски болотной
руды. Ни на землю, ни на глину не похожа.

— У-ух, дядя! Народа-то што! — неволь-
но вырвалось у Андрейки. В сильном вол-
нении он огляделся кругом.

Около ям кирпичные вышки. Рядом коле-
са, похоже на мельничные. На воротах ка-
маты, перекинутые через перекладину.

Парень, вконец озадаченный, схватил за
руку ворóтника.

— Куда привел?

Чем дальше, тем труднее становилось ды-
шать и труднее двигаться среди угля, железа
и дров. Попялся такой шум, что невозможно
стало слышать голос соседа.

Солнце в этом чаду выглядело тусклым,
заттым, словно блин, плоским кругом.

В пушкарской избе сидел молодой угрю-
мый боярин, а около него — чудно одетый,
не по-московски, безбородый иноземец.

Андрейка вручил боярину грамоту.

Боярин пристально осмотрел парня, недо-
брительно покачал головой.

— Семейка! — крикнул он.

Из-за перегородки выскочил стрелец с бер-
дышом. Задрал барашковую шапку: татар-
ское лицо, косоглазое, озабоченное.

— Возьми, — указал боярин на Андрей-

ку. — Сдай Григорию... С государева двора
то.

Парню показалось, что боярин недруже-
любно покосился на него.

Стрелец ткнул Андрейку кулаком в бок.
(Ничего, парень «в теле».)

— Пластайся! Клапайся! Боярин Те-
лятьев!

Андрейка стал на колени, до земли по-
клонился боярину.

— Лезут к царю! — услышал он позади
себя ворчливый голос Телятьева.

Вдоль высокого частокола, в щели которо-
го видны разбросанные во множестве по пу-
стырю пушки, Семейка повел Андрея.

— Отколь? — спросил он.

— С под Нижнего... С Волги... Безрод-
ный.

— Царь-батюшка стало быть послал
тебя?

— Сам батюшка-царь... Точно.

— Н-ну! — Семейка с удивлением оглядел
Андрея. — Смелой ты. Не убоился?

— Струхнул малость... Да зря.

— Своими глазами так и видал его, ба-
тюшку?

— Своими. Как тебя. Ничего, простой!

Стрелец перекрестился.

Андрейка снисходительно посмотрел на
него. Любопытство, с которым Семейка рас-
спрашивал про царя, было ему забавно.
Андрею было приятно, что его расспраши-
вают про дворец, царя, беседу с ним.

Семейка вздохнул:

— Э-эх, кабы мне побывать у царя-
батюшки! Я бы ему рассказал. Все бы до
ниточки поведал бы.

— Али челобитье какое?

— Лютый народ объявился... И отколь они
взялись?

— Про кого же ты? Кто такие?

— Ой, брат! Пожливень — сам увидишь.
Боярин Телятьев — медведь, а около него —
шакалы. Они хоть и маленькие, да кусаче
медведя. У них не вырвешься. Гляди, они и
медведя сожрут.

— Ну! Про кого же ты?

— Обжди! Узнаешь. У нас так ведется,
что изба вонюком метется. Говорю про дво-
рян. В избе народ видел?

— Видел.

— Вот они самые и есть. И каждого сам
царь посадил в слободу. Неродовиты на сер-
диге! Возьми вон Григория Грязного, Куско-
ва, Куршчына, Афонася... Кто они? Иные
просто казаками были, а иные из дворян.
А этот Григорий — суцая коза в сарафане.
Никита Елизаров — тож. Григорий Плещев
из холопов же... Испоместил их царь за
Базань... Много их.

— Пошто он на меня глазищи таращил? Боярин-то?

— Постоянно так, когда сам царь присылает. Боярину-то не понутру... Вперед не лезь!

— Пойми, дядя! Хочу пушкарем быть! Душа не терпит.

— Вопа што! А Телятьев посылает тебя к плотникам да к дровосекам.

Андрейка притих. Зато стрелец, огляевшись с опаской, молвил:

— И во всем у нас подобное: царь так, а бояре этак. Думаешь, царь не ведает?

Андрейка тоже огляделся кругом.

— Ведает,— прошептал он стрельбу в самое ухо.— Конюх под крестом клялся пам. Царь сам боится бояр. Весь народ в Москве будто про то знает. По есть люди верные у него. Не выдают.

Беседа, не заметили они, что подошли к Неглинке. На реке несколько мельниц. Кузнецкий мост кипит паром. И под мостом на бревенчатых перекладинах сидят люди, поправляя мост. По берегу бегает малого роста человек в синем кафтане. Кричит, грозит дубиной.

— Вот он — Григорий Грязной, брат Василия Грязного... Не слышал ли? — тихо спросил стрелец.

Андрейка подумал: «Не тот ли, что на цыгана похож? Нет! Не тот!»

Увидев Андрея, Григорий Грязной закричал:

— Чего рот разинул?

Семейка рассказал все, что знал об Андрее.

Грязной сразу притих.

— Добро, братец, хватай топор... сечи дрова! На воду тебя не пошло. Робь на суку. Дрова дубовые. Пушек для. Да не мельчи.

Андрейка поклонился, поднял с земли топор, на который ему указал Грязной, и, перекрестившись, начал работать.

Семейка опрометью побежал обратно в Пушечную слободу.

Повыше Неглинки, на горе, бушевала огнями и железом Кузнецкая слобода. Дымили горны, мелькали молоты, кричали стени людей.

К Андрею подошел плотничий староста.

— Видать, резвый!

— Такой я, какого господь-бог народил... Не наша на то воля.

— У кого она поне, воля-то? Живем и все чего-то ждем. Течем, как ручьи...

— Андрейка поморщился. Не понравилась ему кислая речь старосты.

Он не выдержал и сказал:

— Ручьи падают в реку, а река, она

большая, и конец ее в море укрывается, а море того больше. Не напрасно живем.

Староста вздохнул со смирением. Андрейка подметил смущение на его лице: что? испугался?

Староста, видимо, хотел, как и многие другие, подсудачить о теперешней жизни повздыхать о былых временах.

— Не худо понимать! Што бог велит, то и царь делает,— строго сказал Андрейка. Он повторил не раз слышанное им.

Староста удалился. Около моста мелькнула дубинка Грязного.

Андрейка недоволен был, что его послали не туда, куда он хотел. Он вернулся в литейный ямам. Тянуло в Пушкарскую избу попросить боярина, чтобы его отослали к пушкарям.

Вот где жара! Одно — смотреть со стороны, другое — очутиться здесь, внутри. Ожары и чада сперло дыхание. Пылали сотни оней в земляных печах, обжигая руду. По желобам медленно тянулась жидкая масса расплавленной бронзы. Обнаженные до голяса, красные от огня и загара, лица те скрывались, что снова появлялись в клубах красновато-черного дыма. Остатки отработанной руды серыми, рябыми кучами загружали пустыри. Лазаю по ним, Андрей увидел многих мужиков, спросил, что делают. Оказалось, очищают мотыгами железную руду «от пустой породы». Рядом обжигали эту руду. Дальше из железной руды выплавлялся чугун. Чугун отливали в «штыки» или «свиньи» для дальнейшей обработки.

В стороне множество людей подносило в литейным ямам землю, другие просевали ее, третьи таскали воду в кадушках, поливали землю, она шипела, дымилась белым паром. Тут же бутры песка, известки, глины.

Все это вызвало в Андрейке такое любопытство, что ему захотелось обо всем расспросить рабочих людей, но... он боялся, как бы от того не получилось худа для него.

Он старался не показываться на глаза, прячась за кучами железа и чугунных ядер, наваленных в соседстве с литейными ямами.

Он залюбовался ядрами, покрытыми серой пылью и копотью. Одни побольше, другие поменьше. Попробовал поднять: гладкие, увесистые.

Появились с носилками и тачками озябшие до пояса татары. С плетью в руке шел за ними длинноусый, морщинистый мурза. За кушаком у него блестел громадный серебряный кинжал. Татары стали накладывать ядра на носилки и относить их в сторону.

Андрейку бросили в темный чулан, где пошло было грязь, пауков и крыс. Он слышал, как трезвоили в колокола, гудели дудки, провожая царя. Вот к чему спился в эту ночь колычевский сарай и медведь на цепи.

Теперь парень раскаивался, что полез к царю, да еще на людях. Могут ли понять его горе царь, бояре и дворяне? Они высоко: Андрейка кажется им букашкой, которую они в любое время могут раздавить. Бог знает, может и он, Андрейка, коли получишь бы такую власть, раздавил бы и он многих, а в первую очередь боярина Колычева и этого проклятого Гришку Грязного. Андрейке тоже было бы непонятно боярское горе... Но никогда бы он, Андрейка, не стал карать людей, кои хотят стать вонскими людьми. За что же их наказывать? Он бы, Андрейка, выслушал тех людей, и боярина Телятьева посадил бы в чулан, а не такого, как он — Андрейка. О, если бы он был царем! Он бы судил людей справедливо, по божьи. Всякого, кто бы ему мешал, он убивал бы жестоко, без сожаления. Повишную голову с плеч долой. Царь должен быть добрым, справедливым.

Мысли о том, что хорошо бы стать большим господином, мелькали не только в голове Андрейки, и не только ему хотелось творить суд и расправу на земле так, чтобы беднякам, тяглым людям, бобылям и всему народу было хорошо.

Десять лет назад в Москве были смутные дни. Малые посадские люди восстали на бояр Глиных, родичей матери царя, и на всех других вельмож, ища правды. Об этом прослышали и в богоявленской вотчине. И нашелся один парень на селе, а звали его Капитонкой, который собрал людей и повел их, чтобы боярина Колычева порешить. Ладно, во-время дядя ускакал в Нижний, а то бы не одобровать ему. После того Капитонка ушел в лес, а с ним людей два десятка с рогатинами и топорами. Чудной был Капитонка! Бывало, курьцу не зарежет. Блаженной на удивление, всех жалеет, всякую тварь. А тут, словно креста на нем не стало — начальных людей и знатных господ рубил безо всякой жалости. И много правдолюбцев в те поры в лесах развелось. Мужики их не боялись, а когда воевода изловил Капитонку и голову ему срубил, во всем деревням и селам плач был великий, будто номер родной отец, либо брат.

Испугался и царь тогда; сказывали монахи — на площадь к народу выходил, будто даже сказал, что «от сего страх вище в душу мою и трепет в кости мои». Царя-то никто и пальцем не трогал. Зря испугался!

Вспомнил Андрейка, как при встрече царь сказал ему, Герасиму и Охмю, чтобы они не помнили зла на Колычева. И теперь глубоко призадумался парень: кого же боится царь — народа или бояр? И почему-то ему подумалось, что народа он не боится, а боится бояр. Вот и теперь — за что разгневался на него, Андрейку? И тут показалось парню, что делает он это не ради гнева, а ради угождения окружавшим его начальникам. Какой же это царь?!

Всю ночь не спал парень, раздумывая, как бы людям добиться правды в государстве.

«Почто томлюсь? — тянулось у него в мозгу. — Почто держат меня в этом чортовом погребе, в этой паучьей берлоге? Да еще, гляди, и батогами бить учнут. На съезжий двор поволокут, а там известно: либо кнутом, аль огнем, либо дыбой... Без молитвы, без покаяния богу душу отдашь! Обидно!»

Утром Андрейку наказывали батогами; бил так, что он до своего чулана, куда его снова ввергли, едва дошел. На съезжей он видел многих людей, которых били: кого батогами, кого кнутом, видел он и таких, которых привешивали за ноги к дыбе. Навсегда, кажется, останутся в памяти налитые кровью глаза, свесившиеся космы волос, синие ноги и руки, стоны. А эти проклятые черти тянули за руки несчастных кнizu, к земле. Ах, как хотелось Андрейке в ту пору вскочить, убить наповал мучителей и снять с дыбы мужьков!

Так и решил: поведут его еще раз на съезжую, чтобы пороть, он выхватит саблю у стрельца и перебьет всех катов.

Вечером чулан снова отперли. Пришел десятский и объявил Андрейке, что получен приказ освободить его и отвезти на обучение к инопемцу, свейскому мастеру.

Избитый, в синих рубцах, Андрейка послушно побрел за десятским.

— И что же вы со мной делаете? — сказал он дорогой. — И как же вам не грешно?

— Э-эх, куманек, живи себе молча, лучше будет! — усмехнулся десятский.

— Гляди сам. Живого места нет...

— Худо, братец, худо! Что делать?

Свейский мастер, которого все звали Ола, встретил приветливо. Он был хотя еще и не старый, но уже сед, как лупь. Голубые глаза смотрели ласково. Андрейка ободрался, подошел к нему.

— С богом! Ходишь себе! Ничего! — сказал Ола.

Было у Петерсена под рубкою несколько

ских мужиков. Тоже молодые, сильные ребята.

Один спросил тихо Андрейку:

— Огрестили?

Андрейка не понял вопроса. Тогда тот же дурак сказал:

— Новичков всех так. Ты не один.

Андрейка сердито отгрызнулся. Ему хотелось забыть о кнуте.

— Зашибленное заживет, а телячий хвост на одно языком не станет.

Швед начал учить Андрейку стрельбе и ковке пушек и ядер.

Все пушки осмотрели молодые пушкари, а ними и Андрейка.

Швед разделил орудия на полевые и мортиры. Первые он назвал «полюными делами», мортиры — «делами огненными».

Он рассказал, что пушки лют в нынешние времена большею частью из бронзы, но лучше было бы их лить из красной меди.

— Она крепче, лучше, — объяснил он молодым пушкарям, — но ее мешают завозить в Москву немецкие, шведские и польские шрапты.

Далее он показал, как из глины делают формы, как их укрепляют железными обоймами, как формы смазываются салом и вкапываются в землю.

Ола Петерсен рассказал и о легатурах, или составах металла, и о том, как испытывать состав, как пушку делить на части, о банниках из кожи и щетины, о железных кованых, о свинцовых и каменных ядрах и о многом другом.

Пушкари слушали его, разиня рот.

Смешным показался им рассказ шведа о древних воинских машинах. Андрейка, смеясь, слушал про то, что древние пушки были овцам и козлам уподоблены, а назывались совсем чудно: катапультами, баллистами и скорпионами. Стены каменные разбивали ими. А было то две тысячи лет назад. И придумали их греки. Машины те строились бревенчатые, громадные. Заряжались катапульти каменными ядрами, а иной раз бочками со змеями. Падая на землю, бочка разбивалась, и из нее расползались змеи. Люди, защищавшие крепости, в испуге разбежались.

Швед показал на маленьких палочках, как строились те машины и как из них можно было палить.

Молодые пушкари, слушавшие рассказ Ола Петерсена, в том числе и Андрейка, еще более смеялись, когда узнали, что вместо фитилей и пороха действовала воротяжка, на которую войны туго накручивали канаты из воловьих кишок. Стреляли из катапультиров и

баллистов в неприятеля и всякою дохлятиною, вроде дохлых собак и кошек.

Пушкари далее поняли из слов шведа, что то была война гишпанского короля с пэмаильским народом — эфиопами. Испанцы осаждали город Алхезирас, но арабы стали в них стрелять огнем из какой-то неведомой трубы, а из огня вылетало железное ядро и пробивало испанцев. Они разбежались, думая, что с эфиопами заодно сам дьявол.

Веселый смех парней и бородатых слушателей заглушил слова шведа.

Петерсен, довольный тем, что его так внимательно слушают, сказал:

— Москофский человек.. меня понимает.. Дьявол, нечистый дух, — швед с насмешливой улыбкой шлюнул, — нет, неправда! Огонь — селитра. мешай уголь, зажигай — и летит! Фот и вся чудиса! Фот и вся дьявол!

После того он показал Андрейке и другим пушкарям фальконет, привезенную, по приказу царя, боярским сыном Лыковым из Италии.

Петерсен укоризненно качал головой:

— Не то, не то... Э-т-та плохой пушка! Фп! Наш москофский лучше... — и он пригнулся, привистнул, вытянул руки кверху, будто показывал, что вверх полетело ядро... — Паф! Паф! Паф!

Успокоившись, швед заговорил о менее приятных Андрейке вещах. Он говорил, что огненное оружие проверяется измерением, «математ-тпкой».

— Не наугад! — замахал он руками, сморщившись. — Ни! Ни! Какой? Огненное оружие стреляет в пропорции длина и его крепость... К зарядению против ядра-линей быфают... И подолги и покоротки фыляты. Не думай — доле пушка будет, доле и стреляет! Нет! Надо математик... Пушечное ядро должно фидеть шерфоначально крепость... Пушку беречь надо, как... мать, жену, точь... Ядро, как солото... Язвин или дир не можно... Кнудом буду бить! Царю скажу!

Когда уже стемнело, и все лица, кузнецы и пушкари разошлись, Петерсен отвел Андрейку в сторону и тихо, с улыбкой, сказал, что царь вспомнил о нем, Андрейке, и велел выпустить его из чулана, а ему, Петерсену, приказано быстрее обучить его, Андрейку, пушкарскому делу...

IX

Среди деревянных хибарок Никольского прихода Андрейка без труда разыскал большой, о двух житях, каменный дом Печатного двора. Таких дворцов немного в Москве,

разве только у самого Ивана Васильевича. Царь на что скуп, а тут не пожалел никаких денег для этой нечистой силы. А зачем и чего для — никак никто понять не мог. Диву давались люди: на кой леший Москве сия зеленая хоромина? Пои Никольской церкви во хмелю расхрабрился и с амзона проклял «сатанинский чертог», да еще внушал богомольцам подалее от него быть и мимо пореже ходить. Митрополит Макарий сослал за это попа на Соловки.

Старец Вассиан Патрикеев и заволжские старцы тоже всяко поносили Печатный двор, хулили царя.

Не нашлось охотников идти туда и на работу.

— Чур меня! Чур меня! — прошептал Андрейка, подходя к дому. Большие деревянные ворота с кровлей. Постучал в них. Пока дождался, заглянул через щели в чашоколе на слюдяные оконницы в подклети. Они были плохо завешены. Залаяли псы, просунув морды в подворотню.

— Эй, кто-о-о? — лениво окликнул прихватчик.

— Государев человек с Пушечной слободы!

— Пошто? Ай?

Андрейка постучал кулаком в тесину:

— Пусти! Не чванься!

— Э-ка-й, ты! Шайтан!

Ворота приоткрылись.

Старик-татарин с бердышом в руке укоризненно качал головой.

— Мир вам, добрые люди! — произнес приветливо Андрейка, проскочив в ворота.

— Э-эх, горох хоть и прыток, а опоздал, — щи сварили...

Андрейка рассмеялся. Захихикал и старик.

— Кого тебе?

— Девка тут... С Нижнего-града коя... Проведать бы.

Старик почесал лоб, как бы припоминая:

— Стал-лыть, есть такая. Обожди! Пойдем!

Опустив лезвие бердыша, татарин торопливыми шагами подвел парня к крыльцу. Андрейка трепетал: молиться или нет? Бесова хоромина! Не грешно ли?

— Н-ну! Чего ж ты? Иди, ежели.

Жутко стало. Не стерпел, прошептал молитву. Забегали мурашки.

Поднявшись в сени, робко сунулся внутрь. «Батюшки! Бежать! Бежать обратно! Что же это такое?» — от страха ноги подкосились: изба не изба, церковь не церковь — не поймешь. Большущая палата, а в ней страшные, похожие на дыбу, ворота с тремя перекладинами, вертятся со скрипом, громадные деревянные винты, а среди па-

латы многие узкие столы... Большие ящики какие-то на тех столах, а в ящиках клетушки; бородатые дядьки согнулись, шепчут про себя, будто колдуют над этими клетушками, перебирают пальцами что-то! И вот в самом углу Андрей увидел Охиму: сидит около столика, палкой мешает в ступе и тоже будто что-то шепчет.

Около каждого дядьки — чернец... читает вслух что-то непонятное. Визг и скрип впитов, выкрики монахов — ой, жутко! Помини, господи, царя Давида!

Бородатые дядьки искоса сурово поглядели на Андрейку. «Чур-чур меня!» — зашептал парень. Такими страшными показались ему эти угрюмые бородачи.

Один из них поднялся, расправил руки, зевнул.

Андрейка в страхе напряженно следил за ним. Вот... обернулся — владычица-богородица! — пошел прямо на него, на Андрейку. «Свят, свят!.. Чур-чур!» Высокий, худой, в чернецкой рясе... Глаза прищурены.

— Добро, отрок, — услышал Андрейка тихий, ласковый голос, — чего для пожаловал к нам?

Глаза человечьи, голос незлобив, смирен. Андрейка ободрился, ткнул пальцем в сторону Охимы:

— К ей пришел! К той!

Дядя рассмеялся.

— Обожди. Ахмет, отведи-ка его.

Прихватчик вывел его во двор и через заросли цепкого кустарника повел в глубь сада, в самый отдаленный его угол. Там среди ласты затерялась крохотная избушка. В нее-то и ввел парня старик.

— Сядь-ка тута. Обожди.

Оставшись один, Андрейка внимательно осмотрелся кругом.

Изба по-черному. Потолки в копоти. В оконце лезут разросшиеся лопухи и какие-то крупные желтые цветы. У глухой стены койка, чисто опрaвленная. В углу икона. Парень усердно помолился. Здесь было тихо и прохладно. Не так, как на воле.

Все же одному сидеть было здесь боязно. Вот-вот в дверь вломится нечистая сила. Ведь, педаром же на посадах такой слуга идет. Чертоги, и в самом деле, ни на что не похожи. А бородатые дядьки — истинные колдуны, и промысел их колдовской, египетский. Охиму, видать, они уже около вали, вещуньей ее, поди, сделали.

Андрейка пожалел, что не взял с собой топор, либо дубину.

«Э-эх, не поусту люди дивуются в царя! — думал он. — И на кой понадобилась ему сия преисподняя? Лучше бы кабак соорудил, либо храм. Бояре за то осерчали в

царя, — болтают в слободе, — а божьи отцы, попы и монахи, дером-дерут: «Сжечь бесову горюшину, да и только! Избидел нас царь-государь! Сатану поселил во святом граде!» Ужели врут? Ужели напраслина? Ах, господа, какая распутница в умах! Царь так, боярин этак, монахи ни так ни этак! А черному люду и вовсе хуть ложись и помирай! Так — воевода, клут, здесь — черти, бояре и дворяне, а на том свете и вовсе ад громаднейший. Дуреха мордовка чортовой кумой стала! Не убежать ли?»

Но только что Андрейка подошел к двери, как за спиной у него раздался ласковый голос Охима:

— Андрейшко! Долго же не виать тебя. Уж и лето скоро мшнет, а ты... Чего же ты пятишься от меня?

— Да, — сказал парень дрожащим голосом. — Тебе випочем, а мне... Ты — пехристь, тебе все одно... а я...

— Была такова, а ныне окрестили меня, — вздохнула она.

Охима усидила Андрейку на скамью, сама села рядом, обняла его и весело рассмеялась:

— Да ты чего дрожишь? Дурень!

— Недобрая славушка про вашу избу... Ой, худа!

— Брешут на посаде... Не верь! Ишь ведь чего шлетут.

Рассказала она, что знала сама о Печатном дворе. Царь Иван Васильевич гневается на писцов-монахов: пишут-де божественные книги с изъяном, путают: кои недописывают, кои переписывают, вписывают свое, что на ум взбрелет и даже попереж государю; в церквах по-разному одну и ту же книгу читают, где как писана... Осерчал царь на писцовское бесчестие. И ныне в Москве книги будут не писаны, а печатаны. По вся места одинаково. Зачинатели сего дела — Иван Федоров, дяком от Николы, и при нем другой, Петр Тимофеев Мстиславец. Вот они-то и работают.

— А ты болтаешь про нечисть! — засмеялась Охима. — Убогие моельщики не хотят работать тут. Царю неволя пришла брать в это место татар да мордву. Велика ли в том беда! И мы послужим.

— Чего же ты сама-то тут делаешь?

— Краску дроблю и варю, избу мою, прибираю.

— Краску? — удивленно разинул рот Андрейка. — А старики?

— Не! Не старики... — покачала головой Охима. — Молодые еще.

— Ладно. Бес с ними! Чего они?

— Набирают. Э-эх, малый! Все одно не поймешь. А коли знать хочешь, пойдем к хозяину. Он те растолкует. Поучись у него

уму-разуму. Есть такие, ходят, любопытствуют. Мудрый он.

Охима схватила Андрея за руку и повела его в печатную палату, подошла к Ивану Федорову и что-то ему сказала на ухо. Он обратился лицом к Андрею, поманил к себе. Парень набрался храбрости, приблизился.

— Видимое тут, — обвел рукою вокруг себя Федоров, — все то божья милость, его святая воля к просвещению нашего разума. Царь-государь, великий князь Иван Васильевич, умыслил изложить печатные книги, подобно греческим, венецианским, фригийским и иным государствам. А мы, смиренные слуги его, усердие приложили к тому, дабы постигнуть оную премудрость.

Федоров рассказал внимательно слушающему его парню о том, как царь просил немецкого цесаря Карлуса о присылке ему мастеров печатного дела.

Немецкий Карлус уважил прошение царя Ивана Васильевича и выслал мастеров, но Ливония задержала их, непустила в Москву. Царь сильно разгневался на ливонцев, как говорят ближние вельможи. Написал он о том же и дацкому каролусу Христиану. Тот отослал в Москву своего мастера Ивана Миссенгейма, но потребовал обращения русского народа в лютерскую веру. И когда царь узнал, что в Москве есть свои мастера, он zelo возрадовался. Дацкого человека отослал обратно к Христиану.

Иван Федоров произнес это с самовольной улыбкой и вынул из ящичка с позолоченной крышечкой грамоту царскую и прочитал ее Андрейке. Царь приказывал устроить дом «от своея царской казны», где бы печатному делу строиться и пешадно дать от своих царских сокровищ делателям на благо печатному делу и их успеювию.

Чтение грамоты было громкое, палевное, торжественное. Все помощники Федорова перестали работать, стоя слушали грамоту и крепкились.

Федоров взял люд руку парня, подвел его к ящичку с ячейками, наполненными крохотными чурочками, и, вынув из ячейки одну из этих чурочек, тоненьких, плотных, показал ее парню.

— Глянь! Имай!

Парень взял ее. Вырезанная фигурка. Залюбовался.

— То букваца, — с гордостью в выражении лица произнес Федоров. — «Вели!» А то — «как», а то — «пси». А всего того три десятка с девяткой. Се — дерево, а то — свинец.

Федоров показал другую буквацу, маленькую, но потяжелее первой. Андрейке так она понравилась, что он потряс ее на ладони, любуясь ею. Хотел попросить себе, да побоялся.

Сам Иван Федоров, видимо, страшно дорожил этими буквицами. Он взял их из рук Андрея и положил обратно в ячейку. После того он, держа в левой руке небольшую деревянную коробочку, стал укладывать туда буквицы.

— От, глянь! Слово божие в ту пору ста-
гаю. Владу, что к чему надлежит. Из буквиц
слепится: «бог-вседержитель». Чуешь?

— Чую.

Андрейка с изумлением смотрел на плотную свинцовую строчку, которая будто бы говори-
ла: бог-вседержитель.

Опять мутные мысли! Опять стало не по
себе.

— Глянь! Се тятость — давилка именуе-
мая. По обычаю — ее крутим.

К потолку от пола шли брусья, а на них
перекладины; две перекладины пропизвал тол-
стый деревянный винт. Его, шыхтя, ворочали,
а шриделанная к нижней части винта доска
наседала на лоток с набором буквиц, лежав-
ший на столе.

Потом опять стали вертеть, но уже кверху;
доска со скрипом снова поднималась, и Андрей-
ка, к своему великому удивлению, увидел,
что подложенная под доску бумага шокрылась
пысьмепами.

На лице его вспыхнул румянец. Глаза за-
блестели. Буда девался и весь страх. Любо-
пытство брало верх.

— Дай-ка мне! — сказал он, протягивая
руку к листу. — Унесу с собой.

Федоров в ужасе замахал на него руками:

— Отхлынь! Што ты? Упаси бог! Батюш-
ка-царь строго-настрого заказал! Никому ни
единого листа! Здоровы у тебя ручки!

Андрейка обиделся. Очень хотелось ему
упести этот листок и показать пушкарям.
То-то все диву дадутся! Так и шархнутятся
в разные стороны, когда узнают, что то из
«бесовой хоромины».

Теперь уж у самого Андрейки явилась оха-
та попутать нечистой силой товарищей, да
и посмеяться над ними, а потом поведать им
обо всем начисто.

Долго еще водил по Печатному двору Иван
Федоров Андрейку. Спускались и вниз, в под-
вал, смотрели словозитню, где было еще труд-
нее дышать, чем у литейных ям. Душил ед-
кий сызый туман, в глубине которого шмы-
кали огни очагов.

Ивану Федорову было приятно удивлять
парня.

— Ну, молодец! Уйдешь от нас, сказы-
бай там: в Пушечной, мол, нет никакой не-
чистой силы ва Печатном дворе. Святого
«апостола» там-де печатают. А кто клеветет,
того шобей. Эвопа, какой ты! Бей без жа-
лости! Царь-батюшка, и то не гнушается
нами. По ночам приходит к нам, милостью
своей согрел всех нас грешных. Змеиное лу-

кавство недругов парских не шадн, отрок!
Буде имя господне всегда, пыне и вовеки!

Охима ждала в избе Андрейку. Раздобрела
кувшин с брагой, поставила две сулен. По-
правила густые черные косы, надела еще две
нитки бус. Стала она сразу какая-то другая,
как заметил Андрейка, непохожая на пре-
жнюю. Он сказал ей об этом, она рассмеялась.

— Не скуплива ты, видать?

— Не! Не скуплива! — покачала она
головой.

А сама паливает брагу: себе первой, ему
потом.

Выпили!

— Ой, Охима, не узнаю тебя!

— Обожди, узнаешь... — рассмеялась.

— А што Алтыш скажет?

— Жив ли он? Не знаю. Алтыш хоро-
ший!

В дверь постучали. Открыла. Чернец — мо-
лодой, румяный, с русыми усиками и боль-
шими розовыми губами. Охима толкнула его
в трудь и заперла дверь. Смешно было, как
он, постояв немного, нерешительно пошелся
среди крашны, то и дело оглядываясь назад.

— Кто такой?

— Повадитесь овца не хуже козы. Докужа!

— Ой, берегись, Охима!

— Не Охима, а Ольга!

Она весело рассмеялась.

— Чего же ты смеешься?

— Ольга я — для Печатного, а как мор-
довка была, так мордовкой и буду, а богу
вашему молиться не стану. Не шадитесь!
Чам-Пас велик! Ваш бог ему ни брат, ни
холоп. Не хочет он его! Никак не хочет!
Не скаль зубы! Чего скалншь? Вчера я ви-
дела нашу нижегородскую мордву, в парском
войске много их... Низко против батькиной
родной веры не хочет итти. На войну итти
не бояться — против батькиной веры ни за что!

— Ждешь, гляди, поджидаешь Алтыша?

— Коли и вернется — не будет Алтыш.
П его, чать, окрестили, либо в Алексея, либо
в Пвана. Напа вера на огне не горит, на воде
не тонет и на земле не сохнет. Крести не
крести — батькиной вере не изменим. А во-
вода в Нижнем Лизаветой меня назвал. Не
напа воля. Хлебни-ка лучше браги!

Она раскраснелась от волнения, наполнила
брагой обе сулен.

— А ты, Андриша, все такой же: ясен,
как солнышко, как звездочка, как серебряна
деньга. О Герасиме и не думала я, и думать
не хочу. О тебе помннала. Сама не знаю с
чего! Много людей в Москве, много шума,
а ты наш, нижегородский. Однешеньки мы
с тобой на чужбине.

— Герасим тоже с наших мест.

— Дерево ты, а не человек. Скажата — не хочу Герасима! Русский бог с ним! Мордовский бог с тобой и со мной! Ай, как я ждала тебя! Какой ты хороший! Высотой ты дуб, красотой с цветок. Люблю таких!

Она опять указала пальцем на сулею и звонко рассмеялась.

— Сулея моя говорит: возьми меня!

Андрейка, слегка захмелевший, затрясся от смеха, хотя самому было удивительно, отчего же он смеется, а главное: «возьми меня!» И, ты!

Андрейка от удовольствия потер ладони, и сорванное слово у него сорвалось, ветлужское. Охима слегка шлепнула его по спине.

— Эти притчи я слыжала! Дорогой наслушалась! Попрдержал язык! Дурень! Взгляни на небо — месяц... и звездочки...

Андрейка воскликнул с схиждством:

— Эх, кабы теперича Алтыш!

Охима отвернулась от него. Андрей смущился.

— Чадушко безумное — вот што!

— Любишь Алтыша? Я его убью! — тихо проворчал Андрей, нахмурившись.

— Ох-хо-хо! Какой удаленький!

Охима обернулась, посмотрела в лицо парню с ласковой улыбкой и обняла его.

— Зачем убивать? Пускай живет.

Андрей крепко сжал ее в своих руках. От запаха ее теплой, смуглой шеи у него заружилась голова. Пряди волос прикасались к лицу Андрейки, словно ласковое дуновение ветерка.

— Ласточка! Гляди на месяц. Будто мы с тобой одни в Москве. Никого нет. Только ты, девственница, я... да месяц!

— Алтыш пускай живет... — прошептала она.

— Пу...ска...ай! Чам-Пас с ним! Жи...живет... — шептал Андрей сжимая еще крепче Охиму.

— Типе, медведь! — подернула она плечами.

— Не сердись, око чистое, непорочное!

— Говори, говори, Андрейка! Я слушаю.

— Шестидесят парня на тебя не променяю.

— Говори, милый... говори! Я слушаю.

— Малинка, солнышком согрета!..

— Го...во...ри!

— Твои уста горячей теплой банюшки!

— Давно бы так! Разня! Всею дорогу я ждала твоей ласки.

— Ах, господи! Что же я раньше? Не люблю я баб за это — никак не поймешь! Да и Герасим, дылда, мешал... бог с ним!

— Русский бог с ним! — смешливым шепотом повторила Охима. — А мордовский с

нами... Чам-Пас хороший, добрый, он все прощает. Не как ваш. Ваш сердитый. Што ни сделай — все грех, все грех! Наш добрый.

Охима поцеловала Андрейку.

— Ты да я! И месяца теперь не надо... Ни к чему! — бессвязно бормотал Андрей. — Аленький цветочек мой!

Браги в кувшине не осталось ни капли. Косой бледный луч светил часть стола, на котором лежало монисто из серебряных монет, бусы и золотины сулеи.

В окно видны освещенные осенним месяцем грушевидные главы Николы и высокие, оголенные ветрами березы...

Однажды, поздно вечером, когда Андрейка, крадучись, уходил от Охимы, из крапивы вдруг выскочила черная худая тень, шелугов до смерти шарня.

Приглядевшись, Андрейка узнал того самого чернеца, который заглядывал в хибарку к Охиме и затем исчезал.

— Ты чего, как бес перед заутреней! — грозно спросил Андрейка.

— Добрый человек! — жалобным, каким-то противным голосом заговорил чернец. — Давно хочу сказать я тебе, христианская душа, не кланяйся красоте женской, не поддайся на красоту, не возведи на нее очей своих. Многие полюби красоты женской ради... Беги от той красоты невозвратно, яко Ной от потопа, яко Лот от Содома и гоморры...

Андрейка размахнулся, — монах снова оказался в крапивнике.

— Знай, ворона, свои хоромы! — сердито проворчал Андрейка, перелезая через забор.

Чернец выгнулся из крапивника и крепнул вслед парню:

— Уже тебе! Вспоминаешь меня!

И прозно погрозил кулаком. Обернувшись лицом к жилищу Охимы, тихо, с тяжелым вздохом сказал:

— Истинно рекут на посаде: «Девичий стыд только до порога, коль переступила, так и забыла!» Ох, ох, сколь греха кругом!

Х

В 1508 году мудрый правитель и доблестный полководец Ливонии магистр Вальтер фон-Плеттенберг заключил с Москвою перемирие на пятьдесят лет. И Москве и Ливонии это было выгодно.

По договору, немцы обязались выплачивать Москве ежегодную дань. Плеттенберг признал право России на некоторые земли и города, самовольно отторгнутые у нее Ливонией.

Договор бережно хранился в московском кремле. Нередко Москва напоминала магистрам о долгах, но немцы не показывали желания платить долги. Напротив, они всегда и везде старались причинять Москве вред.

Еще в 1539 году епископ Дерптский со-слал «неведомо куда» немца, литейного мастера, хотевшего уехать на работу в Москву. А в 1549 году немец Иоган Шлитте, оказавший некоторые услуги московскому правительству, был схвачен в Ливонии и посажен в тюрьму. Он вез с собой в Москву, с согласия германского императора, мастеров и ученых, добровольно пожелавших работать в России.

В паспорте, который был выдан императором Карлом V Шлитте, говорилось: «Мы благословили и дозволили упомянутому Иогану Шлитте, по силе этого писанья, во всей нашей империи и во всех наших наследственных княжествах, землях и волостях искать и приглашать разных лиц, как-то: докторов, магистров всех свободных искусств, литейщиков, мастеров горного дела, золотых дел мастеров, плотников, каменщиков, особенно же умеющих красиво строить церкви, копячей колодезев, бумажных мастеров и лекарей и заключать с ними условия для поездки к великому князю русскому ни от кого невозбранно, во уважение к просьбам, обращенным к нам и к нашим предшественникам отцом нынешнего великого князя, блаженной памяти великим князем Василием Ивановичем и нынешним великим князем».

Шлитте, однако, два года просидел в немецкой тюрьме, а на его письма германский император даже не ответил.

Только одному мастеру удалось вырваться из тюрьмы, да и того ливонцы схватили у самого российского рубежа и отрубили ему голову.

Глубоко огорчило все это в ту пору юного царя Ивана. Но, не желая ссориться с Ливонией, он ласково принял в 1550 году ливонских послов для возобновления истекшего сроком договора о перемирии.

Царь Иван согласился продолжить его еще на пять лет, имея желание за это время проверить твердость слова немцев. На приеме он упомянул послам о разорении русских церквей в Ливонии, хотя, по прежнему договору, было дозволено России иметь их для приезжих русских купцов. Он потребовал, чтобы эти церкви немедленно были восстановлены и чтоб отныне немцы не мешали свободному сношению Москвы с заморскими странами. И почему дерптское епископство, нестарая платившее великим князьям дань во Пскове, теперь не платит ее? Царь Иван настаивал, чтобы Дерпт возобновил свои платежи, ибо ливонские

власти не должны забывать: Дерпт — русский город Юрьев, а не немецкий.

Послы усхали смущенные, растерянные, не зная — радоваться им или плакать. По приезде домой они передали требования царя епископу дерптскому Подеку фон-Рекке. Епископ был родом из Германии — вестфалец. Человек хитрый, ловкий, он сразу понял, что над Ливонией нависает гроза. Фон-Рекке выступил с резким осуждением правов ордена. А немного спустя, пзверившись в исправление изнеженных, беспечных рыцарей и вида их раздоры, которые постоянно происходили между духовными и светскими властями в Ливонии, тайно заложил епископские владения и уехал обратно в Германию.

Ливонцы говорили:

«Наши деньги пошли в Вестфалию по суку и по воде: там им привольнее, чем дома. Там господа наши построили себе богатые дома, крытые черепицами, а прежде у них в нашей земле были дома, крытые соломой. Вестфалия обогатилась, а Ливония погибла».

Прошло время. Срок и нового договора истек.

В мае 1554 года в Москву опять приехали ливонские послы. В этот раз немцы предлагали заключить с ними мир на пятьдесят лет.

Их принимал глава Посольского приказа Алексей Адашев и дьяк Михайлов. Они напомнили послам о дани, которую не платит Дерпт.

Послы с таким видом, как будто об этом впервые идет речь, спросили:

— За что дань? Ни о какой дани мы ничего не знаем.

Адашев строго, с достоинством, сказал:

— Ливонская земля — древняя отчина великих князей, и немцы должны платить дань. Об этом вы должны знать.

— Ливония никогда не была покорена русскими, — удивленно пожали плечами послы. — Дань можно брать только победителям с побежденных, а известно, что немцы в прежние времена вели большие войны с русскими и мира такого не заключали. Они были независимы от русских, и в прежних мирных условиях никогда и не упоминалось о дани.

Тогда дьяк Михайлов развернул перед ними договор Плеттенберга с Иваном Третьим.

— Вот ваш договор. Здесь вы найдете то, о чем вы забыли. До сих пор государь, по своему долготерпению, ждал, что вы вспомните свои обещания. Но так как вы не хотите платить дань, то ныне государь не станет подписывать мира, пока вы не исполните крестного целования вашего и не выплатите своего долга за все года, что не платили.

Послы пали духом.

— Мы в старых наших писаниях не находим, чтоб великому князю платилась дань, и просим, чтоб все осталось по-старому, а перемирие продолжалось, — просительным голо- сом заявили они.

— Чудно вы говорите! — ответил Адашев. — Неужели в ваших немецких старых писаниях ничего нет о том, как ваши праотцы незваные-непрощенны пришли из-за моря в Ливонию и заняли эту землю вероломно, силою, и много крови славянской пролили? Не желая большего кровопролития, прародители великого государя дозволили немцам на многие века жить в Ливонии, с тем, чтобы за то они платили дань. Неужели вы и этого не знаете? Преды ваши в своем обещании были несправны и не делали того, что следовало. Тогда вы должны за них исполнить их обещание, а если не дадите охотую, то государь возьмет дань сам, своею силою. Терпению его наступил конец.

Послы испугались, стали божиться, что ничего не знают о дани.

Адашев с укоризной, громко сказал:

— Так-то вы помните и соблюдаете то, что сами написали и своими печатями запечатали! Целые сто лет и больше прошло, а вы и не подумали о том и не постарались, чтоб потомки ваши с их детьми жили спокойно! Если же вы теперь все еще упорствуете, то мы вам напомним, что с каждого немца вам надо платить по гривне московской, или по десять денег в год.

Послы просили отсрочки в ответе, пока они не получат указа от своего правительства.

Адашев настаивал на немедленном заключении нового договора. Ливонские послы именно от этого-то и хотели избавиться. По решительных слов Адашева и Михайлова согласились.

Царь поручил новгородскому наместнику, князю Дмитрию Цаленскому, подписать с ливонскими послами новый договор, не находя для себя достойным медлить с его собственноручно.

Снова возник вопрос о разоренных церк- вах и о притеснении русских купцов в Ливонии. Выплатой дани договор обязал один дерт с его властью. Епископу надлежало в течение трех лет собрать дань по немецкой гривне со двора за все недвижимые годы и впредь выплачивать условленные деньги постоянно, каждый год. А буде, того он не соблюдет, то сам гермейстер ливонский, архиепископ рижский, все епископы и немецкая власть обязаны принять за себя выплату дани.

Русским купцам предоставляется свободная торговля. Русскому человеку разрешалось

ездить по какому угодно пути и в любую сторону сворачивать с дороги. Ливония обя- зана была пропускать всех едущих к царю и от него иностранцев. Чиновники не долж- ны брать с них никаких пошлин за проезд. Немецким людям московское правительство дозволяло беспрепятственно как въезжать в русскую землю, так и уезжать из нее.

Срок перемирия — пятнадцать лет.

Прошло всего лишь три года, а немцы уже снова дерзко нарушили все пункты договора.

Магистр Вильгельм Фюрстенберг, после кратковременной войны с Польшей, тайно за- ключил с королем польским и великим кня- зем литовским Сигизмундом-Августом обо- ронительный и наступательный договор, на- правленный против Москвы.

Случилось это в сентябре 1557 года.

Царь Иван сильно разгневался на Ливонию, получив это известие.

Вместе с Анастасией он много молился в дворцовой церкви.

— Ничто меня в шные времена не по- срамлял и не обманывал так, как опыте безумцы! — говорил царь жене гневным го- лосом. — Немцы усаждают беззаконием, которое заклет их навсегда в цепь. С такою душой, что у правителей Ливонии, можно привести в шаткость любое царство и по- вернуть в убогость любой народ.

В предвечерней синеве застыли длинные фиозовые гряды облаков, между ними косма- тые, когтистые, похожие на медведей, тепло- бурные куски разорванной тучи. Гроза сошла; прохладнее стало и тише.

На кремлевской степе, близ Фроловской башни, прогуливаются Иван и ратман¹ Пар- вы Иоахим Крумгаузен. Этого немца Иван се- годня не отпускает от себя ни на минуту, и хотя царь строго-настрого запретил допу- скать иноземцев не только на кремлевскую стену, но и близко к стенам, однако этого купца он сам привел сюда.

Крумгаузен считался крупнейшим негоци- антом. Вся Германия знала его, а в торговом городе Любеке он был первым человеком. Не мало всего повидал он на своем веку. Долго жил в Москве, воспитывал даже здесь своих детей, точно так же, как и еще один близ- кий Ивану немецкий гость — Гале Пешедос. Через них Иван приобрел много друзей среди немецких и ганзейских купцов: Георга Либенгауера из Аугсбурга, Германа Виспинга из Мюнстера, Вейта Сенга из Нюрнберга, кото- рому покровительствовал сам Альбрехт, гер-

¹ Р а т м а н — правитель города (граждан- ский).

цот баварский; быки в связи с Ивалом и крупнейшие прусские бышцы — Герман Шталльбрудер, Николай Пахер и многие другие.

Здесь, на кремлевской стене, обвеваемый приятным ветерком, врывающимся между каменных зубцов, Ноахим Крумгаузен, почтительно обернувшись лицом к Ивалу и слегка наклонясь, тихо говорил:

— Великие государи всех стран бывают благодарны вседержителю, когда их народы сближаются торговыми добрыми делами. И, я так думаю, первюю помохою тому ныне на западном море — свейская гордыня, свейские пираты и покровитель сных, сам свейский кониг... а за ними стоит Англия.

Иван пристально посмотрел на Крумгаузена. Лицо нарвского ратмана было печально.

— Господу-богу угодно испытать мое терпение... Много обид видим мы и от немцев. Крымцы, турки и поляки, и ливонские магистры не радуют нас соседскими добродетелями. Явственные ласкатели на словах, они редко бывают причиной нашей радости. И нет среди них более лживого и коварного соседа, нежели ваши немцы. (Об Англии царь не сказал ни слова, как будто и не слышал упоминания о ней.)

Крумгаузен покачал головой в знак сочувствия.

— Великий государи! Многие убытки понесли от этого несогласия торговые люди немецких земель, желающие жить со всеми в мире, но более всех подвергает нас опасностям в Балтийском море все же английское и свейское соседство. Его величество Фердинанд, немецкий император, не внял роптанью иноземных государей и склонился на сторону любекских купцов, позволил нам ездить в твое государство и возить вам и серу, и железо, и медь, красную и зеленую, и свинец, но... Иван нахмурился.

— Знаю. И про свейских правителей знаю. И они поживились от нас. Свейского короля Густава я наказал. Не он ли десять лет назад писал архиепископу рижскому, чтоб тот не пропускал в Москву иноземных людей, кои имели охоту послужить нашему государству? Не он ли поднимал Марию Английскую, датского короля, Польщу, орден и всех латынн против меня? Но Мария написала мне о лиходеястве Густава и прислала мне посланников дружбы. Густав вопил на весь мир, якобы настало время отгеснить наше государство к Уралу. Но я наказал его, отбил в Филиппии наши древние вотчины до Выборга. И послов его с перемирием не принял. Он торговал мясом, — пускай с Новгородом имеет дело, с

моим воеводой. Недостойно царю с мясником на одну доску становиться. Карелия и Ингрия, то бышь, Карельская и Изгорская земли, со всеми прилегающим к оным местам издревле принадлежат нам. То и сами свейские правители не могут отгипать. Тоже и немцы. В московских летописях издревле значатся города: Сырелск, ныне именуемый Пейшлосом, Юрьев, ныне носящий имя Дерпт, наш старый город Кюстер стал Олденборном, а Ругдлив — Нарвой... И не я ли хочу иметь в Нарве свободное купчество? Немцы нам мешают повсеместно.

Иван повысил голос. Крумгаузен стих. Он хорошо запомнил историю с Шлитте. Он знал, что разговор этот неминуемо нагложится на воспоминание о том печальном происшествии, которое едва ли не главною причиною послужило к разногласиям между Москвою и Ливонией.

Иван взял Крумгаузена под руку и пошел вместе с ним вдоль по стене... На красивом молодом лице его легли черты глубокой задумчивости. В такие минуты он выглядел старше своих лет. И вообще, как уже заметили многие иностранцы, Иван бывал «неровен до неузнаваемости».

Раздумывая об этом, Крумгаузен не заметил, как царь отошел от него к одной из крепостных пушек и стал со всех сторон осматривать ее.

— Честь и слава Аристотелю фрязину¹, — сказал, поглаживая пушку, Иван, — за совет деду моему послужил... Кабы мне бог послал такого! Великим розмыслом и zelo нарочитым пушечником был. Каждый день я гляжу на собор Успенния и радуюсь. Честные руки, хотя и иноземец.

На лице его появилась улыбка.

— Многая множество иноземцев, ваше царское величество, готовы стать на службу Москве...

Царь пристально посмотрел на Крумгаузена. Видно было, что царь волнуется. Опять он дотронулся своею рукой до руки спутника.

— Но многие ли способны на добрую мысль просветить разум наших людей, дабы Москва имела своих мастеров таких же? Не вижу тут прямоты. Многие почитают нас, но немцы не прямят нам. Про нас болтают за рубежом, будто глаза мы выкалываем иноземным розмыслом, взамен благодарности. Пускают добрых людей, чтобы не ехали к нам... Крамн бог королеву Марию Английскую — не слушает она никого. Помогает нам

¹ Инженер и архитектор итальянец Флораванти, приехавший на службу в Москву в царствование Ивана III («фрязин» — значит итальянец).

Лешного помолчал, царь продолжал:

— Пришел к нам на подворье молодой члбй... Покаялся и слово принес на своего ладебу, на холопа нашего Кольчева. А ныне стал он мастер изрядный. Смышлен и етер. Ловчее многолетнего старца в пушечном деле познал многое кузнечные и литейные работы. И знаешь ли, у кого он научился?

Крумгаузен с любопытством спросил:

— Коли то не тайна, поведай, государь.

— У пленного шведа, взятого под Выборгом. Повелел я воводам того шведа одарить щедро и к воре нашей не пудити, а пушкаря-мастера поставить десятником на пушечном дворе. Мои враги — либо глупцы, либо воры-изменники. Друзья — разумные и честные, но не смелы, робки... Я помогу им быть смелыми, а они помогут мне побороть врагов. Есть и у нас люди, мастера превосходные. Дайте им срок, а там...

Царь умоля. Лицо его покрылось красными пятнами. Он стал подергивать плечом — признак разгневанности. Остановился в пролете между каменными зубцами стены и стал с силой вдыхать свежий воздух.

Крумгаузен отвернулся, как бы не примечая волнения царя.

— Солнце село, — сказал он, — шора молиться да ко сну приготовить себя. Побродили мы с тобой вдосталь. Моя воля ведома тебе, образумь ливонских своих земляков, вершии задуманные... Московский царь не обойдет достойных. Поезжай домой, кличь купцов... Говори с ними! Слободу для вас построим богатую...

На берегу Лузы, в небольшом бревенчатом домике, обнесенном высоким частоколом, ночью происходил совет. Собрались прибывшие в Москву из Германии и вольных ганзейских городов немецкие купцы. Все сошлись на том, что надо просить императора Фердинанда образумить Ливонию, спасти ее от погребели. Царь zelo гневается на нее. Не мешает склонить императора на союз Москвы с Веней, ибо не пришло еще время войны с царем, а торговые и иные дела дадут немцам знание сей страны.

Лица купцов, освещенные колеблющимся пламенем свечи, были озабочены.

Баварец Биспинг писал. Иногда, отрываясь от письма, он с большою горячностью доказывал своим соплеменникам, что много несправды пишут в Европе об Иване Васильевиче. Противники сближения империи с московским царем всегда выставляют как причину — его варварство, упорство, жадность и прочее. Это все далеко от истины.

Под диктовку товарищей Биспинг написал: «..московский царь — верующий христианин. У него самые благие намерения, и если ему приходится прибегать к жестоким и крутым мерам, то только оттого, что он окружен дурными людьми. Лишь стоит установить с царем дружественные отношения, и от него добьешься многого, чего и ожидать трудно. Всем известно расположение царя к немцам. Каспар Эберфельд может подтвердить, что царь намерен просить у герцога Клевского руки его дочери для царевича. Рат Мюллера хочет встать против этого. Бойтесь вредных для себя от того сближения последствий, — не повредит ли то его торговле. Царь обращается с пленными всегда кротко, очень мягко. Напрасно о том худое болтают в Европе. Пленники-иноземцы расселяются им на мирное жительство по разным городам и не уничтожаются. Им позволяется заниматься торговлею, ремеслами и даже поступать на государственную службу».

Крумгаузен просит добавить к этому:

«...и сожаления достойно, что, вопреки согласию императора, любецкие и ливонские власти не допустили до Москвы саксонца Шлите с мастерами и учеными, выписанными в Москву царем Иваном. Многие из любецких и других купцов и ратманов считают то большою ошибкою. И непонятно, чего ради в продолжение многих лет ливонские, датские и шведские каперы мешают сношениям Москвы с Европой... Но дело еще не потеряно. Император может заключить прочный союз с царем, который всегда к этому стремится. Что же касается военной силы и денежных средств, то их у московского царя больше, чем у всех немецких князей вместе. А какой прекрасный замок в Москве, какие великолепные каменные дворцы и соборы! И едва ли по величине найдется город, который мог бы сравниться с Москвою...»

Крумгаузен улыбнулся:

— Добавьте: «А русские девушки, кстати сказать, всех превосходят своею красотою и не имеют себе подобных».

Все рассмеялись, и не потому, что Крумгаузен преувеличил красоту русских девиц, а потому, что хорошо знали слабости седеющего хитреца Поахима.

— Пейсравимый гуляка! — узоризненно покачал головой угрюмый Вейт-Сенг.

Сальная свеча догорала. Под окном оживился сверчок. Где-то поблизости сторожа с поспешностью, очнувшись от сна, нестройно ударили в железные доски, вторя бою часов на Фроловской башне.

Письмо кончалось просьбой, обращенной к императору, о снаряжении в Москву посольства с предложением дружбы и военного союза. Говорилось в письме о том, что у Ивана

Васильевича завязалась большая дружба с Англией, и что этому надо помешать. Нельзя допустить, чтобы образованная в Лондоне «Московская компания» заняла первенствующее место в торговле.

Свеча погасла, где-то поблизости церковушка звала к заутрене.

Этого же ночью во дворце царь собрал всех своих любимых дьяков Посольского приказа во главе с Иваном Михайловичем Висковатым и Андреем Яковлевичем Щелкаловым. Дело обсуждалось наиважнейшее, равное объявлению войны Ливонии: царь приказал составить «последнее письмо» ливонскому магистру Вильгельму Фюрстенбергу. После долгих разговоров и горячих, полных негодования речей Ивана Васильевича было составлено следующее письмо:

«...Вильгельм, магистр ливонский, и архиепископ рижский, и епископ дерптский, и другие епископы, и все жители Ливонии! Вы прислали к нам своих послов, знатных мужей Иоанна Боггорета и Отто Гротгузена, Вальмера Врангеля с его спутниками, с повинной головой, чтобы мы помиловали великого магистра и архиепископа дерптского и других епископов и всех жителей Ливонии и приказали бы нашим наместникам в Новгороде и Пскове заключить с ними мир по старине. Но мы приказали нашим наместникам не заключать мира ради вашей несправедливости и хотели нестать на вас вашу неправду. Но Иоанн Боггорет, ваш посол и товарищ, обещал нам, что великий магистр и архиепископ рижский, и епископ дерптский, и все жители Ливонии исправят их неправду, очистят русские церкви и церковные земли, позволят торговать нашим гостям и купцам ливонскими и заморскими всякими товарами, кроме оружия; что епископ дерптский соберет дань и все оставшееся неуплаченным за все прошедшие годы, с каждого человека по немецкой марке, и пришлет нам эту дань в три года мира. И что впредь епископ будет выдавать беспрекословно нам эту дань и без всяких стеснений будет пропускать из-за моря из всех земель людей, желающих поступить к нам на службу. И что вы ни в каком деле ничем не будете помогать королю польскому или великому князю литовскому, о чем ясно написано в перемирной грамоте. Наши наместники в Великом Новгороде и Пскове целовали крест на перемирной грамоте, приложили к ней свои печати для нашего посла Терпигорева, для того чтобы по этой грамоте вы справедливо решили все дела с нами и нашими наместниками, как написано в грамоте. Но до этого часа вы не уладили еще ни одного из всех этих дел ни с нами, ни с

нашими наместниками. И мы, чтобы не проливать христианской крови, часто напоминали вам письмами, чтобы во всех делах вы честно исполняли перемирную грамоту, оставили бы ваши несправедливые и лживые речи, и признали бы свою вину, чтобы не проливалась невинная кровь. Но вы не обратили внимания на наше помилование, и нашу охранную грамоту вы взяли только затем, чтобы затянуть дело. Так как вы ни во что ставите божеские законы и всякую правду и, несмотря на крестное целование, пренебрегли нашей милостью, то, ради справедливости нашей, мы намерены призвать на помощь всемогущего бога и отплатить вам за ваши неправды и нарушение крестного целования насколько нам поможет всемогущий господь. Мы, христианский государь, не радуемся пролитию невинной крови — ни христианской, ни неверной. Пролитая кровь будет пролита не ради нашей, но вашей неправды, знайте это! Поэтому теперь, ради вашей неправды, мы покажем вам нашу великую власть. Этого моего слугу, которого я посылаю вам, вы, по перемирной грамоте, не задерживайте, а отправляйте его назад. Писано нашим величеством, при нашем дворе, в городе Москве, в ноябре 1557 г.»

В приходе Максима-Писоведника, что у Варварского съезда на «аглицком дворе», изумленно склонившись над бумагами, сидело несколько длинноволосых английских купцов. Постигали русский язык. Трудно давалась наука. Самое легкое слово, которое быстро усваивалось: «М-о-с-к-о-у-в-а...». Его они повторяли десятки раз с блаженной улыбкой. Сэр Томас Грин, сам удивившись на себя как-то сразу выпал из целую фразу: «У Москову многа ле-са!» И несетово после того закашлялся. Его товарищи думали, что он подавился, постукивали его по спине. Обливаясь потом, подданные королевы Марии по всех сил тужились выговорить необходимые им русские слова, но напрасно метался язык во рту, — и зубы мешали, и горло оказывалось неупругим, Трудно!

Увы! Тревога! Немцы начали окружать царя! Многие из ганзейских и иных немецких купцов прекрасно говорят по-русски. Хитрущие! И когда только успели? Верные люди передавали, что склонить они хотят императора Фердинанда... на союз с Москвой! Русский язык весьма большую пользу оказал им. Даже с самим царем Иваном Васильевичем ведут они беседы без толмачей. Не обидно ли членам лондонской «Российской компании», «открывшей Московью»?!

На стене, под стеклом в золотой раме, чернела писанная ломаными извилистыми буквами с хвостами продолговатая царская грамо-

та. Только одну ее наизусть пока и выучили торговые люди; в ней говорилось:

«Мы даруем полную волю и право производить всякого рода торговлю свободно и по-волю, без всякого стеснения, препятствия, пошлины, налогов, стеснительных форм и прочее».

Она давала англичанам право волюю жить и ездить для торга повсеместно, где они пожелают, заводить лавочную торговлю в гостиных дворах, строить дома, нанимать русских людей к себе в работники, брать с них крепостельвальную запись в добром выполнении работы, показывать их, увольнять при нарушении клятвы и брать на работу других людей.

Много всяких иных привилегий дано царем английским купцам. Только из-за того, чтобы самому, своими глазами, прочитать грамоту о царских милостях, — и то стоит научиться русскому языку! А ведь задумано широчайшее дело: объехать все города и богатые торговые села в России, договориться с тамошними купцами.

Пока дела идут так себе, ничего. Студелое (Белое) море принимает в свои воды только английские корабли. Весь северный край уже знает английских торговых людей. Леды Северного океана вовсе не так страшны для того, кто хочет дружбы с русскими. Правда, доблестный мореплаватель сэр Уиллоуби так и не доехал до Двины — замерз со своими спутниками близ берегов Лапландии, но ведь он был первый... Старший кормчий плавания Ричард Ченслер, попавший в Московию велел за ним, уже оказался счастливейше. Одоление морей и океанов не достигается без жертв. И купец, так же как и воин, покоря неизведанные страны, всегда должен быть готов погибнуть за свое дело. Так самим господом-богом устроено. Только дикарь этого не понимает, а просвещенный купец давно уразумел это.

Имятый лондонский торговый человек Ричард Грей по дороге в Москву тоже застрял, но только в селе Холмогорах, и по другой причине: весьма соблазнило его вологодская пенька. Таких канатов, какие производят русские мужики в Холмогорах из этой самой пеньки, в Англия и не выдывали. Раньше Англия получала канаты из Данцига, теперь будет получать из Холмогор. Эти лучше немецких. Ричард Грей уже начал строить канатную фабрику на берегу Северной Двины, с милостивою согласия царя Ивана Васильевича. Нельзя же сырую пеньку возить в Англию, — это обошлось бы дорого и места на кораблях пенька заняла бы много. Ричард Грей с приятелями рассудил, что выгоднее построить канатную фабрику в Холмогорах и возить в Англию

готовые канаты, нежели заваливать корабли пенькой.

О севере России английский купец, так и этак, не беспокоится. Связь налажена, британский купец там прочно засел, по... не перехитрили бы немецкие тушцы англичан где-либо в другом месте? Это тревожит.

Вот ведь поди ж ты! Немцы уже научились говорить по-русски: Ноахим Крумгаузен по-московски говорит не хуже, чем по-немецки. И потом... Прибалтика! Что-то уж много немцев понаехало в Парву и Пвапгород! Не дай бог, коли они захватят торговлю новгородскую и псковскую!

— То... маш-ш-ш... пий пфтица! — поклонившись над написанной каракулями бумагой, с мурмы упрямым твердил скорняк — рыжий Аллард. — Гу-у-у! Гу-у-у!

Он зажал уши, чтобы не слышать разговоры своих соседей. Его мечта — скунить в России целые корабли домашней птицы, разных зверей, особенно бобров... Надо знать название каждой птицы, каждой зверюги. Задача немалая!

Товарищам угрюмого бородача Георга Киллингворта казалось, что он их долбит молотком по голове, так звучал его басистый голос, с усиленным сотню раз повторявшийся: «Гаше царское величество!» (Во время приема во дворце царь обратил внимание на его пышную громадную бороду и тихонько шепнул о том митрополиту Макарию, который сказал: «Божий дар!»)

Вечеру в избу вбежал старшина английского торгового посольства в Москве Джеккинсон. Он был взволнован. Скороговоркой сообщил он своим землякам, что только сейчас в Кремле на стене Крумгаузен целый час беседовал о чем-то с царем Иваном Васильевичем. Ни одного иностранца царь не допускает на кремлевскую стену, а тут сам пригласил. Разговор был тайный, и, конечно, не обошлось без того, чтобы Крумгаузен не наговорил чего-нибудь на англичан.

Что делать? Каким образом отгнать немцев от царя Ивана Васильевича? Ведь они хотят посорить Россию с Англией. Давняя их мечта.

Вокруг этого вопроса разгорелись горячие споры. Кто говорил, что надо усилить надзор на Балтийском море, уведомив Англию о том. Пускай пошлют к берегам Скандинавии и Ютландии, а также и в Балтику побольше вооруженных кораблей, которые бы топили немецкие разбойничьи суда, идущие в Россию. Другие советовали натравить на немецких, польских и шведских шпиратов. Это будет удобнее и стоит дешевле. Третьи советовали подкупить ближайших вельмож царя, с тем чтобы они отговорили его от войны с

Ливонией, которая, повидимому, должна непременно произойти. Не лучше ли царю развить мореплавание по северному морскому пути, проложенному уже из Англии в Россию? Ведь это же его мысль, его, царя Ивана Васильевича! Конечно, Балтийское море... путь короче... лучше... но... немецкие шпарты!..

Дженкинсон с возмущением высказался о ганзейских купцах, которые еще не оставили мысли быть первыми торговцами в России: немало они мешали Англии, немало теснили Швецию, но все же они лезут, не сдаются. Вот и Крумгаузен — никто иной, как агент Ганзы. Надо этому положить конец. Ни Москве, ни Англии пользы от немцев нечего ждать.

Дженкинсон задумался после своих горячих негодующих слов о немцах и о том, как с ними бороться.

Усевшись за общий стол, он тихо сказал:

— Предвижу, друзья! Великая борьба будет между нами и немцами.

Поздно ночью разошлись английские торговые люди по домам, поклявшись друг другу не выпускать из своих рук превосходства в торговых делах с Россией.

Вернувшись во дворец, Иван разговорился с Анастасией о торговле с иностранцами.

— Можно ли почесть друзьями немецких купцов? — задумчиво произнес он, сидя в кресле около расположившейся на покой Анастасии. — Они превозносят мои добродетели превыше истины. Они лицемерно закрывают глаза на мою немощь, на мои оканьяства... Они лгут, ради своей выгоды, там, где, по-божьему, следовало бы говорить правду обо мне. Хитрецы и лицемеры! Стало быть, мы спондобились им. С Англией дружба испытана, а немцы... — не верю я им!

Анастасия, облокотившись на руку, приподнялась на подушке. Лицо ее выражало тревогу.

— Веру свою не умыслили бы нам немцы вчинить? — вопросительно глядя на царя, сказала она.

Царь рассмеялся.

— Веру мы не покупаем и не торгуем ею, но то верно, что купцы заморские меняют королей, меняют веру, меняют рабов на лошадей и собак, и, пожалуй, кто-нибудь знатно разбогател бы, сменив нашу веру в государстве на латышскую или на лютерскую. Пашекские люди уже пытались, да токмо более пытаться не будут. Я хорошо плачу иностранцам, ратным людям, они служат мне, а коли вздумаю умалить ленгу мою, — они продадут свой меч иным государям... и будут

поносить меня. Сегодня славил, завтра отречутся от того, ради хулы и клеветы. Иностранники — купцы и послы — уехали за рубеж, великую небывлицу возводят на меня, но ничего не вышут о себе, како ползали они, ради выгод своих, у моих ног.

— Гони их! Не надо нам таких! — разругавшись от пнева, сердито сказала Анастасия.

— Не можно так! — покачал головою Иван, тяжело вздохнув. — Ричард Ченслер — помог мне в дружбе с королевой английской. Яким Крумгаузен — ратман Нарвы, купеческий вожак; в ином деле он сильнее меня. Он мне нужен и я ему. Либенгауер, Биспинг и многие другие атоманские купцы — лгуны и лицемеры, но без них захиреет любой владыка. Они мочны свести меня с императором более, нежели ангелы мира.

Иван поднялся, стал ходить из угла в угол царичиной опочивальни. Анастасия знает, как всегда стремится царь сблизиться с Карлом и как тот сторонится этого сближения. Она много раз видела мужа — то в безпенстве проклинающего немцев и расхваливающего англичан, то страдающего от тоски по немецким гостям.

Лицо Ивана стало сумрачным.

— Все пригоже делать ко времени, а царям надлежит все делать только во-время.. Холод проспит лишнее, ему — плеть, а государь коли проспит, — сделает несчастным все царство, особливо имея таких соседей, как немецкие рыцари!..

Анастасию клонило ко сну. Царь заметил это. Подошел к ней, нежно погладил большою рукой ее голову.

— Спи. Не стану докучать тебе. А все же нам с немцами воевать надо.

Иван крепко поцеловал жену и ушел в свои покои.

Там он развернул на столе карту Ливонии, присланную ему одним купцом из Голландии, и в глубоком раздумьи склонился над ней.

XI

Декабрь. Снег и холод часто сменяются оттепелью. Южные ветры в полях обнажили кое-где землю.

В один из таких дней по бревенчатым мостовым, скользким от мокрого снега и грязи, из Пущечной слободы потянулся превеликий караван.

Осадные большие пушки на длинных колесницах, запряженных десятками лошадей, покачивались на широких лотках. В лучах солнца сверкала их начищенная бронза. На

пушках верхом сидели с фитилями в руках тепло одетые пушкари.

Сбежавшийся на улицы народ с уважением и страхом взирал на суровых, загадочных под нахлобученными шлемами, пушкарей. По бокам телег тихим шагом ехали верховые.

Орудий много — и полевых, и полубоевых: двойные пушки (с двумя жерлами), крупные василески и гаковницы, чеканенные молитвами, и гауфинцы, они же дробовики, на них чеканка: «Швал Васильевич — царь всея Руси», и широкодульные мортиры. На телегах более мелкие орудия: среднекалиберные пищали, прозванные змейками, малокалиберные короткие фальконеты. Около них пушкари с железными вилами-подставками.

Часть орудий кованая, остальные — литые.

Андрейка ехал на вороном коне около большого наряда. Он должен был участвовать в огневой потехе не только как мастер-литеец, но и как пушкарь. С гордостью поглядывая на длинную вереницу движущихся возов с пушками.

Из-под самых ног коней разбегались куры, озорники-ребятишки. Тявкали неистово собаки, спрятавшись в подворотни. Много труда стоило возницам сдерживать коней, чтобы они и телеги не сползли в канавы.

Грузно, шумно тянутся воза с громадными ящиками. В них каменные, железные и свинцовые ядра, прозванные — иные «солдовьями», иные «девками», иные «воинами». Около них мастера пушечного дела, русские и иноземные, тоже верхами на конях.

Зеленые бочки¹ — в татарских арбах с сеном.

Воздух оглашается трубами, рогам, бубнами... За воеводами везут громадные медные барабаны, набаты. В каждый набат бьют восемь человек.

Вспугнутое войском, взлетает с деревьев воронье. Тучей носится оно, испуганно каркая, словно стараясь заглушить весь этот шум.

Обозы с народом уже в поле. Рогатка остается позади.

Под звон соборных колоколов на белом аргамаке выехал из Кремля большой, бравый царь Иван Васильевич.

Его сопровождали князь Владимир Андреевич, князь Курбский, Шуйский, Воротынский и Глинский, Адашев Данила и многие другие, на испанских и турецких скакунах.

Царь одет в теплый стеганый кафтан, расшитый золотом, и высокую с орлиными

перьями мурмолку. Она опушена соболем, усылана жемчугом и дорогими камнями. Князья в теплых, богатых зипунах.

Но вот царь остановил коня на Красной площади. Князья выехали вперед, построились по-трое в ряд, а впереди них пошли колонны стрельцов в красных охабнях, по пяти человек в шеренге. Каждый стрелец нес на левом плече пищаль, держа в правой руке фитиль.

По пути следования царя суетились старосты и пристава, разгоняя юродивых, нищих и нештребных жонок.

Лицо Ивана было задумчивым. Иногда он вдруг переводил взгляд на толпу и начинал с любопытством рассматривать сбежавших сюда из Гонимой и Колышанной слобод обывателей. Низко, до земли кланялись посадские люди царя, обнажив головы.

Вельможи гарцовали браво, ловко управляя конями, как пестые наездники. (Не прошли даром состязания с татарскими всадниками, что устраивал царь на Лужевой стороне!)

Перейдя по льду реки, царский поезд двинулся через захолустную слободу Котлы. Здесь и недавно изо всех ямских, монастырских и шлепных дворов повылезали любопытные.

В месту маневров помчались ертоульные (передовые всадники, разведчики), чтобы возвестить войску о прибытии государя.

Царь выехал в поле впереди всех.

Воеводы дали знак. Загудели трубы, загрохотали набаты. Войско застыло около пушек, издали завидев царственного всадника. На убранный парчю и коврами помост, с секирами в руках, стройно вошла стрелецкая стража. Соскочив с коня, быстро поднялся к царю Иван. А с ним князь Владимир Андреевич, князь Курбский, Воротынский и Мстиславский, затем Данила Адашев и казанский парек Шиг-Алей. Все другие помчались на свои места к войску.

Среди поля — одна на другую сложенные глыбы льда; рядом несколько бревенчатых домов, набитых землею; вдаль наподобие людей чучела.

Приготовления к пальбе еще не окончилось.

Войско широко растянулось по всему полю до самой сосновой рощи. На левом крыле были размещены маленькие орудия; ближе к правому они становились все крупнее и крупнее. Позади пушек, у коновязи, виднелись распряженные кони, телеги, белели только что раскинутые шатры.

Андрейка слез с коня, подошел к мастеру Топоркову.

¹ Зелёе — порох.

— Давай осматривать туры. Воевода Телятьев приказал!— крикнул Топорков.

Туры были неодинаковы. Одни большие, другие меньше. Топорков и Андрей попробовали, хороши ли кольца, крепко ли их опутывает плетенье из ивовых лоз, достаточно ли навалено земли и щепки к плетенью, не прошибет ли землю неприятельским снарядами.

— Плохо водой смочили,— сказал Топорков,— земля не гораздо села. Хорошая подливка землю крепит.

Стрелецкий десятник, под чьим присмотром возводились туры, виновато оправдывался:

— Не взглянул бы Иван Васильевич... Мотри! Плохо ти будет. Запаса земли да щепки у тебя не много. Заделывать пробоины чем?

Андрейка осудил бойщипы: много пустоты меж туров для пушечных дул.

Сигнал к стрельбе дан.

Поднялась суматоха. Замелькали длинные фитили. Люди торопливо носили к пушкам ядра.

Андрейка, подтягивая стеганные порты, бежал около мортир, следил, верно ли кладут под каменное ядро — в кармане у него мерка — небольшой лубяной коробок. Мортиры, около которых он остановился, должны были разбить одну из ледяных глыб.

Первый залп вышел не совсем ладен. Ядра перелетали через лед. Андрейка с сердцем плюнул, ругнулся, велел еще подсыпать зелья, легонько пригнуть дуло. Второй залп раздробил в мелкие куски четыре громадных льдины. Обливаясь потом, Андрейка тут же начал опять помогать пушкарям наводить дуло.

Разбить дом, наполненный землею, было потруднее. Пушкари вздыхали, поглядывали в сторону царского помоста с тревогой.

Они выбрали крупные-mortиры весом по триста фунтов. Заложили в них ядра. Андрейка велел всыпать пороху по четыре фунта под каждое ядро. Насыпали осторожно, чтобы не потерять ни крупинки.

Соня, вразвалку подошел воевода Телятьев. Покачивая неодобрительно головою, следил он за работой пушкарей.

— Вы, дрыгуны! У меня штоб в крышу, а ни куда! Сам батюшка-государь взирает па ту избу, бейте!

Пушкари и Андрейка потянули па коленях по мокрой земле, стараясь лучше прицеливаться.

Раздала выстрел.

Крыши на избе как не бывало. Бревна съехали набок, земля взлетела вверх, клубы пыли расползались, черные, густые.

Царь весело рассмеялся. Он указал рукою

на эту мишень, проговорил Курбскому на ухо:

— Кабы все так! Отари!

Курбский сошел с помоста, сел на коня и поехал узнать: какие пушкари разбили избу.

Телятьев, размахивая хворостинкой, бежал вокруг пушкарей. Он был красный от волнения.

— Крушите! Разнесите ее! Ну, ну, ну! Живее, живее!

Андрейка оттолкнул пушкарей, постучал деревянным молотком по стволу орудия. Телятьев, обругнувшись, стал совать гранату, торопился.

— Постой, воевода!— сердито выдернул из его рук ядро Андрейка.

Телятьев позеленел от злости:

— Прочь, холоп!

Парень смело отстранил его.

— Стой, боярин! Не видишь? Ядро негоже... Прежде, нежели наряжать его, подобает осматривать, а тут три щелины, три морщинки видны... Гляжи! Несладко из литья вышло. Селька, давай другое!— крикнул он товарищу.

Телятьев отнял ядро у Андрея, намереваясь сам заряжать. Тот вырвал ядро обратно. Телятьев схватился за саблю.

— Боров проклятый! Я тебя проучу!

В это время около них остановился на коне князь Курбский.

— Стой, князь!— крикнул Курбский.— Зачем бряцаешь?— спросил он.

Телятьев рассказал князю Курбскому о том, какое оскорбление нанес этот холоп ему, воеводе и князю Телятьеву.

— Кто разбил избу ту?

Пушкари указали на Андрея.

— Чего ради ты послушался князя?

— Негоже то ядро. Рябое оно, худо слито. Воевода кладет его в-mortиру. Воспротивился я, чтоб не сгубить пушку, да и людям смертоубийства не учинить.

— Вери ядро... пойдем к царю. Да и ты, князь, пожалуй к государю. Спор ваш мне луб и требует доброго прилежания, чтоб рассудить его. И к поучению спе полезно.

Курбский медленно поехал вперед. Телятьев за ним. Позади их с ядром деловито шагал Андрей, сердито поглядывая на толпу ратников, разинувших от любопытства и удивления рты.

Прежде чем допустить боярина и пушкаря на царский помост, Курбский испросил па то разрешения у царя. Получив его, он ввел на помост князя Телятьева и затем Андрейку, который, увидав царя, опустился па колени.

— Поднимись! — ласково кивнул ему царь. Курбский доложил Ивану, как все было.

— Слушаю тебя, — обратившись к парню, произнес царь.

— Взгляни, пресветлый государь! — Андрейка показал ядро, — негладкое литье, морщина! Годно ли оно для паряженья? Коль ядро не совершенно круглое, пушку в дуле разрывает.

Царь Иван нахмурился.

— Что скажешь ты, боярин? — спросил он Телятьева.

— Видел и я то ядро, но не нахожу к тому причины, чтоб не стрелять им.

Пасмешивая улыбка скользнула по лицу царя.

— Суждеппе твое, Кирилл Максимыч, мудрее суждеппя пушкаря, на то и воевода. Покажи нам пример, как без болезни тем ядром палить... Клади его в пушку своими руками, а мы посмотрим. Иди! — и, обратившись к Курбскому, сказал: — Проводи их!

Телятьев поблдепел, но, поклонившись царю, гордой поступью сошел с помоста, сел на копы и поехал рысью к своим турам, провожаемый недобрым взглядом царя. Только два дня тому назад царю донесли о хуле, которую произнес Телятьев у князя Владимира, негодуя на государя.

Андрею было приказано остаться на поместе.

— Государь! — молвил, кланяясь до земли, гарень, — не можно то, да и паряда жаль. Мортира та новая и твоё имя царское на ней чекапено.

Иван Васильевич рассмеялся.

— А боярина тебе, Телятьева, не жаль? Мортира любя тебе, а князь?

Что ответить? Андрей не знал. Покраснел.

Царь стал серьезен, отвернулся. Выстрелы следовали один за другим. Иногда раздавался залп сразу десятка пушек. Дрожь пробирала кое-кого из бояр от этой пальбы. Андрейка видел, что царь с большим вниманием любитя протсходящим разгромом ледяных изб. И это было приятно Андрею. Стало быть царь Иван полпмает его, пушкаря, который тоже любитя стрельбу и старается быть лучшим из пушкарей и мастеров. Да! Мортиру жалко, а неразумного боярина не жаль! Вот с ним! Бояр много, а пушек — ой, как мало!

Курбский вернулся к царю с донесением: пушку разорвало, а князя Телятьева никак утарило. Унесли его и положили в шатер. Царь повернул голову в сторону Андрейки. Несколько минут испытующе смотрел ему в

лицо, а потом спросил с плохо скрываемою улыбкой:

— Кого же тебе жаль: князя или пушку?

Андрейка теперь не мог кривить душой. Его сердце наполнилось злобой к Телятьеву.

— Пушку! — не задумываясь, ответил он. Царь расхохотался. Князь Курбский сердито покосился на парня.

— Скажи Юрьеву, — обратился царь к Курбскому, — пускай выдаст молодцу в награду пятьдесят ефимков... А чтоб вежество¹ соблности — и десяток плетей отпустите ему, этому ерну. Бояр надо уважать. Пускай те запомнит смерд!

Курбский сделал рукой знак Андрейке, чтобы он уходил. Андрейка вернулся к своему месту на стрельбнице, красный, озадаченный. За что же плети? После того и ефимкам рад не будешь.

На поле пи ледяных глыб, пи домов — все обращено в прах. Теперь затинные пиццали были по чучелам. Одно за другим падали чучела. Меткие выстрелы пиццалинников оживили Андрейку. Любо ему было смотреть, как треплет ветерок космы расстрелянных чучел. Одно только, как запоза, сидело в сердце: обца на царя.

После того пускали вверх греческий огонь². Огненные шары высоко в поднебесьи с оглушительным треском лопались, и тучи золотистых звездочек, падая вниз, медленно таяли, не долетев до земли.

В толпе любопытных на окраине стрельбища было много иностранцев: купцов, мастеров, приезжих людей. Все они с удивлением смотрели на огневое искусство москвитов. Джекинсон после этой шутейной стрельбы расхваливал в толпе иноземцев и царя, и войско:

— У русских, — говорил он, — прекрасная артиллерия. Нынешний царь Иван Васильевич превосходит всех своих предшественников в твердости и отваге.

А дома написал письмо на родину, в котором говорил:

«Пет христианского государя, когото больше бы боялись и больше любили, чем этого. Его величество принимает и хорошо вознаграждает иностранцев, приезжающих к нему на службу, особенно военных».

Расходясь по домам, чужеземцы перешептывались, что царь забавляется не зря, — теперь ясно, что Москва готовится к походу. Говорили они между собою и о силе и могуществе московского царя, и о том, что,

¹ Вежество — добрый порядок, приличие.

² Греческий огонь — подобие ракет.

конечно, виденное ими далеко не все, чем обладает московский царь.

В этот вечер Иван Васильевич ужинал у себя в покоях с царицею и ее братом, степанным, богобоязненным Даниилом Романовичем Юрьевым. Невысок ростом, худ, с жиденькой бороденкой.

За ужином царь, смеясь, рассказал Анастасии, как проучил он Телятьева и каким молодцом оказался колычевский мужик, убежавший из вотчины.

— Есть люди. Свет не клипом сошелся. Свейский мастер из Пушечной слободы достоин первым вельможею у нас стать. Обучил порою моих людей назло нашим недругам.

Ужин прошел в веселой, бодрой беседе. Из слов Ивана Васильевича было видно, что он остался доволен стрельбищем. Об одном пожалел царь — в войске мало хороших пушек.

Самому бы поездить по чужим странам да посмотреть своими глазами, какие там пушки, и как их делают, и как они бьют! Посланный за границу князь Лыков с товарищами, правда, кое о чем разведал и фальконеты государю из латинских городов привез, но этого мало. Да новому строю и способу боя хотелось бы у иноземцев поучиться. Многое одряхлело... и многое народилось вновь.

Иван задумчиво, как бы про себя, сказал:

— Есть мудрые мужи, способные царю совет давать. Есть мысли старейших, до нас живших, нетленные. Ими питаемся. Никакие драконы блудомыслия, никакие измышления пустоглазых не могли погрязнуть их, но... кто скажет мне: где сильны мы сохранением старого завета, соблюдением древнего порядка и где мы слабы им? И все ли новое, хотя было бы оно лепо и сверкающе, государству на пользу? И все ли оно божье, а не колдовское? Высокое достоинство советников правителя и сила их разума в познании меры. Ущерб старому в иное время так же прискорбен, как и неприятие нового. Воздержание и воздержание не живут согласно. А я слаб. Каюсь! Волшебство сильнее меня.

Данила Романович и Анастасия ничего не могли сказать в ответ на речь царя.

Анастасия держала на коленях царевича Ивана в шлеме, с которым он не расставался.

Царица видела выражение растерянности на лице мужа и думала, как бы перевести разговор на другое. Но разве можно? Иван Васильевич любит, чтобы она была его советницей.

— Батюшка-государь! — нарушила она молчанье. — Господь-бог — лучший советник владык. Он развеет волшебство и укажет путь к правде.

Иван Васильевич улыбнулся, ласково кивнул ей, как бы одобряя ее слова, но от Анастасии не укрылась усмешливость в глазах его. Да, она знает, что царь не получил ответа на свои мысли и что он втайне посмеивается над ее словами, но не хочет обидеть ее.

Иван указал Даниле Романовичу на сына:

— А ну-ка, Данила, поставим его в большой полк! Обрядим его в броню, дадим меч, посадим на коня и объявим: «Царевич поведет войско!»

Все рассмеялись.

Иван сказал:

— То-то потеха стала бы! Бояре лютее льва рыкающего оцетинятся! Ярно и в том увидели бы! А надо бы. Жаль — мал он!

Анастасия сняла шлем с сына, прижала царевича к груди:

— Пустое! Не дам я его! Поставь своего Курбского.

Иван, наливая в землю из кувшина брагу, усмехнулся:

— Послушать бы, о чем без царя, у себя дома, говорят мои князья! А я знаю, что более всего толкуют они о роде своем... Кто кичится тем, что он произошел от князей ярославских, кто-де прямой суздальский владыка, иной кричит, — во мне течет кровь князей смоленских! Сатана слушает их речи и радуется: то Сигизмунда-Августа палцем поманит к нам па землю, то крымского Девлета, то свейского, то немецкого, то Солеймана. А князькам недосуг — они делят Русь на княжества и спорят, кто кого старше...

Немного подумав, царь добавил:

— Не надобно им государства. Родословие им превыше всего. Император германский, либо король свейский больше князьков заботятся о нашем государстве.

Иван Васильевич с горькой усмешкой покачал головою и тяжело вздохнул:

— Донес мне владимиров человек, будто боярин Телятьев хулил меня, что царь-де отнял все, не велит бегать от одного государя к другому, царь приказал сидеть на месте и верою и правдою служить им... править тем, над чем поставлены. Вольность! К татарскому игу привела та вольность! А ныне узнал я, повгородское вече они прославляют. Блудные сыны и лукавцы! Новгородская вольница — не сестра им и не опора нашему царству. Славят они ее назло мне. А Сильвеструшко им потакает. Новгородский князь себе на уме. Всю почь Сильвестр вчера провал у князя Владимира.

Иван нахмурился:

— И решил я поставить вождем над войском не Курбского и никакого иного русского князя, а татарина Шит-Алея. А в придачу к нему пойдешь ты, Данила. (Данила Романович встал, поклонился и опять сел.) Да дядька пойдет... Михаила¹. Князей посадим польховыми воеводами. Государю не род нужен, не знатность, а служба. Мяшка Репшин отказывается идти под рукой Басманова. Князьку-де постыдно слушать недавнего дворянина. А Басманов огневому бою приучен лучше, нежели князь Репшин. Князь Буракин не хочет стать рядом с Павлом Заболоцким. Но кто же из князей может равняться по конному бою с казаком Заболоцким! Пускай татарин начальствует над всеми ними. Пускай! А царевича, мать моя, побережем. Будет время, повоеет! Много у нас, русских, врагов! И внукам, и правнукам хватит. Чем будем сильнее, тем больше врагов явится.

— А я пойду!— крикнул царевич, крепко прижатый к груди матерью.

Царь расхохотался.

— Что скажешь, Данила?

Данила Романович встал, поклонился:

— Царскую доблесть и достоинство видим мы в царевиче с младенческих лет. Любовь великого царя к сыну — залог счастья вся Руси!

Иван поднялся, взял царевича на руки и крепко его поцеловал. Курчавый, черноглазый мальчишка погладил ручонками щеки отца и сморщился: «жюючие»!

Анастасия с материнским восхищенным смотрела на сына.

Охима день ото дня все сильнее привязывалась к Андрею. Она теперь и подумать боялась, что когда-нибудь ей придется расстаться с ним. Между тем приготовления к войне происходили у всех на глазах. Шла упорная молва о близком выступлении войска в поход. Прежде Охима никогда не вникала в разговор о войне, о царе, о Ливонии — теперь ловила каждое слово, которое говорилось на Печатном дворе. Иван Федоров и Мстиславец любили поговорить и поспорить обо всем, касавшемся государевых дел. О будущей войне с Ливонией они говорили как о хорошем, пухлом деле. Федоров негодовал на ливонских рыцарей, задержавших книги, краску и станки, выписанные царем из Голландии для Печатного двора. Он говорил: «Давно бы мы напечатали

Апостол и не только Апостол, но и многие иные книги, кабы из-за моря перевезены были нужные станки. А тем, что их нет, — великий урон учинился и всем государевым делам, ибо печать во многом бы помогла государеву правлению, и не творилось бы столь великой помехи в областях и уездах государеву делу, и все стали бы знать: как нужно жить».

Охима видела, как Иван Федоров и Мстиславец плакали, узнав, что немцы перехватили заморские товары для Печатного двора.

Война обязательно будет! Охима теперь уже в том не сомневалась, но... Андрей!

Он ежедневно приходил к ней; и уходил, когда на звоннице Шиболоя колокол ударял к утрени, а в окно начинал проникать розовый отсвет зари.

«Ах, Андрей! Если ты долго не приходишь, то как будто и солнце меркнет, и зелень садов за окнами вянет, и весна не весна, и лето не лето, и осень не осень, и зима не зима! Околдовал ты меня, опутал чарами волшебными, словно рыбку, что попадает в сети к рыбаку. Она трепещет в тех сетях, а силы не имеет, чтоб разорвать их и уйти на волю, в водяное царство!»

В таких размышлениях повседневно мучилась Охима, дожидая Андрея.

И в этот вечер были такие же мысли, но только теперь уже не лето: вместо зелени — голые сучья в снегу, все побелело за окнами, и неолог стал день, и рано темнеет, и колокол бьет к утрени в глубокой темноте. И Андрей уходит, очень-очень рано, не видя зари; и она провожает его тоже в холоде и темноте, когда несносно скрипят половицы и хрипло лают псы, не узнавая в темноте Андрея.

Андрей в этот раз пришел повеселый. А когда он, мокрый, весь в снегу, раздевался, на улицах были пабаты и пронзительно завывали рожки.

— Со стрельбища! Измучился, — тихо проговорил он. — Пушку разорвало. Жалко мне.

Охима обняла его. Чем она может одарить его, кроме своей любви. Нет у нее ни вина, ни яств никаких, сама живет кое-как. Одна любовь! Но Андрею больше ничего и не надо. Он сам принес ей краюху хлеба и вареного мяса из Пушечной слободы. Не было для Охимы наибольшего счастья, как только слушать Андрея. А он любил рассказывать ей о своем пушечном деле, о том, как научился он ковать и лить пушки. Сам швед похвалил его.

Андрей мечтал сварить большую-большую пушку, чтобы влезало в нее такое ядро, каким сразу можно сбить любую башню, про-

¹ Михаил Глинский — дядя царя (по матери).

бить любую стену и уничтожить сотню врагов.

Охима, лаская его, нежно шептала, что нет на свете такого человека, который разрешил бы ее в том, что ее Андрей не сделал такую пушку. Ее Андрей способен еще не на такие дела; ее Андрею надо было бы родиться парем, а не крестьянином, не мастером литейного дела и не пушкарем. Пригожее Андрея и на лицо никого не найдешь на всей земле, а потому он и сможет, только он один, сделать такую пушку.

Она так расхваливала своего друга, что тот начинал ей своей широкой ладонью, пахнувшей ворванью и дымом, зажимать рот.

— Буде. Твой Андрей не токмо царем, но и хороним пушкарем не бывал, да и, бог ведаст, будет ли! Война покажет: голзусь ли я в пушкари. И не надо, Охима, — не стели, не мели, не ври, не плети. Хочу я быть дюжим литцом, а покедова — ягненок бесхвостый, вот кто я! И как обидно, коли убьют меня и умру я, не оставив после себя преобольшущей пушки.

— Оставишь! Оставишь! — утирая слезы, сказала Охима. — Пошто умирать? Не надо о том и говорить. А на войну я тебя не пущу!

— Нустишь! Я такой, как и все. Не отстану от товарищей. Люди — Иван — Иван — и я — Иван, люди в воду — и я в воду, а тут война. Да штоб я остался в Москве и сидел бы в литейных ямах, а товарищи будут там воевать?! Нет, Охима, хоть и люблю я тебя, а от войны николи не отступлюсь. Штоб Андрей сидел тут супостатам в утеху? Николи!

В пэбу постучали.

Охима вскочила, оправилась, отворила дверь.

Вошел Иван Федоров. Стряхнул с себя снежок, обтер ноги о половик. Помоллся.

— Вашему сиденью! — приветствовал эи.

— Добро пожаловать! — ответила Охима.

Иван Федоров сел на скамью, стал спрашивать Андрея о стрельбе из наряда, у Калужской рогатки, о том, видел ли парень царя-батюшку.

Андрей рассказал о стрельянии и о том, как Телятьев погубил пушку и как царь Иван велел награждать его, Андрейку, пятьюдесятью ефимками... (О плетях умолчал, не желая срамить себя перед Охимой.)

С большим вниманием выслушал его Федоров, а потом, ласково улыгнувшись, сказал:

— Вижу я, парень ты смышленный, не пропадешь. Наш царь мудрый, но люди около него пехорошние. Соблазном его окружают. Ну, да бог поможет ему отгородиться от них. Он завел беседу о войне, сказал, что и

сам бы взял меч и лук и пошел бы к Ливонскому рубежу, да царь его с Печатного двора не отпускает.

— Как народ-то? Охоч ли до войны?

Андрейка ответил: нет ни одного человека при наряде и в Пушечной слободе, чтоб не хотел войны с Ливонией. Все слышанья о том тоспении, что учиняет немец русскому человеку, разоряет его церкви, мучает православных, не пускает заморских кораблей, грабит московское добро на суше, и даже землею владеет древнерусскою, а не своею.

— Кем голосом рывкает, — зло смеясь, сказал Андрейка, — таким и отравляется. Наш меч — их голова! Пришло стало быть такое время. И кто должен, тот повинен платить. И выходит: худое дерево с корнем вон.

Иван Федоров остался доволен беседою с Андреем.

— Да благословит тя господь! — С тем дьяком и вышел из горницы.

Охима во все время их разговора с любовью и гордостью следила за Андреем, а когда остался один, она обняла его:

— Лучше тебя никого нет!

Только что она это сказала, как в чзбу вломился какой-то человек с двумя стрельцами.

Андрейка вскочил со скамьи. Сердце его затрепетало. Он сразу догадался, что это пришли за ним. И когда ближе подвинулся к вошедшим, то узнал Василия Грязного. Это он пришел со стрельцами за ним, чтобы вестн его на съезжую.

— Эге! — рассмеялся Грязной, глядя на Охиму. — Иль не во-время? Так вот ты где, молодчик, скрываешься! Спасибо добрым людям, а то бы мы тебя и не разыскали.

Охима поднялась, бледная, испуганная.

В отблеске сальной свечи сверкнули ястребиные глаза незнакомого ей человека.

— Пушкарь меток... ай, меток! Ай, меток! — с ехидной улыбкою качал головою Грязной, дерзко оглядывая Охиму.

— Провались! Чего зенки тарашить?

— У-у!.. Ты сердита! — ястребиные глаза масляно заблестели.

Андрейка обнял Охиму, проворчав:

— Полно! Не кручинься! Вернусь.

— Вернешься ли? — сказал со злой усмешкой на губах Грязной. Охима заплакала.

— Не реви, горлица! Цареклю плети не позорнице для холопа, а награда, Ну, ты! Петух! Оторвись от своей клуши! Гей, ребята, веди его.

Стрельцы набросятся было на Андрея, но он их отпихнул, и сам быстро вышел из пэбы. Охима заплакала, рванулась за ним.

Но... было поздно.

Андрей, стрельцы и Грязной — все шло во мраке.

Охима, ослабев от тоски и ужаса, прижалась к косяку двери. Было холодно, сыро и темно кругом. Ее трясло, как в лихорадке. Она не заметила в темноте, что рядом с ней, совсем рядом, притаившись за углом избы, стоял чернец, который и привел сюда Василия Грязного.

Утром царь собрал в Большой палате бояр и воевод. Как всегда, бояре в хмурой робости, переминаясь с ноги на ногу, бросали исподлобья вопрошающие взгляды на царя: в духе ли? Все изучено: все складки и морщинки на лице Ивана Васильевича, и как держит руки, когда спокоен, и как сложены пальцы, коли сердит, и какой посох в руке... На все — приметы. В этот раз ничего дурного, предвещавшего гнев, не замечено. Опустился в кресло на возвышении мягко, не порывисто. После того, с царского позволения, заняли свои места и бояре. Рядом с царем, пониже него сел митрополит. С другой стороны — князь Владимир Андреевич, беспокоившим взглядом обводивший бояр.

— Бояре! — сказал царь. — Бог наш, вседержитель, вразумил нас вознест победоносную хоругвь и крест честный, в веках непобедимый, на великую брань с лютыми верогами нашими, немцами, разоряющими православные храмы, осверняющими лютерским лаяньем наши святыни, нападающими на наших людей на рубеже и многая скверны сотворившими во зло и хулу нам, еретически прикрываясь крестом.

Бояре! Настало время поднять наш меч правды и мести. Чего ждать от того царства, коим правят вероломные обманщики и разбойники, лютерские и латинские попы и монахи? Честные люди не имеют силы в той стране, чтоб побороть коварство рыцарей. Лифляндские воеводы строят себе замки, чтоб в них запереться. От кого? От своего же народа. Всемогущий бог повелел с врагом биться в открытом бою, не щая себя, коль родина пребывает в опасности. Укрываться в замках и ждать, коли на тебя нападут, — сапашинское дело, гнушно. Вчуже им земля, вчуже им и чухня, над кою они власть имеют. Нет совести — нет и порядка и силы! Бог наказал их! Нет у них доброго, любящего свой народ правителя, ибо нет у них и своего народа. Все чужое, краденое. Как рой пчел без матки не может быть, а рассыплется, так и народ без правителя. Рыцарство не страшно нам! Государства, грабским живущие, — тлению подлежат, не должны жить! Имеем господя-бога, вседержителя мира, я поднимаю

московское знамя брани. Завтра наши люди из коща в конец земли русской услышат царское слово, зовущее на битву. Близья-воеводы! Двинем наше непобедимое войско в поспрамление вражеской гордыни. Да благословит нас господь-бог на то великое дело!

Тишина была ответом царю.

Митрополит сидел, низко опустив голову, пока царь не сказал:

— Слушайте! Праведный владыка первьи господней совершит в соборе великое моление.

— Да будет так! Амшь! — воскликнул митрополит простуженным голосом, быстро вставая с своего места.

Поднялись, как один, с своих мест и бояре.

Царь крикнул воевод, поставленных вождями ополчения.

На середину палаты браво шагнул: Шит-Алей, Давила Ромапович, Михаил Глянский, Курбский, Дагйла Адашев, Серебряный, Иван Шуйский, Алексей Васманов, Бутурлин, Буракин, Заболоцкий и другие.

Они приблизились к царскому трону.

Митрополит поднял руки вверх!

— Воскличайте господу всея земли! Торжествуйте! Веселитесь и пойте! При звуке труб и рога торжествуйте перед царем-господом! Да шумит море и все, что наполняет его! Да рукоплещут реки, да лжкуют горы перед лицом господа, ибо он идет судить землю! Он будет судить вселенную праведно и народы — мудро! Меч правды и силы да будет благословен!

Митрополит умоля, поклонившись царю, затем князю Владимиру Андреевичу и боярам.

Царь и бояре ответили ему низким смиренным поклоном.

— Помните, воеводы! Крепостей не осаждают, промышлять врага в поле. Делайте то, чего хотят ливонские князи. Не щадите врага! Пускай устроятся, восплачутся и потеряют надежды. Ратуйте во славу России, детей и внуков ваших!

Воеводы слушали царя, склонив головы.

После того в палату вошли рыцды в белоснежных, обшитых серебром кафтанах, как на подбор — красавцы-юноши. В руках у каждого было знамя.

Началась церемония вручения знамен полковым воеводам. Каждый воевода, принимая знамя, целовал руку царю и угол полотнища у знамени, а затем вместе со знаменем подходил к митрополиту под благословение.

Над Москвою расплывался грозным гудом мощный благовест соборных кремлевских колоколов.

XII

Герасим, посаженный на землю у ливонского рубежа, быстро обжился там, стал своим человеком.

Вдоль ливонской границы немало разверстано было засечной стражи, переброшенной с южных окраин государства. Зорко охранялись рубежи Московского государства не только от татар по берегам Оки, но и от Литвы, Ливонии и Швеции. Больше всего было рассеяно здесь боярских детей и дворян, вновь испомещенных и щедро одаренных царем, чтоб верно служили.

Именитый воевода, князь Василий Путятин, был назначен головою пограничников.

«Украшенной» знати многое было не по нутру. Ведь здесь приобретался почет только «за усторожливую службу»: превыше всего ставилась сторожевая «справность», а родовое превосходство не пользовалось здесь должным почетом.

Земли, полученные дворянами за военную доблесть, тут почитались достойнее родовых земель.

И многие засечные вельможи вздыхали о том, что по милости батюшки-царя на высшие должности поднимались люди военными и сторожевыми заслугами, а не родом.

Герасиму нарезали участок земли в двадцать пять четей¹.

На рубеже не опасались того, чтобы «не смешать знатных с поповыми и мушкетерскими детьми, и холопами боярскими, и слугами монастырскими», однако, кто познатнее все-таки морсыл держаться в стороне от незнатных, неродовитых станичников, которых звали «севрюками». Овоська Дмитриев был не таков.

Староста того участка засеки, куда был посажен Герасим, сын боярский Еремей Еремеев, оказался тоже человеком простым, из захудалых дворян. Со всеми умел ладить и ко всем у него находилось доброе слово. Раньше он тоже служил кем-то при царском дворе.

Посланный Иваном Васильевичем для смотра «украшенной» службы князь Енгальгичев у многих за «худую службу» на засеках земельные оклады «убавлявал», а в Еремеевской станице многим «прибавлявал».

Один дворянин пожаловался Енгальгичеву, что-де его брат службою равен, а получает больше, что он беден оттого. Енгальгичев проивзвел следствие. Выяснилось: брат этого дворянина охраняет рубежи ревностнее, чем жалобщик.

Енгальгичев заявил при всем станичном съезде:

— Великий государь Иван Васильевич не за бедность верстает дворян землю, а за доблесть в государевой службе. Бедняки пускай просят милостыню, а служилые люди добы-

вают себе благо усердием. А коли ты еще пожалуешься, то мы спишем твою землю на государя.

Луна серебрила большое поле и рощу на холме. Герасим точил копье. Привязанные к частокону кони дремали, низко опустив головы. Мягкая, темная, полуснежная ночь клонила и самого Герасима ко сну. В теплом стеганом тегилеяе да в кольчуге поверх него — словно на пуховой постели.

Догорали последние сучья в костре. Граненый наконечник копья при вращении вскидывал ярче огня — острее не наточишь! Пламя костра золотило сложенную из новеньких бревен сторожевую вышку. Наверху стояла Параша, дочь псковского стрельца. Высокая девушка в теплой, опушенной мехом шубке. Каждый раз, когда Герасим в карауле, она тайком от родителей привозит ему верхом на коне из пограничного стана вареное мясо, хлеб. Он мог бы и сам все это захватывать с собой, когда едет на сторожку, да... лучше пускай она привозит. Недалеко! Да на коне! Да притом же из ее рук вкуснее как-то

Параша смотрела вдаль, где освещенная луной снежная равнина словно колышетя, и словно не снег там, а волнистая поверхность большого-большого озера.

— Слезай, девка, не увидали бы! — позвал ее Герасим.

Да и она сама знает, что надо уходить, — женщине на стороже, да еще у караульного места, быть не полагается. С какою бы радостью она осталась здесь, чтобы быть около Герасима, слушать его сказки, пошевеливая копьём уголья в костре!

— Ты меня топишь? — говорит она, чтобы оттянуть время.

— Полно, Парашка! Не притворяйся! Что вчера отец твой говорил? «Лучше козу иметь на дворе, нежели дочь. Коза по улицам ходит — мяско в дом приносит...»

— Перестань! — замахала на него руками Параша.

— «...а взрослая дочь, — смеясь продолжал Герасим, — если учнет часто из дому исходить, то великий срам и отцу, и матери, и всему роду принесет...»

— Видать, надоела я тебе? Вот и говоришь... и насмехаешься.

— Чего там. Отец бы не приметил. Стыдно мне! Он как перо летает... Не ждешь его, а он тут как тут. И тебе худо придется.

Параша опустила по лесенке вниз. Положила руку на плечо Герасиму.

— С той поры, что у нас ты в стане и как узнала я тебя, мне все думается, будто

¹ Четь — 16—85 четей равнялись 24—125 десятинам земли.

от меня ты что-то скрываешь. Уж не жонат ли ты?

— Христос с тобой! Уймись! Глупая ты, а еще псковская, городская... Ужель не видишь — время-то какое! Может, жив сегодня, а может, завтра меня и не будет... Во Пскове о войне только и разговор.

— Смотри, грешно тебе будет, коли неправду сказываешь! — вздохнула Параша. — И без войны мы тут сегодня живы, а завтра... один господь-бог ведает, что с нами будет... Эх, чем удивил, парень! На берегах царства всегда так... И отцы наши так жили, и деды так жили... Грех роптать! В барской неволе — сам говоришь — куда хуже!

Герасим залюбовался высокою, мужественною стрелецкой дочерью. За ее бесстрашие, любовь, набожность и спокойный ум и полюбил он ее. Еще в детстве, маленькой девочкой, по рассказам людей, она уже была в плену у польских воевод и слышала звон сабель над собою, когда ее отбивали и увозили на коне обратно в крепость... Параша и стреляла, и саблей рубилась, как стрельцы. Выросла в воинских таборах порубежья. А вместе с тем, у кого еще есть на свете такой нежный, закрадывающийся в самую душу голос? У кого есть такие честные, умные глаза? А эти белые, шелковые, такие ласковые руки.

Герасим вздохнул:

— Грех роптать, Параша, правда. Сегодня трава растет, а завтра и ее нет. Так говорят здесь. Помнишь, — впервые ты ко мне сюда пришла, здесь кузнечики стрекотали, трава была, а теперь снег и стужа... И волки воют по ночам... и ветры пригибают колья в засеке, и о войне разговоры, а мы...

Опять усмешка на лице Парашин:

— Когда цветок растет, а с ним играет солнце, думает ли он о снеге? Смешной ты! Не надо думать о том, чего нет, думай о том, что есть... У нас во Пскове, да в Новгороде люди не такие... Жалобиться грех!

Герасим, поднялся с бревна, на котором сидел, схватил копьё. Прислушался. Почудился конский топот. Притаилась и Параша. Нет ничего! Померещилось.

— Ступай... Садись скорее на коня! — шепнул Герасим.

Параша ежится, смотрит на него с улыбкой. Он должен ее обнять.

— Для нас нет снега, нет зимы, а батюшка с матушкой благословят нас... Знаю я, — прошептала она.

Залыгнув за кушак полы шубки, девушка ловко вскочила на коня, хлестнула его и вскоре исчезла из глаз.

Герасим снял шалку, перекрестился, поско-

трел на сигнальные шесты с пучками сена — в порядке ли они — и пошел к коню.

«Неужели ошибся?» — думал Герасим. Он так ясно слышал конский топот. Нет ли и в самом деле кого? Не подстерегает ли кто? Время тревожное. К Пскову каждый день идут толпы воинских людей из Москвы и других городов. Ливония чует беду. Враг хитер и коварен. Змеюю он стелется по земле, незримо ползает в полях и долинах и вдруг коршуном вылетает там, где его меньше всего ждут. А пеньче и вовсе приказ дан — не ждать, когда враг нападет, а самим выходить за рубеж и шарить по ямам и рощам «языки», ловить их и тащить на аркане в засечный стан.

Герасим сел на коня. Крепко сжал копьё, пригнув древяно к стремени, и пересек пограничный ров. Конь сильный, горячий, легко берет всякие препятствия. Царь еще и еще раз строго-настрого приказал воеводам давать станичникам наилучших коней. Воеводы ближних крепостей должны быстро узнавать от гонцов о наступлении врага.

Герасим свято повинуется приказам царя и военачальников. Он полюбил службу. Вот почему люди бегают из барских вотчин сюда, на рубежи Московского государства! Про тех беглецов ведают и сам царь, да не наказывает их. Ходят слухи, что в «городовые казачки» хочет царь обратить порубежную стражу. Вот куда дошло! Никто из засечников, бывших беглых, гулящих людей, не томится в тоске по родной деревне. Умереть в бою, гоня врага от своей земли, самому богу угодно, а помереть под батогами на боярской конюшне — чорту! Теперь даже не верится, чтобы такое существовало. А как хорошо понимаешь, что значит своя, родная земля, сидя на коне у врат государства! Здесь, в ночной тишине, на страже, ясно, как крепко ты связан со своею землею, как дорога она тебе!

Громадная, снежная равнина, залитая лунным светом! Отсюда начинается Ливония. Кажется, что и конь ступает с тем же чувством гордости и сознания своей силы, с каким он, Герасим, повернув коня, смотрит через ров назад, на свою землю, туда, где осталась его вышка, станица, Параша. Ведь там же и Москва, и Андрейка, и храмы, и деревни... Вся Русь там! Сердце трепещет от волнения у Герасима. Он ласково гладит шелковую шею коня, величает его нежными словами, разговаривает с ним, как с человеком.

Параша в раздумьи опустила поводья. Конь пошел тихим шагом вдоль рубежа.

Отец говорит, что не время теперь думать

о замужестве. Но как же не думать, когда не видишься с Герасимом день, а кажется — год. Раньше так не случалось. Люди казались все одинаковыми и во Пскове, и в стане у рубежа. Суетные, хитрые, погруженные в торговлю и богомолье псковские люди. И стар и млад думает только о наживе. В стане служба! Только служба и сплетни! Бедняки... тихие, смиренны, боются слово сказать.

Герасим какой-то иной, не похожий ни на тех, ни на других. На стороже — он думает только о службе, а на отдыхе поет песни, рассказывает сказы о жар-птице, о волшебниках и любит странствовать по окрестным полям и лесам и думать о том, что должно быть впереди... По его словам, жизнь должна быть иной! Какой-то деревенский паренёк, кто он — неизвестно, но он поймает эту жар-птицу, и тогда настанет правда, а кривду забудут в колоду и спустят на дно морское, привязав к ней тяжелый камень. А до моря недалеко, и к морю будет проложен путь.

Говорил он о правде и кривде красиво, и щеки его покрывались румянцем...

Параша знает, что Герасим думает не о себе, а обо всех. И любимая поговорка его: Терпение и труд — все перетрут!» Он так

верит в то, что терпение и труд когда-то должны уничтожить все горести, что и Параша невольно начинает верить в это же.

А на вид суров и смотрит исподлобья, но душа такая, какую могут иметь только честные, добрые люди. И богу он горячо молится с верою. Это главное.

Вот какой человек Герасим! И найдешь ли другого такого? Да и не надо его искать! Судьба сама посылает его ей, Параше. Никого не надо! И отцу и матери он пришелся по сердцу!

С такими мыслями девушка, сама того не замечая, отъехала далеко от дороги, и когда очнулась от своих мыслей, то никак не могла понять, куда она заехала. Вокруг была снежная пустыня да сбоку рвы и бугры.

И вдруг позади раздался шум. Не успела она опомниться, как несколько человек окружили ее, схватили за поводья коня и повели его в соседний овраг. Она начала кричать, хлестать нагайкой приблизившихся к ней людей, но ничто не помогло. Ее стащили с коня, связали... В овраге были другие кони.

Дальше началась бешеная скачка, замелькали кустарники, деревья...

Крепко связанная веревками, переброшенная через седло, Параша потеряла сознание.

К о н е ц п е р в о й ч а с т и

(Продолжение в следующем номере)

Белые мамонты¹

ХII. ГЕРОИЧЕСКОЕ ИМЯ

Этo был ответственный день: надо было во что бы то ни стало решить судьбу гражданского узла сопротивления. Весь день шел бой с переменным успехом. Наконец назначена последняя решающая атака.

— Танкисты, не подведите! С вами пойдут и на вас будут смотреть с земли и с неба тысячи глаз! — ободряюще сказал бойцам начальник танковых войск т. Вершинин.

В разгар боя, когда головные машины с пехотой, посаженной на них, уже рвали первую линию проволочных заграждений, нас атаковала со стороны солнца большая группа вражеской авиации. То были штурмовики и истребители, но все с боевой нагрузкой.

От убийственного шуметного огня истребителей и осколков разрывающихся бомб редели первые ряды нашей атакующей пехоты, на танках все меньше становилось десантников-пехотинцев. Еще новые заходы истребителей — и всей атаке грозил бы провал.

Именно в этот-то момент в строй немецких самолетов врезалась парочка наших «истребков». Они ворвались сюда, как соколы в стаю ворон, бросаясь вправо и влево, учиняя в небе великий хаос. Небо кипело и ревело от огня пушек и моторов. Всей туче стервятников было уже не до земли. Надо было в высь заниматься каждому своей шкуркой.

Этим воспользовались пехота и танкисты, чтобы со все возрастающим темпом продолжать атаку на врага.

— Горит! Горит! — истошно закричали вдруг со всех сторон не то встревоженные, не то обрадованные бойцы.

— Горит!! — торжественно закричал кто-то, и все увидели, как зажженный фашистский самолет, перевернувшись в воздухе, мелькнул крестами на плоскостях и свастикой на руле поворота...

Краснозвездные «истребки» буквально

бесповались в небо, превращая его в ад для фашистов.

Закрывались в воздухе одна за другой еще две вражеские машины, с трудом планируя на свои позиции. Но вот подбит один из наших самолетов. Он отваливает в сторону и спокойно, не снижаясь, идет к себе в тыл.

— Один, один остался, а их-то, сволочей, семерка целая! — кричит кто-то с тревогой.

В это время на земле, на самом гребне вражеской обороны, шла смертельная схватка. Танки КВ, проутюжив вдоль и поперек ряды проволочных заграждений и освободив дорогу пехоте, пробили вражеские ДОУы и противотанковую артиллерию. Со всех сторон разносилось могучее «ура» бойцов, ворвавшихся в узел сопротивления.

А в небе в это время — трагическая картина: один против семи. Советский сокол крутил их вокруг себя еще несколько минут. Под радостное «ура» снизу он бил еще одного «Мессершмитта». И вдруг радостные крики оборвались: смертельно раненный сокол стал камнем падать вниз все быстрее и быстрее...

Расширились тысячи глаз, взметнулись тысячи рук — люди хотели поддержать падающую машину.

Войска уже целиком владели так называемым «недоступным» узлом сопротивления. Благодарили летчиков, во-время подоспевших в атаку и выгрузивших всю боевую операцию, с великой горестью вспоминали трагический конец героя-истребителя. Но никто не знал его имени.

Часом позже узнали: безвестный летчик, павший смертью героя на глазах у тысячи советских воинов, — сын знаменитого полководца Красной Армии, лейтенант Тимур Михайлович Фрунзе.

В глазах танкистов, этих суровых и таких же бесстрашных, как Тимур, людей, блеснули слезы. Мы, бойцы и командиры с машин КВ, потеряли не только героя, но и родного, близкого нам, друга.

¹ См. «Октябрь», № 3—4, 1942 г.

— Таня Фрунзе, там, на заводе... Как переживет она все это? — сокрушенно проговорил механик Кнутов.

— Она нас провожала с завода... Он нас провожал в бою... — взволнованно прозвучал чей-то голос.

Астахов встал с пенечка, спял черный кожаный шлем. Встали и обнажили головы все танкисты.

Клятву — беспощадно мстить фашистам за смерть Тимура, воевать с врагами так же, как воевал герой Тимур и его отец Михаил Васильевич Фрунзе, — произносит Астахов.

— Клянемся! — гутло раздалось в ответ.

Комиссар батальона Ткаченко предлагает одному из танков КВ дать в память о герое славное имя Тимура Фрунзе.

Экипажи паперобой просят присвоить им это имя.

— Нет, это имя получит только та машина, которая будет, по примеру Тимура, всех смелее, всех беспощаднее уничтожать фашистов.

Так началось соревнование за героическое имя.

ХИ. СТАРАЯ РУССА

Два древних города, как два родных брата, стоят по обе стороны голубого Ильмень-озера: Старая Русса и Новгород. Белье зимние поля, снежные холмы — многое поведала эта земля на своем многовековом историческом пути. Здесь шумела погородская воляница, развевались знамена в кровавых битвах с захватчиками-иноземцами. Гул исторических схваток как бы звучит еще среди этих полей. Древняя Россия! Великая, непобедимая, вечно молодая!

Город Русса в руках у немцев. С наших позиций он виден отчетливо: недавним пятидесятикилометровым броском через замерзшее озеро Ильмень и его притоки — подлинный ледовый поход сквозь метель, глубокие снега, под свирепым ветром — мы подошли к городу вплотную, очутились под самыми его стенами. Сейчас наши войска заняты своеобразной «чистой» окружающей деревень от фашистов — планомерной, ежедневной, неустанной. Немало немецких офицеров и солдат «вычищены» из советских деревень, да так, что никогда не увидят они больше белого света. Имеется здесь и дивизия эсэсовских головорезов «Мертвая голова». Вполне оправдывает свое название, особенно после каждой встречи с нами.

Из трехсот населенных пунктов Старорусского района нашими войсками с придалными им танками освобождено уже более половины. Лыжные отряды совместно с партизанами перерезали многие питательные железнодорожные и шоссеиные магистрали, идущие с запа-

да к Старой Руссе. Один из лыжных отрядов ворвался на окраину города в лагерь военнопленных и освободил несколько сот человек. Здесь были и военные и гражданские люди.

Освобожденные пленные прихватили с собой пемещного лагерного жандарма. Вот он сидит перед нами — долговязый, небритый, весь от макушки до сапог покрытый какой-то рыжей ледяной коркой.

— Что это за корка такая?

— А огуречный рассол, — словоохотно отвечает один из пленных, — он от нас в бочку с рассолом спрячется... Мы его вытянули, пока привели, подмерз.

Оказывается, услышав автоматные очереди лыжного батальона, пленные, не дожидаясь освобождения, подняли восстание. Выломали двери барачков, выбежали наружу. Жандармы пустились наутек. Рядом был интендантский склад, и жандармы прятались в пустые бочки, кадушки и солонными огурками. Пленные находили их здесь. Месяцы страшной жизни в плену, побоев, мучений, издевательств оказали свое влияние: дорвавшись до своих мучителей, люди стали истреблять жандармов. Только один уцелел. Его вытащили из бочки с рассолом и привели к нам. Теперь он сидит в углу, подобострастно и испуганно глядя на окружающих.

— Пусть скажет спасибо, что не засолили, — закапчивает боец под обидный смех.

Рассказ следует за рассказом, — каждому хочется поведать о своих муках. Вот Войтов Никита — худощавый дядька, с хриплым голосом, длинной бородой и усами. На вид ему не менее четырех десятков. Но Войтов — хлопец двадцати лет. Немецкий плен каждый месяц старит человека на пять лет. Хорошо, если только старит: люди умирают сотнями. Непотопленные землянки, голод...

— В декабре, — рассказывает Войтов, — повезли нас несколько сот человек на работу в Дно. Мороз лютойщий. Посадили голышом на открытые платформы. Говорим переводчику: «Замерзнем, ведь голые». Смеется, паразит: «Не сдохнете, голым работать легче, а сдохнете, тоже не беда!»

Едем. Ну, от мороза и ветра стал, конечно, народ коченеть. Падают с ног — кто на платформу, а кто и совсем под вагоны. Там охрана пристреливала.

Пленные отомстили жандармам сполна.

Пути снабжения старорусского немецкого гарнизона перерезаны нами со многих сторон. Гитлеровцам здесь с каждым днем становится все тяжелей физически и морально.

Этому немало способствуют партизаны. Из небольшой группы, ядра районного актива, действовавшей в Старорусском районе с первых дней вторжения немцев, выросли крупные

отряды, среди которых знаменитый отряд «Ивана Грозного». Перед ним немцы испытывают почти мистический страх. Только за последний месяц в городе и пригородах истреблено партизанами 196 фашистов, 23 автомашины, со снарядами, один штабной автобус, сбит один бомбардировщик, взорвано три железнодорожных моста и два склада. Партизанам и Красной Армии всемерно помогают жители самой Руссы и всего района.

Горожане и колхозники не склонили свои головы перед немецкими оккупантами. Когда фашисты объявили набор добровольцев для поездки «на полгода» на работу в Германию, то ни один человек не откликнулся на призыв. Тогда властями «добровольности» взялись за кнут. Сигнали насильно людей, погнали под стражей. Началось бегство: «добровольцы», удирали как кто мог и куда мог. Немало новых бойцов дал этот «набор» партизанским отрядам!

В городе, рядом с комендатурой, находится городская управа с белогвардейцем Быковым во главе.

— Долговязый такой, рыжий, сплопявый, худой, в новом, совсем непошном костюме, — так рисуют городского голову жители, бежавшие от немцев.

— Пришел я как-то к нему, — рассказывает гражданин Филиппов, — окажите, мол, медицинскую помощь, пострадал от взрыва.

— Где, от какого взрыва? — спрашивает.

— Да, — говорю, — господа немцы, их баловали, в одном месте гуляли, баловались, решили пошутить да и вынул из окна в прохожих гранату. Осколок в меня и угодил.

— Что, — говорит, — ты действия господ офицеров осуждаешь? Ты критиком захотел? Вон отсюда!

— Так я и залиывал свои раны, как собака. Во всем городе немцы открыли только одну амбулаторию, да и то платную: десять марок прием, а самая крупная зарплата в городе тридцать марок в месяц...

Ни одна школа в городе и районе не работает. Учителям под угрозой расстрела было приказано сжечь все до единого произведения русских классиков. Потом к русским присовокупили мировых и даже немецких классиков — все в огонь!

Специальными афишами немцы объявили: Старая Русса — исконный немецкий город.

Желая, видимо, придать городу «немецкий» облик, гитлеровцы загнали скот в древний красивый старорусский собор, повесили на перекрестках главных улиц трупы замученных ими людей, открыли дома терпимости, куда силой затаскивали женщин и девочек-подростков. Да, после всего этого вид у города стал действительно немецким!

Впрочем, даже гитлеровские воротилы стали несколько ступиш от подобного онемечивания. Оказалось, что в городе за время немецкой оккупации заболело венерическими болезнями двадцать процентов всех женщин, загнанных немцами под угрозы расстрела в дома терпимости. Приказ, объявивший это, не отрицает, что болезнь занесена немецкими офицерами и солдатами. Приказ обращается к большим солдатам с настоятельным советом не пасивать женщин. Забота о населении? Нет, о самих себе! «Один больной солдат может сделать больными десятки других...»

Висит объявление: «При рождении девятого живого ребенка или седьмого сына родители имеют право выбрать в крестные Адольфа Гитлера или имперского маршала Германа Геринга».

А рядом на улице повешены две беременные женщины — Нилова и Войцова. Тут же висит третья женщина — Прокофьева, после которой осталось четверо маленьких ребят. За что повешены эти женщины? Так, для острастки.

Так для острастки расстреляли гражданина Смелова, а его двухлетнего сынишку оставили на морозе умирать. Мальчугана подобрали партизаны, оттерли снегом ручки и ножки, взяли к себе в приемный.

Казням и издевательствам нет конца. На улицах и площадях трупы повешенных, покачивающиеся на зпимем ветру. Кто эти несчастные люди? Какие преступления они совершили?

Один защищал свою жену от немецкого офицера. На виселицу! Другого сочли партизаном за то, что он случайно оказался рядом, когда партизаны обстреляли немецкий патруль. На виселицу!

Так жмлет население Руссы. Оно ненавидит захватчиков. Оно страстно ждет того часа, когда над городом снова взвевется красное знамя, когда предатели, мучители, палачи получат по заслугам и придет расплата за каждую пролитую слезу, за каждую каплю невинной крови.

Город от немецких грабителей совершенно обнищал и изголодался. Никаких магазинов, рынков нет и в помине. Двести граммов хлеба на несколько дней — вот паек. Среди населения участились заболевания. Тифозных немцы расстреливают или заставляют идти пешком через линию фронта: несите, мол, заразу советским войскам!

Акты вредительства и саботажа разлагают немецкий тыл. В результате народных диверсий на железных дорогах и на станциях города не проходит дня без катастрофы, аварии. Горят казармы, заселенные немцами. Недавно загорелся четырехэтажный дом тайной полевой полиции — сразу с четырех сторон Сто-

рели все документы, да, кстати, изжарилось четыре десятка матерых фашистов.

Трижды меняли немцы местоположение своего аэродрома в Старой Руссе, и каждый раз он разрушался нашей авиацией: цель была указана друзьями снизу. Этим же способом были уничтожены три склада с горючим и один склад с боеприпасами.

Придите по улицам. Вы увидите группу людей возле немецкого объявления. Подойдите поближе. Рядом с немецким приказом наклеена подпольная газета старорусского райкома партии «Трибуна». Именно ее-то и читают горожане. Приблизится полицейский — переводит глаза на объявление. Вот и поймай их за чтением не дозволенной литературы! «Мы немецкий приказ читаем!..»

Немцы до того обесилили в борьбе с уловками расклеивщиков «Трибуны», что даже собственные свои объявления стали печатать на листках со штампом «Трибуна». Может быть, мол, это привлечет читателей к объявлениям? Не привлекает.

XIV. ТАНКИ ПРОТИВ ТАНКОВ

В батальон прибыл полковник Катенин. Борнастый, добродушный, решительный.

Полковника знали все: командиры по давней совместной службе в танковых войсках, бойцы по участию с ним во всех самых сложных недавних боевых операциях.

— Полковник приехал! — заговорили сразу по экипажам. — Веселое дело привез, наверное.

Тов. Катенин, собрав в лесочке командный состав, сообщил:

— Противник подбросил на наш участок фронта танковые части. Собирается совершить прорыв, задача — не допустить прорыва, вступить в бой, преградить путь немецким танкам...

Лица танкистов заспали. В глазах — огоньки задора и буйного нетерпения. Еще бы: бой с танками — это же настоящее дело пришло. Батальон, правда, и без того непрерывно в боях с вражеской пехотой, артиллерией, даже авиадесантами, но с танками, с тяжелыми танками немцев — первая встреча.

— Вот померяемся силой.

Подготовка к предстоящему танковому бою развернулась в экипажах, как к самому большому празднику, но старший лейтенант Астахов был в огорчении: два танка из его пятерки проходили сейчас полевой ремонт. Ремонтировалась и машина самого Астахова, получившая до сотни вмятин в броню от немецких снарядов.

И Астахов и экипажи ремонтирующихся машин досадовали, понесли немцев на чем свет стоит за то, что те не подождали окончания ремонта.

Астахов окончательно расстроился. Выскакивать из танка кого-нибудь из командиров машин и самому сесть на это место ему не хотелось. Не участвовать в бою он считал пределом позора.

— Вот что, Астахов, — подметив его настроение, сказал командир батальона, — будешь руководить боем танков с земли — с ближайшего к полю боя командного пункта пехотного начальника.

Астахов повеселел. В нем заговорил бывший пехотинец — командир роты. Уж тут он сумеет бросить танкистов в помощь пехоте в самый нужный момент, на самом нужном месте.

...Пять часов тридцать минут утра. Темно-синее, почти ночное, небо еще мерцало стайками серебрястых звезд. На запад уходил полный диск затухающей под утро луны. Воздух был чистый и морозный, но уже с привкусом наступающей весны. В нем плавал запах оттаивающей в полдни сосновой смолы.

Скрываясь в небольшом леске, танкисты прогревали машины, жадно вдыхая после бензинового перегара этот здоровый лесной воздух. Все машины, разбитые на группы и занявшие исходные пункты для своих действий, были готовы к бою.

В пять часов тридцать пять минут с запада послышался завывающий, знакомый гул немецких бомбардировщиков. Бомбежка рубежей — предвестник вражеского наступления. Гул нарастал все больше и больше. Вот уже над нами громадная стая желтокрылых, чернопузых машин. Они строятся в круг для пикирования. Сейчас развернутся их черные утробы, и оттуда вывалится смертоносный груз. Но куда еще попадет этот груз?

Вот жаль только, что небо они малость прикрыли своими погаными хвостами и крыльями. Утреннее веселенькие звездочки, казалось, затухали, заслоняемые их силуэтами.

Первый, второй, третий самолеты, сделал последний разворот в небе, с визгом пикируют на окраину нашего леса. Десяток оглушающих взрывов... Ждем следующих... Но... уже нет ни взрывов, ни пикировщиков. На воздушную банду напала внезапно группа наших истребителей и увлекла их куда-то в сторону.

И небо, минутой назад опоганенное грязно-желтыми силуэтами фашистских «Юнкерсов», сразу чище стало, и звездочки продолжали радовать нас ласковым мерцанием.

С командного пункта поступило приказание полковника Катенина продвинуться своими маршрутами на несколько сот метров вперед, приготовиться контратаковать противника.

Наши летчики не дали фашистской авиации произвести необходимую обработку намеченного для прорыва участка. Теперь это

захотела выполнить их артиллерия. Прикрываясь ее огнем, на нашу линию обороны двинулась большими массами вражеская пехота. До слуха сквозь треск пулеметов и разрывы снарядов донеслось глухое рычание танковых моторов.

— Ага, пошли и поросята немецкие, — подшучивает водитель Константинов. — Сейчас поджарим, дайте только вырваться.

Опытное ухо Константинова определило, что танков противника всего с полдесятка и что все они имеют средний и тяжелый вес.

Астахов, получив в свое подчинение группу танков, безотлучно находился с командиром стрелкового батальона. Время от времени он сформировал свою группу о ходе операции.

Превосходящим силам противника удалось потеснить наши войска на одном участке и даже занять одну деревню. От деревни, впрочем, давным-давно осталось одно название. Все дома и постройки уничтожены огнем. Но рядом был узел дорог, через который могли бы ринуться немецкие войска для развития успеха по прорыву. Этот узел и подступы к нему полковник Катенин и считал важнейшим участком, за который должны постоять прежде всего танкисты.

Из глубины немецкого тыла вынырнули и помчались к деревне шесть немецких средних и тяжелых танков. Через деревню — путь к узлу дорог.

— Пора, — решает полковник и, обменявшись многозначительным взглядом с командиром соединения, отдает приказание: — Группе Лукьянова совместно с пехотой атаковать деревню, встретить танки.

Слева взрвали моторы — наша пехота пошла в атаку на деревню, ее поддерживало шесть бронированных крепостей.

Загорелся жестокий бой. Немцы ни за что не хотели отдавать только что захваченный участок. Но нашим машинам нещадно били противотанковые пушки и минометы, с гранатами бросались солдаты — истребители танков. Однако нашего продвижения вперед они не сумели остановить. Бой перешел уже в самую деревню, а немецкие танки, стоящие позади нее, чего-то еще раздумывали, не решались вклиниваться в самое пекло боя.

— Момент, черти, ловят! — восклицает Катенин и попутно бросает сигнальсту: — Передать Азобкову и Астахову, пусть не нервничают. Что у них там за вспышки какие-то? Будет момент, будет приказ, тогда и двинутся.

Азобков и Астахов командовали группами тяжелых танков и сидели в засадах, готовые в любой момент броситься на помощь другим танкам.

Гранатами и штыками, с громогласным, прорывающим все поле «ура» наши стрелковые батальоны вышибали немцев из деревни. Для фашистских танков это и был, очевидно, требующий момент: разбившись пополам, они ринулись в обхват деревни, стремясь или зажать клещами все находящееся в ней или прорваться таким путем на узел дорог. Танки Лукьянова заметили маневр и, тоже разбившись пополам, бросились наперерез немцам, открыв фланговый огонь с хода. И вот столкнулись в двух местах по две тройки. Силы равные, но уже с первых выстрелов успех был на нашей стороне: две немецкие машины на полном ходу загорелись, двум подбиты гусеницы, а остальные две постарались быстрее удрать обратно. У нас потерян один танк.

— Ну что же — пока молодцы, — удовлетворенно сказал Катенин.

Позже ему пришлось снова повторить свою похвалу, так как пехотные командиры сообщили, что именно танки помогли им окончательно зажать деревню и что при этом танки подавили огнем и гусеницами девять немецких пушек.

Бой, между тем, не затихал... Атаки и контратаки по прерывались и с той и с другой стороны.

Но вот Астахов сообщает:

— Нас обходят восемь немецких танков.

С командного пушка летит приказание командиру танковой группы Шляпникову:

— Вступить в бой!

У Шляпникова тоже восемь танков. Второй раз сегодня одинаковое соотношение сил. Но у Астахова, благодаря очень близкому общению с пехотой и ее разведкой, новые данные.

— С запада в пяти — семи километрах замечено движение большой группы танков.

Катенин обеспокоен. Он торопливо переводит глаза с карты на местность, с местности на карту. «Эшелонируют, дьяволы, не пускают все сразу. Похоже это на них», — размышляет полковник.

— Ладно, будем бить пошелонно!

Приказание Азобкову: как только вступят в бой восьмерки, ударить по немцам с фланга. Приказание Астахову: заткнуть дорогу, выбросить всю группу туда, задержать подход третьей танковой группы немцев.

На поле с каждой минутой нарастал гул моторов пока еще невидимых машин. Визит артиллерия, рвались снаряды. Но вот смешалось все сразу. На открытом месте на срезе одной из высот появились клином, как журавли на небе, восемь немецких танков. Они на предельных скоростях атаковали нашу пехоту. Но их самки атаковать прямо в лоб выскочили наши танки. Стремительное и яростное сближение! По секундам, точно соломинка, на огне, тает расстояние между про-

тивникам, стремящимися как будто взять друг друга на таран. Немцы не выдержали, остановились. С двухсот метров они дали общий залп. Этот залп и был началом самого ожесточенного танкового боя. Началась сплошная пальба. Отдельные машины пытались маневрировать. Дым из пушек, дым из выхлопных труб завлакивал поле боя. Не поймешь, где свои, где немцы. Танковое сражение затмило все окружающее.

На поле почти не чувствовался общевойсковой бой, а только бой танков — бронированных соперников.

Нужно было одно — поскорее, в самый кратчайший срок, смять фашистскую вошь мерку. В успехе никто не сомневался, но нужно было сделать это скорее, пока Астахов сдерживает на лесной дороге основную немецкую танковую группу.

Теперь стало понятно, почему не держали больше в засаде тройку КВ Азобкова. Могли бы справиться восемь на восемь, но было дорожное время. КВ обрушились на стаю немецких машин. Четыре немецких танка запылали ярким факелом на глазах у наших наступающих пехотинцев, которые приветствовали победу восторженными криками на все поле, со всех сторон. Остальные четыре вражеских танка пустились наутек, но их постигли и подорвали наши снаряды. У нас подбито два средних танка, все остальные готовы продолжать бой.

Однако продолжать его не пришлось. Шестнадцать немецких машин, шедших в третьей колонне, натолкнулись по дороге на заслон Астахова. У Астахова было всего три машины, у немцев в пять раз больше. Одним КВ, вместо раненого Чиликина, командовал Мащев, бывший красноармеец-артиллерист в танке комиссара, ныне лейтенант.

— Товарищ Мащев, — сказал перед выходом из засады старший лейтенант Астахов, — будешь командовать танком кинжального действия. Помнишь, как лупил с Чиликиным противотанковые пушки? Теперь вот будешь стоять на дороге и жечь в лоб немецкие танки. Умрешь, но не сойдешь с места.

— Есть не сойти с места! — ответил Мащев и отправился со своим экипажем (Большунов, Мещаничков, Клутов, Пыпа) занимать это почетное место.

...Когда на поле за спиной у Мащева происходил танковый бой, он действительно, как кинжалом, разил головные машины третьей немецкой танковой группы, пытавшейся прорваться к полю боя. Подбитые вражеские машины загородили дорогу своим же войскам. Обозленные фашисты выкатили против Мащева два противотанковых орудия. Но танк, как могучая крепость, стоял непоколебимо — не отступал насад, не прекращал губительного

огня. Храбрецов-танкистов немцы пытались взять даже пехотой, но ее разогнали два танка-малютки, приданные танку КВ специально для прикрытия.

Новая серия противотанковых снарядов обрушивается на героическую машину. Механик Клутов был оглушен страшным разрывом над самым его лбом. Он попробовал выплунуть в щель и тут же что есть силы закричал командир танка:

— Стой! Не стреляй! Пушка пробита!

Один из вражеских снарядов угодил в самый срез пушки и промял ее. Сделай танкисты еще один выстрел, и снаряд разорвался бы в стволе пушки, вызвав гибель и машины и экипажа.

«Плохие дела», — огорченно подумал командир танка. Продолжали драться с немцами из пулеметов.

Вскоре на помощь Мащеву подошли другие танки, но немцы уже откатывались от места боя далеко назад.

...У танка-крепости, кроме испорченного орудия, оказались разбитыми три катки. Мы пытаемся пересчитать вмятины в броне от немецких снарядов, — их несколько десятков. Снаряды вгрызались в советскую броню самое большее на сантиметр, но пробить ее насквозь были бессильны.

— Да, братец, тяжелый у тебя случай, — сочувственно произнес кто-то из товарищей.

— Танк без пушки не танк, а колода, — добавил другой голос.

Машина таким образом выбыла из строя. Ей нужен заводской ремонт — замена пушки. Мащев продолжал крепко ругать немцев, а сам все ходил и ходил вокруг машины, пристально вглядываясь в изуродованный ствол. Затем начал какие-то измерения, вычисления, вызванные, видимо, единственной мыслью: как заставить танк продолжать участвовать в боях.

Все знали: по изобретательности Мащев — второй Дормидонтов. Что-нибудь да придумает. И вот Мащев перед командиром роты Астаховым:

— Товарищ старший лейтенант, разрешите отпилить у лупки конец ствола на двадцать два сантиметра. Будет стрелять, и на завод отправлять не надо.

— Это идея! — сразу же по достоинству оценил предложение Астахов.

Бывшему артиллеристу Мащеву нетрудно было рассчитать, что танк и с укороченным стволом сможет разить противника на самых дальних для него дистанциях. Старший лейтенант Астахов и сам прекрасно понимал это.

Танк отвели в тыл. Пока ремонтная бригада меняла катки, Мащев, раздобыв ножовку, принялся отпиливать поврежденный конец ствола.

Двенадцать часов без перерыва работали танкисты. На раскаляемые пожовки беспрестанно лили мыльную воду. По очереди отдыхали, ели, но ни на минуту не прекращали пилжл.

На следующий день танк Мащевца вместе с другими снова отправился в бой и продолжал метко разить фашистов, на этот раз из пушки-обреза. Экипаж подбил в этот день тяжелый танк и танкетку противника, увеличив также число уничтоженных за эти два дня немцев. А всего на нашем участке фронта лежало две тысячи пятьсот фашистских трупов.

XV. «ТРОФЕИ»

Танки БВ ворвались в деревню. Кругом раздавалась ружейная пальба, пулеметный треск, гранатные взрывы. Две или три хаты в середине деревни, подожженной отступающими немцами, пылали яркими кострами. Гигантские языки пламени, раскачиваемые порывистым ветром, слезывали тяжелый иней с соседних тополей.

Командир танка Калининцев, мчась мимо горящих хат, на секунду подумал: «Самих бы немцев поставить сюда вместо тополей, чтоб целовались с огнем, пока глаза не лопнут...»

Но это только на миг. Глаза командира снова устремлены вперед, вдоль задымленной улицы, в закоулки, где продолжали пшырять и сопротивляться упорные фрицы. То и дело он подавал водителю Дормидонтову команду: «Стоп! Стреляю!» И тут же посылая снаряд под угол какого-нибудь каменного погребца, где укрылись немцы. Меткое попадание — и погреб уже не погреб, а могила для его обитателей.

Машины летят... Распаленные боевым азартом экипажи ничего не видят, кроме замахи-вающих на них гранатометчиков, стреляющих противотанковых пушек, которые надо давить и давить без устали и пощады...

И вдруг среди этого бурлящего моря огня и смерти водитель Дормидонтов увидел мечущегося от хаты к хате громадного пса. Это был большой, красивый, с рыжим отливом пойнтер. Он, как затравленный, бросался то к пустым избам, то к пробегавшим мимо него обезумевшим немцам.

— Вот он у меня сейчас прыгнет лапками вверх! — выкрикивает стрелок-радист Шишов, прильнув к пулемету.

— Да ты что, очумел? Это же собака, а не фашист, — сердито ткнул Шишова в бок Дормидонтов.

На миг Шишов замедлил спуск курка, а раздавшаяся затем звонкая очередь припшлась

как раз по двум немецким гранатометчикам, выскочившим из-за угла дома.

— Вот твои собаки, по ним и целся всегда, — не отрываясь от смотровой щели, весело бросил Шишов Дормидонтов.

Бой на улице заметно стихал, а рыжий пес все еще бегал по деревне, обнюхивая трупы убитых немцев. Он потерял своего хозяина.

Бой затих. Деревня была напса. Дормидонтов при первой же возможности попросился у командира машины «сходить посмотреть собачку».

Не прошло и двадцати минут, как на пороге хаты, где мы расположились, появился Дормидонтов с покорно сопровождающим его рыжим псом. Танкисты подняли веселый галдеж:

— Где это такого пленника подхватил? Ай да Женька!

— А ну «Фриц», «Фриц», иди сюда!

— «Рыжий», дай лапу, подними лапу!

Чистокровный пойнтер, несмотря на ярко выраженную в его теле громадную силу, как-то трусливо поведет во все стороны глазами, будто он и в самом деле чувствовал себя пленником.

Неведомо чем обольстил его на улице Дормидонтов, только пес невольно жался сейчас к ногам Евгения, доставая головой до самого его пояса и подозрительно озпяясь на всех остальных.

Дормидонтов погладил собаку рукой и пригласил знаком сесть рядом с собой. Пойнтер послушно сел, но еще был в тревожном состоянии. Он вздрагивал от времени до времени всем своим мускулистым гладкошерстным телом, большая его голова рывком поворачивалась в сторону шума, раздававшегося из толпы. Отвисшие уши чуть приподымались, а громадная пасть обнажала сверкающие белой эмалью острые клыки. Хорошо откорюченный, гладкий пес весь лоснился от кончиков ушей до кончика хвоста. Умные коричневые глаза его все еще выражали испуг и тревогу.

— Собака, ребята, немецкая. Вот номер и надпись на ошейнике, — проговорил Дормидонтов.

Все уже успели заметить на собачьей шее белый медальончик в форме щитка со штампованным номером и надписью.

— Офицера какого-нибудь, — заметил кто-то.

— Не иначе, — согласился Константинов. — Валяется где-нибудь в подворотне, собака поганая, а благородный пес его вот греется вместе с нами.

Все рассмеялись.

— Да, но я его спас от смерти. Шишов же хотел утробить его вместе со всеми собаками.

Танкисты с упрёком посмотрели на Шипова:

— И как же тебе не стыдно, Шипов? Такую хорошую собачку и вдруг с фашистами сражнял...

— Так вот, ребята,— продолжал Дормидонтов,— за собакой буду ухаживать я. Командир уже разрешил держать ее в батальоне.

— Тогда дадим ей кличку,— предложил кто-то, и со всех сторон, как дождь, посыпались предложения:

— «Фашист», «Бандит», «Адольф», «Гитлер», «Гейбельс»,— и еще ворох имен в этом роде.

— Пет, ребята, это все не годится,— перебил друзей Дормидонтов, в его слепых глазах замелькали веселые искорки. Притворно серьезным и упрёкающим тоном он протянул: — Товарищи! Ну, разве к лицу собаке носить такое имя? Это же оскорбление для нас.

Громкий взрыв хохота покрыл слова Дормидонтова.

— Так как же нам ее назвать?— забеспокоились танкисты.

— Знаете, как назовем?— заговорил опять Евгений. — Она ведь вместе с другим немецким имуществом нами завоевана. Это наш трофей. Так давайте и назовем ее «Трофей».

— «Трофей», «Трофей»,— затараторили ребята, и всем сразу очень понравилось это имя.

...С того памятного зимнего дня, когда пес попался к нам в плен, минуло несколько месяцев. Трофей безотлучно в батальоне. Он быстро привык к своей новой кличке, очень сдружился с Дормидонтовым и страшно скучал без него во втором эшелоне, когда тот был занят в боях.

Танкисты полюбили Трофея, и Трофей любил их. Всем нравилось, что пес никогда не приставал и не просил ни у кого пищи, пока не наступало время обеда или ужина по распорядку. Когда наступал обед, Трофей стравлялся со своим хозяином к полевой кухне и там ел что дадут из своего жестяного тазика. Когда Евгения не бывало, Трофей ходил на кухню один, и шовар угощал его обедом.

Пес не ел хлеб даром. Когда очередное подразделение танкистов отправлялось в караул, им неизменно сопутствовал Трофей. Оставаясь с часовым, он бегал вокруг танков, заглядывая под них, удалялся на небольшие расстояния в сторону, пригнувшись, прислушивался, нет ли кого постороннего...

— Службистая собака,— хвалили танкисты.

— А что если она у тебя с шоста к своим, к немцам, убежит?— подтрунил раз кто-то

над Дормидонтовым, и это заставило Евгения серьезно и глубоко задуматься.

«Надо приручить собаку покрепче»,— рассудил про себя Дормидонтов и стал усерднее дрессировать Трофея.

Трофей научился таскать из роты во второй эшелон донесения, переносил в зубах пулеметный диск, обернутый в тряпку, носил за ремень автомат.

— А вот за обедом тебе его не послать! Не вытерпит — съест дорогой,— ехидничали ребята.

Привязанность и преданность Трофея к своему новому хозяину росли с каждым днем. Уезжая в бой, Евгений нежно прощался с другом: жал ему лапу, трепал по шерsti, клал в рот кусок сахара. Когда все пять танков KB одновременно возвращались из боя и подходили к своей базе, Трофей срывался с места и безошибочно мчался к танку Дормидонтова.

— Трофейчик, милый мой, полезай сюда,— ласково обращался из люка Дормидонтов, заглушив машину.

Трофей одним махом прыгал на танк, просовывал морду в люк и нежно терся там о шлем и чумазое, почти неузнаваемое лицо своего друга и хозяина.

Когда однажды ребята снова подшутили над Дормидонтовым пасчет посылки Трофея за обедом, Евгений решительно заявил:

— Сейчас же посылаю. Через десять минут будет здесь.

Среди танкистов поднялся великий спор: принесет или съест?

Дормидонтов дал Трофею в зубы котелок и указал в сторону кухни, находившейся за километр в лесу. По команде «пошел!» Трофей только вильнул хвостом и мгновенно исчез в лесной чаще. Ребята, которые сами должны были отправляться на обед, с захватывающим нетерпением ждали возвращения собаки.

И вот на опушку леса резво выскочил Трофей. Подбежав к Дормидонтову, он покорно поставил у его ног котелок с мясной гречневой кашей, прикрытой пергаментной бумагой.

— Что я вам говорил!— торжествовал Дормидонтов.

— Bravo, bravo, Женька! Bravo, Трофей!— восторгались ребята и с веселым говором и смехом отправились на обед.

...День ото дня бой становились все ожесточенней. Иногда танк Дормидонтова не возвращался на базу по два-три дня подряд, и тогда изнывающий от тоски Трофей не находил себе места. Он уже делал несколько попыток убежать на передовые линии, но, обнаружив нигде следов своего хозяина, скучный и голодный, возвращался обратно.

Был, однако, случай, когда неутомному Трофею удалось по следам танков прорваться на поле боя. В это время наши танки дрались с танками немцев.

Все танкисты заметили Трофея, видели, как он залутался от взрывов среди машин и, наконец, убежал в сторону немцев.

Пять дней пропадали Трофей, и все считали его погибшим или (чего Дормидонтов ни за что не хотел слушать) перебежавшим к немцам. Дормидонтов переживал это как большое горе. Он не верил, что Трофей ему изменил, Трофей, наверное, погиб...

Как бы ни хотелось ребятам использовать придуманную шутку «о Трофее-перебежчике», они из уважения к Евгению не высказывали ее.

И вдруг по батальону проносится радостная весть: «Трофей вернулся!»

Дормидонтов первым выскочил из блиндажа, чтобы скорее увидеть любимца. Трофей прибрел весь грязный, осунувшийся, прихрамывающий на одну ногу. Все лапы у него были окровавлены, покрыты мелкими осколками, очевидно, от осколков весеннего льда, в который он проваливался во время своего путешествия.

— Мой бедный Трофейчик, — чуть не со слезами на глазах обнял за шею своего друга Дормидонтов.

Жалобно скуля, Трофей вилял хвостом и плотно-плотно прижимался к хозяину.

Шишов первый решил разразиться упреком по адресу Трофея.

— Ага, собачий сын, не сладко пришлось тебе у старых хозяев! Пришел голодный, как немец. Это тебе не прежнее время. Вот не будешь удирать больше.

— Как еще эти собаки не съели его, бедного, — сокрушено добавил кто-то.

— Значит, пес совсем от них отшеллся, раз не захотел больше водить с ними компанию, — заметил Константинов.

Через несколько дней Трофей снова поздоровел, повеселел, у него зажили все лапы, и он готов был снова выполнять какие угодно поручения своего любимого хозяина.

Однажды ночью вся пятерка танков КВ была вызвана по тревоге на передовые позиции. Экипажи бросились к машинам, мгновенно завели их и ждали команды, чтобы выступить в бой. Дормидонтов, как всегда, успел еще выйти из машины и проститься за лапу с вертевшимся тут же Трофеем. Ласковые слова Трофею бросали и остальные члены экипажа — Калининцев, Шишов, Соловьев, Писарев. Они пользовались преимущественным уважением Трофея перед экипажами других машин. Пес прекрасно понимал, что это постоянные и самые близкие друзья его хо-

зяина. А сами ребята в шутку называли его даже шестым членом своего экипажа.

Танки ушли в бой.

Немцы решили отбить только что отнятый у них выгодный водный рубеж. Для этого они решили предпринять мощную атаку. В этот-то бой и были вызваны наши танки. После двухчасового боя противник показал спину. Пятерка КВ дралась превосходно. Всеобщее восхищение вызвала машина лейтенанта Калининцева с большим номером на башне — 512. Виртуоз-водитель Евгений Дормидонтов залетал на ней то в тылы, то во фланги немецким боевым порядкам. Экипаж этот давно славился особо мастерским подавлением немецких пушек и минометов. Раздавить пушку тоже ведь надо умеючи, иначе порвешь самые крепкие гусеницы.

Так вот, Дормидонтов сейчас и давил их внезапными заходами то справа, то слева. Легкий нажим на пушечное колесо, перелом его, и пушка уже не пушка, а стальной труп — не надо давить ни ствола, ни лафета.

Танк Калининцева раздавил до десятка мелких и средних вражеских пушек и не меньшее количество минометов. А когда началось преследование противника, то машина кинулась далеко вперед.

...Бой закончился, но танк командира Калининцева и водителя Дормидонтова из боя не вернулся. Как ни вертелся вокруг, как ни обнюхивал Трофей все остальные вернувшиеся машины, но хозяина не находил. Хозяин остался где-то на поле.

Судьба этой машины час за часом вызывала все большее беспокойство командования и танкистов. На обозреваемом пространстве между нашими передовыми частями и немецкими танка не было видно.

— Слишком глубоко заскочил к немцам и гам, наверное, подбит, — мрачно предполагал командир пятерки КВ старший лейтенант Астахов.

Прошло уже два часа, три, десять, двенадцать, а танка Калининцева все нет и нет. Несколько пар разведчиков — танкистов и пехотинцев — ходили вперед, подбирались к немецким позициям, но машину нигде не обнаружили — как сквозь землю провалилась.

В батальоне кто-то вдруг предложил послать Трофея поискать машину: «Он ее издали узнает, а немцы не тронут его. Он с бляхой!»

Рано утром, когда на востоке еще только-только прорезалась первая полоска розового света, Трофея вывели к окопу, показали па один из танковых следов, идущих в сторону немцев, и сказали: «Ищи!»

Видимо, он только этого и ждал. Умный пес пустился во всю прыть вперед, наверняка понимая своим собачьим сознанием, что искать ему можно только единственное — своего любимого хозяина.

Через несколько часов Трофей появился на сборном пункте машин. Первого попавшегося танкиста он схватил зубами за комбинезон и стал тянуть за собой.

— Нашел, ну ждали нашего?! — удивлялись и радовались танкисты.

Разведчики Валин, Аровский и Мальченко отправились за Трофеем, потащившим их в сторону передовых. Путь собаки пролегал далее прямо к немцам, откуда изредка раздавались ружейные и пулеметные выстрелы. Итти было небезопасно. Но Трофей настойчиво рвался вперед. Отбежав шагов десять и не слыша позади себя продвижения людей, он, обремененный, с отрывистым тавканьем, возвращался обратно и как бы снова приглашал следовать за собой.

Ребята решили немного продвинуться. Крадучись, они поползли между мелкими кустами за Трофеем. Но не проползли и трех десятков метров, как Трофей остановил их сам. Прильнув к земле и положив передние лапы на что-то черное, он повернул голову в сторону разведчиков. Бойцы приблизились. Перед ним лежал труп танкиста в комбинезоне, шлеме и перчатках. Это был Ваня Писарев — артиллерист из танка Калининцева — Дормидонтова.

— Ванюшка, как же ты здесь? — скорбно, полушопотом проговорил один из разведчиков.

Писарев был весь изрешечен пулями. За пазухой у него оказались документы, записные книжки всего экипажа. Очевидно, он пробирался ночью из танка, чтобы известить об аварии, и был убит немцами по дороге. «Живы или не живы и где они сейчас? — вот вопрос, который волновал разведчиков. — Хотя бы записочка какая-нибудь. Ничего».

Среди папки бумаг и документов был большой дерматиновый бумажник Дормидонтова. Трофей, с беспокойством обнюхивающий каждую новую вещь, извлекаемую из комбинезона Писарева, вдруг вырвал из рук бойцов этот бумажник и со свирепым рычаньем отбежал в сторону. Никакие силы не могли бы его заставить в эту минуту расстаться с драгоценной ношей. Он держал ее в своей страшной пасти и, ошетинившись, бежал в отдалении вокруг разведчиков.

Еще минута, другая, и Трофей, сорвавшись с места, вдруг выхрем полетел в сторону немцев.

— Куда его понесло? Взбесилась собака! — растерянно воскликнул Аровский.

— Да разве не понимаешь? Он же по следу Писарева поскакал. Танк найдет сейчас, — уверенно заявил Мальченко.

Ребята замедлили и стали ждать, что будет дальше. Прошло несколько минут, и они были замечены и обстреляны немцами. Пришлось отойти назад.

Через час, с тем же бумажником в зубах, появился Трофей. На этот раз он сам положил лапу к ногам разведчиков и застыл в выжидательной позе.

Бумажник раскрыт, и перед глазами разведчиков — о, счастье! — обрывок записки с подписью командира танка Калининцева!

«...Хоть сколько-нибудь. Хотя бы с Трофеем. Мы еще живы. Расстреливаем последние. Набили штук сотню гадов, но не сдаем и никогда не сдадимся.

Калининцев».

Вот когда все вспомнили об умении Трофея тащить диски, автоматы. Будто предвидел Дормидонтов свое несчастье, обучая собаку этому делу.

Разведчики тут же добыли у пехотинцев один диск и завернули его в тряпку. Диск Трофею — в зубы, а пес уже знал, что ему надо делать... Пулей помчался он в направлении, указанном ему рукой, по своему свежему следу.

Три рейса с дисками в зубах совершил к танку умный и смелый пойнтер. Машина находилась, очевидно, километрах в трех в глубине территории противника. В третий раз Трофей вернулся с опаленной в нескольких местах шерстью и с запиской, прикрепленной к ошейнику:

«Дорогие товарищи! Спасибо вам, спасибо Трофею. Вот такая собака! Она помогла нам подстрелить еще с полсотни кровавых собак. Прощайте, ребята! Последние минуты. Обливают бензином. Умрем, но победа за нами! Передайте привет родным. Трофея спускаем в нижний люк. Он такой, он прорвется. Прощайте!

Калининцев, Дормидонтов, Шишов, Соловьев».

...Через неделю мы погнали немцев дальше и заняли то место, где находился танк № 512. У него были перебиты обе гусеницы, его облили горючим и подожгли.

Так погиб беззаветно преданный родные героический экипаж танка КВ, одного из пятёрки, совершившей славный путь от Урала до Старой Руссы.

Так окончилась прекрасная жизнь весельчака и любимца всего батальона — Жени Дормидонтова.

На поле, как черная скала, высится сейчас стальная могила четырех героев-танкистов. Бойцы часто приходят сюда и, сняв свои шлемы, подолгу стоят, скорбные от тя-

желой утраты и горькие за героически погибших друзей. С бойцами всякий раз прибегает и четвероногий друг Дормидонтова, любимый всем батальоном пес Трофей.

XVI. КУЗНИЦА БЕССТРАШИЯ

Рота БВ Астахова, как и весь танковый батальон, теперь не только воюет, но и учит воевать других. Батальон — своеобразная фронтовая танковая академия.

Командование фронтом, учтя особые заслуги и богатый опыт максимовского батальона в борьбе с немецкими войсками, решило пропускать через него танковые резервы фронта, тренировать здесь водителей, радистов, артиллеристов, командиров танков и танковых подразделений.

— Будете превращать бойцов и командиров-танкистов в подлинных мастеров своего дела. Так требует нарком, — заявил командиру батальона полковник Катенин. — От участия в повседневных боях не освобождаетесь.

Учить других?! А ведь давно ли танкисты батальона, прибывшие на фронт, считались молодыми? Вспоминается первая их встреча с бывалым фронтовиком-танкистом майором Сегеда, его рассказы о бесстрашии, о способах уничтожения немцев.

— А если танк подбьют? — робко спросил тогда майора один из танкистов.

— Чинить надо. Немедленно ремонтировать.

— А если еще стреляют?

— Под огнем ремонтировать, и снова в бой.

— Но могут же поранить?

— Э, дружок, — насмешливо, но не зло посмотрел Сегеда на молоденького танкиста, — на войне даже убивают... Вот как! Разве вы не слышали об этом?

Бойцы рассмеялись.

С тех пор не прошло и полгода, а сколько изменений, сколько отнятых у врага километров и селений, сколько вмятин в броне от вражеских снарядов! Немало горьких дней и часов пережила за эти месяцы рота БВ лейтенанта Астахова: ранены командир танка Чиликин, Кононов, Машев, убит в решающем сражении отважный комиссар Харченко, сожжен заживо героический экипаж танка Калининцева — Дормидонтова.

А бои все идут и идут, а счет подвигов каждой машины все растет и растет. Сотни и тысячи уничтоженных оккупантов, десятки раздавленных и подбитых люшек, танков и ДЗОТов врага. Рота отлитвалась и закалялась в огне отечественной войны. Каждый воин

становился все более суровым, бесстрашным мастером своего дела, способным учить других.

...Механики-водители, артиллеристы, радисты, командиры танков и танковых подразделений, прибывшие в батальон на учебно-тренировочный сбор, не без удовольствия узнали, что начальником сбора назначен известный своими подвигами на фронте командир пятерки БВ старший лейтенант Астахов.

Первая встреча Астахова с участниками сбора была дружеской, но не обошлась без взаимного конфуза. Астахов знал, что пришедшие танкисты или потеряли в боях свои танки, к тому же старых систем, или выбрались из вражеского окружения.

— Кем и на какой были машине? — спрашивает он сержанта Вершинина.

— Механиком-водителем.

Вершинин перечисляет несколько систем машин, на которых он ездит.

— Кем воевали теперь?

Танкист немного смущен, но продолжает твердо отвечать:

— В пехоте был, товарищ старший лейтенант. Сначала стрельбом, потом минометчиком, потом ранен в ногу под Клином.

— «Пеший по-танковому» — значит, как в наставлении. Ну ладно, вот теперь опять в машину сядете, у нас их много стало. Да какие еще!

— Очень радуюсь, товарищ старший лейтенант. Большое спасибо. Скорее бы только...

Младший сержант Гут после танка также успел побывать в пехоте, был разведчиком, затем истребителем вражеских танков. Другие танкисты были связистами, минометчиками, артиллеристами. Все они с увлечением рассказывают о том, как воевали в этих войсках, но в то же время и не скрывают того, как у них «сердце замирало» от зависти и досады, когда мимо проходил любимый танк. Крепко истосковалась душа танкиста по родной машине. Недаром в первый же день своего прибытия в батальон они прежде всего бросались к машинам и пробыли около них до самой поздней ночи.

После беседы танкисты попросили Астахова показать им машины его роты и прежде всего его личную машину, в которой он, как им известно, пробыл двое суток в окружении немцев.

Вот тут-то и пришла очередь смутиться самому Астахову: его танк находился в ремонте и в последнее время в боях не участвовал.

— Я его вам еще покажу по-настоящему, — пообещал Астахов.

...Одна из легких танковых рот ушла сегодня в бой, а в остальных с утра горячая

учеба. Учатся и те, кто пришел на переподготовку, и те, кто воюет каждый день. Мы на занятиях у Астахова. Он сидит внутри танка, окруженного небольшой группой командного состава. Это тоже слушатели — командиры танков и танковых подразделений. Они поочередно влезают в машину к Астахову через верхний люк и после некоторого пребывания в нем вылезают через люк механика-водителя. Это называется у Астахова «пропускать через танк».

Раскрасневшись и щурясь от резкого дневного света, каждый «пропущенный» с восхищением делится впечатлениями о качестве оборудования, в особенности вооружения.

— Молодцы кировцы, спасибо уральцам, что хочешь сделают, только бей, не жалей, немцев крепче! — вырвались горячие слова благодарности у танкиста лейтенанта Белоконь.

По программе и расписанию участники сбора проходят тактику, материальную часть, вождение, боевую стрельбу, наконец, в качестве экзамена — «учебное» участие в настоящем бою. Вышел с победой — значит, сдал экзамен. Получай диплом, получай машину для самостоятельного управления.

Старший механик-водитель Константинов, прозванный нами «профессором вождения и материальной части», преподавал теперь эти предметы механикам-водителям.

Рядом в лесу — ремонтная база танков. Все там знают Константинова, он знает всех ремонтников.

— Будем помогать танки чинить, учеба — лучше некуда, — объявил Константинов своим слушателям и, захватив ворох инструментов, повел их в лес.

...Из боя вернулся танк КВ лейтенанта Ефимова. Термитным снарядом у него разворотило основание башни. Экипаж не пострадал, но башня заклинилась, и стрелять из пушки невозможно. Ремонт очень серьезный, со съёмкой башни, с заваркой травмированной брони.

— Самп сделаем этот ремонт, пусть учатся ребята, — заявил командир батальона Мекенмов.

И вот экипаж Ефимова вместе с курсантами уже за работой. В батальоне нет подъемного крана. Но зато много рядом растущих крепких дубов. Между ними был установлен танк и с него снята и подвешена многотонная башня. Пробина искусно заварена самими танкистами. Тяжело раненный танк через несколько дней стал здоровым.

«За самоотверженную работу по ремонту подбитой машины, а также за умелое обучение на этом танкистов, объявляю экли-

пажу Ефимова благодарность», — гласил приказ командира батальона.

Курсанты поздравляли командира машины. Ефимов, счастливый, отвечал на поздравления:

— Хотя комбат и не объявил вам благодарности, зато вы сами себе скажите спасибо, что у вас будет теперь на чем учиться и на чем сдавать экзамены. На себя, стало быть, работали.

Занятия по тактике и взаимодействию войск проводят пехотные и танковые командиры, а чаще всего сам Астахов.

— Забрать ручные гранаты и автоматы. Выходим по тревоге в бой, — занятия по тактике. Немцы танков подбросили. Посмотрим, как с нашими машинами сойдутся.

Группа танкистов, возглавляемая Астаховым, ночью прибыла на передовые и окопалась в районе командного пункта командира полка.

Под утро развернулись события. Немцы подготовили контрнаступление, которое должны были поддержать их танки и авиация. После авианалета на наш передний край бросились немецкая пехота и танки. Их встретил шквальный огонь пехоты и артиллерии.

— За танками, за танками следите! — в который уже раз предупреждал ближайших к нему соседей по окопу Астахов.

Часть немецких машин, шедших на наши войска, сразу же была подбита противотанковыми пушками. Остальные вступили в единоборство с девяткой наших танков, выскочивших из леса. На поле танковый бой. Все заволокло дымом. На командном пункте первые жертвы, стоны раненых. Астахов приказывает танкистам перевязывать раненых, держать наготове гранаты и автоматы.

С этого момента он фактически становится помощником командира полка, ведущего бой. В нескольких метрах от командира разбит узел связи. Астахов отдает распоряжение нескольким своим бойцам помочь в установлении связи. Он организует из танкистов круговую оборону командного пункта. Никто уже и не думает о том, что он пришел сюда на какие-то занятия. Здесь все бойцы — участники ожесточенного боя.

Вдруг застонал от боли командир полка майор Павлов. У него пулевые ранения в обе ноги. Скорее бинты, носилки!.. Астахов перевязал майора, а за ним еще пятерых командиров и отправил их в тыл.

Вот где пригодилась ему учеба у жены-фельдшерицы Лены Астаховой. Пусть она теперь гордится там, на Урале, что и ее труды не пропали даром.

Астахов в течение целого часа замешал командира полка и руководил боем, пока не

установил связь и не вызвал на командный пункт заместителей выбывших из строя командиров.

Наши войска успешно отразили контрнаступление немцев, сами перешли в наступление и продолжали продвигаться дальше на запад.

В этот день танкисты успели побывать и на затихшем поле боя, где только что дрались танки с танками. Здесь застыли, как гробницы, меченные крестами, четыре фашистских машины. Оживленно копошились у двух наших подбитых танков их экипажи.

Ученики и учителя узнали друг друга. Обрадовались.

— Помочь, что ли?

— Нет, мы уже кончаем. Сейчас тронемся. Вон лучше немцам воскреснуть помогите, — весело крикнул из люка механик-водитель Трофимов.

«Курсанты» подробно ознакомились с немецкими машинами, осмотрели пробоины в них, собственными руками оцупали их раны, запомнили наиболее уязвимые места.

На следующий день с этими машинами поочередно познакомились все остальные группы танкистов. Кладбище фашистских танков стало фигурировать даже в расписании занятий под скромным названием «полевой класс № 6». А сколько «классов» еще впереди!

...С некоторых пор здесь появились машины-гостыи. Овальные, приземистые, с негромким мотором, глубоко запрятанным в броневые недра. Это были танки не советского производства. Они вошли в ряды боевых расчетов, но в сражениях участвовали как-то не жарко, не азартно, точно совершали на поле брони туристскую прогулку.

И ведь расчеты сидели в машинах целком из советских людей, и все-таки танки стравлялись на выполнение боевой задачи с какой-то оглядкой.

— Когда же наши братишки покажут, наконец, себя? — с нетерпением спрашивали друг у друга танкисты.

Речь шла как раз о танках-гостях, ласкательно именуемых здесь «братишками». Танки присланы нам дружественной Великобританией, а наши советские танкисты, еще хорошо не освоившие их, естественно, проявляли на них сверхосторожность.

Теперь-то уже и не узнать, не отличить на поле боя, какие же машины дерутся с большим ожесточением и храбростью — наши или английские? И теми и другими управляют храбрые советские люди, отлично изучившие материальную часть.

В один из первых весенних дней у нас произошел очередной бой с немцами окружен-

ной армии. Еще накануне танкисты с БВ интересовались у командиров: «А братишки участвуют?»

— Будут обязательно, причем во всех эшелонах, — сообщил командир английской танковой группы т. Кордов.

...До полсотни танков сосредоточилось в лесу для броска в атаку. Лес был реденький, сухой и невзрачный. А тут вдруг пророс зеленую. Густые елочки и широколапые ветви сосен превосходно скрывали танковую засаду.

Откуда все это?

«Весна пришла?!» — могут ответить себе немецкие наблюдатели, разглядывая лес в свои долговязые бинокли.

И вот издали сначала запело, а потом взревело от множества моторов небо. Шли в бой наши бомбардировщики, штурмовики. Плечом к плечу, звено к звену вместе с советскими истребителями с такими же пятиконечными красными звездами летели английские продолговатые «Харрикейны».

— Сердце радуется, как спеваются, как срабатываются в небе! — восхищался танкист Круглый.

— Сейчас и мы тронемся, тоже не хуже их спетые, — отозвался механик-водитель Гранаткин.

Вдали, в стороне противника, раздались первые бомбовые взрывы, застрекотали пулеметы. В небо взвились две зеленых ракеты — сигнал к танковой атаке. И вот вслед за волной самолетов покатила стальная танковая волна.

Немцы сказывали жестокое сопротивление. Снарядами противотанковой артиллерии они покрывали каждый метр земли вокруг мчащихся на них машин. Строго в затылок за БВ, для которых немецкие снаряды что горох по стенке, шли, как за броневой стеной, «братишки» — английские танки. Их работа еще впереди, — главное, подойти неповрежденными как можно ближе к противнику.

Пара танков — один БВ и «англичанин», в котором сидел Кордов, — отделилась вправо для атаки крупного ДЗОТа.

Откуда ни возьмись немецкая авиация. Легкие бомбардировщики пикируют прямо на танки. Цель для них ясна — бить те, которые покрупнее. Бомбы рвутся недалеко от БВ, обдавая их горячими брызгами металла и распаренной земли. Фашисты делают новые заходы.

Танк Кордова отвалил в сторону от своего лидера, и у него, как зеленая вспышка, мгновенно открылся верхний люк. Из люка выскочил вороненый ствол пулемета. Из ствола, как из брауншвейгца, ударила по вражеским самолетам струя трассирующих пуль. «Англичанин» прикрывал зенитным огнем свой БВ.

Воздушный бандит, так и не попав в КВ ни одной бомбой, стал делать один за другим заходы на стреляющий в него танк. Разгорелся поединок танка с самолетом. Бомбардировщик уже израсходовал свой бомбовый запас и теперь бил по танку из пушки, но эффект все тот же — мимо. Только он выравнивается в небе на атаку, выцеливает прицельно падать вниз, а машина раз — рывок вперед или в сторону. Снова промах, и снова фашист сам попадает в прицельную огненную струю пулемета.

Немец, страшно обозленный, делал на машине восьмой заход. Да и Кордову надоело, что ли, прыгать в стороны.

— Ни с места! Огонь в лоб! — скомандовал он экипажу.

Падающий, ревущий мотором пикировщик уже предвкусил победу. Но... полдиска пули впились, как одна, в мотор фашиста. Резкий взрыв, и гигантский шарф яркого пламени метнулся вверх, закрыв собой полнебосвода. Самолет вырвался из пике, на миг застыв в крутом повороте.

Объятый пламенем, он загремел вниз. Победителем из поединка вышел английский танк, управляемый советским командиром, и это был один из ярких «учебно-показательных уроков» для курсантов танкового сбора.

...По весне, во время постоа в районном центре, к танкистам обратилась с просьбой группа рабочих:

— Немцы нам центральную площадь загадили, своих похорошили, мы их теперь выкапываем и место очищаем. Но вот земля еще мерзлая. Саперы взорвать ее помогли, а вы бы нам самые большие ковалки цепями оттянули.

— Ну что ж, родную землю от такой погани всегда очистить рады, — улыбаясь сказал Астахов и отдал приказание оказать помощь.

Мощные буксирь, поцатужившись, выкорчевали и оттянули поодаль громадные глыбы земли с замороженными в ней фашистами.

— А теперь куда же их девать будете, в поле на удобрение, что ли? — спросил у рабочих водитель Кнутов.

— Нет уж, благодарим покорно, в таком навозе мы тоже не нуждаемся, — ответил стоявший рядом старик-крестьянин в рваненьком полубубке.

Каждый новый день боев приносит нам новые победы, новые километры освобожденной от фашистского ига советской земли. «Белые мамонты» — танки КВ, рожденные седым Уралом, торжественно и сурово проходят по этой земле.

В каждом танке много тысяч килограммов. Это не только тонны стали, отлитой нашей страной, это тонны народного гнева, изливаемого на врага.

Землянка

До врага с полкилометра —
 Ров, поляна, ели.
 Ни минуты, чтоб от ветра
 Сосны не скрипели,
 И ни ночи,
 И ни дня
 Без тревоги, без огня.
 Чуть пригнувшись, пролезаем, —
 Я уже теплом дышу.
 Поднимается хозяин.
 Просит:
 — Милости прошу!
 Озираемся, присели.
 Что за роскошь в самом деле?
 В мире нет прочней берлог.
 Пол из досок —
 ровен,
 Крепче стали потолок —
 Три наката бревен.
 Хоть громя прямой наводной —
 Не пробьешь вовек.
 Не землянка, а подлодка —
 Крутые отсеки.
 Камбуз.
 Печка, два котла,
 Кот прибудный у стола.
 Умывальник в уголку,
 Полотенце на крюку,
 Океанский воздух.
 Справа пнеда для грапат,
 Пять винтовок, автомат —
 Тоже в прочных пнедах.
 Кубрик светел, как поднос,
 Весь зашит в зеленый тес.
 С листика оглашено:

«Здесь курить воспрещено!»
 У стены двойные нары:
 Подойдешь и — ляжешься.
 Сено взбито —
 даже старым
 Жестко не покажется.
 После боя сладко спится,
 Много снов хороших снится.
 Не беда, что каганец
 Из консервной банки.
 Не землянка, а дворец, —
 Нет цены землянке.
 Стол. Прибор для туалета —
 Чашечка лучистая.
 Вместе скатерти — газета,
 Но газета чистая.
 Не землянка — Дом Культуры
 Собственной архитектуры.
 Мы глядим в углы, на свет,
 Удивленью меры нет,
 Превосходная квартира.
 — А на сколько ж зим и лет?
 Засмеялись моряки:
 — Наши сроки коротки.
 Нам на флоте и в пехоте
 Жить на месте не с руки.
 Может, солнце на восход —
 И покинем этот дот:
 Пусть играют в кем ребята,
 Ну, а мы пойдем вперед.
 А фашистов выставим,
 Землю ими выставим,
 Да возьмемся за работу —
 Мы такое выстроим!..

Морская пехота

Песня Зили Султана

Несколько лет подряд огородники-таты снимали под баштан наши деревенские огороды.

Обычно они приезжали весной, качинали пахать и сеять; работали под жгучими лучами солнца, изнемогая от усталости; поздней осенью, собрав урожай, уезжали домой, чтобы к весне возвратиться снова.

Приезжали они из провинции Маку. Как настоящие францы, они говорили между собою на одном из французских диалектов, а с армянами объяснялись по-турецки. Старшему тату, Рагиму, было лет пятьдесят. Высокого роста, сгорбленный от тяжелой, долгой работы, лицо загорелое, с умными глазами; почтенный, опытный, порядком потоптавший землю, любил он рассказывать про Иран и Туран, про Тавриз и Самарканд.

Младший тат, Джафар, был бойкий паренек. Много знал-ся песен и сладко распевал их. Как звали третьего тата — не помню; однако всякий раз, представляя мысленно его образ, вижу этого юношу за работой, с лопатой в руках, и с лицом, покрытым обильным потом.

Тогда я был еще очень молод. Крепко сдружился я с ними и много услышал от них о сказочном Востоке, о его сказаниях, легендах и мифах.

Переживая я и теперь незабвенный вечер одного из тех богатых впечатлениями дней. Полулежал я на баштане перед землянкой огородников, на берегу реки Ахураш. Спокойствие и безмятежность царили всюду: на баштане, в полях, в моем сердце.

Начиналась осень. Осень урожайная, исполнившая все обещания свои в полной мере. Семена, что весной разрывались в земле, впитали силу и соки чернозема, переполнились солнцем, выросли, набились и достигли того, чего хотели, — они стали овощами и корне-

плодами; и теперь все это благоухало ароматом зрелости, обволакивая меня какой-то атмосферой покоя и удовлетворенности.

Солнце уже зашло и последние лучи его постепенно догорали. Сумрак на востоке с минуты на минуту сгущался, и звезды начинали вспыхивать то тут, то там. Неподалеку из-за сплошных холмов вырисовывалась снежная вершина Арагаца цвета потускневшего серебра.

Огородники-таты уже поулынали и теперь отдыхали полулежа после дневных трудов. Разговоры их о работе вчерашнего дня и о предстоящих трудах окончились. И в общем безмолвии вечера мечтали они, так же как и я, молчаливо и сосредоточенно покуривая.

Как знать, о чем они мечтали, — быть может, о днях своей юности, быть может, о будущем, расточительном на обещания...

Знает ли кто пути мечтаний?

Не нарушая этого глубокого молчания, за-подальше птицы проносились, едва шелестя крыльями, и нежный ветерок, как тихая песня, пробегал по древесной листве; время от времени, будто из прибрежных тростников, доносился сладостный лепет волн.

У самой землянки, на очаге, стоял полный чайник. Беспшумно и тихо горел кизяк, не озаряя этого глубокого, сумрачного безмолвия.

Из мечтательного молчания вывел нас Джафар, начавший напевать под нос какую-то грустную песню, — одну из дышащих печалью мелодий Востока.

— Хорошую песню ты затянул, — заметил Рагим, — давненько я не слыхал этой песни. А ну-ка, затяни по-настоящему, послушаем.

Джафар схватил голову руками и запел громче.

Слова песни были фарсидские, и я ничего не понимал; однако сердцу моему был понятен язык мелодии.

О, сколько скорби, терзаний и безнадежного ропота звучало в этих сладостных и суровых звуках! Как будто зрительно я ощущал человеческое сердце, глубоко израненное, видел, как оно горестно стонет, извивается и сочится кровью.

Кто вливал свою измученную душу в эти звуки? Джафар глубоко вздохнул, кончив песню. Таты сокрушенно прослезнились. Наступило опять молчание.

Песня кончилась, но сердце мое все еще томилось и извивало.

Чайник закипел. Третий тат достал чайник. Машинально прихлебывал я отдававший дымом чай.

— Что это за песня? — спросил я старшего тата.

— Песня?... — повторил он, как бы не до- слышав, — песня? Да, это песня про Зили Султана. Хорошие слова, и напев хороший.

И, поставив чашку на камень, он продолжал:

— Этот сказ не такой уж давний. Зили Султан был один из сыновей иранского шах-шаха Насрединна. Был он хакымом¹ в Фарсистане, главным начальником края, и сидел в городе Испагани. Лютый, безжалостный, злой был он человек. Ненасытный и жадный. Сидел он у народа на шею и секирой рубил ему головы. Что ни увидит — все его. Грабил дома, сады, имущество, деньги. Никто не смел ему и слова молвить. Ослушнику — голову долой, а тело — собакам. Не страшны ему были ни аллах, ни шах. Слово — кровь, дело — кровь! Уж такой свирепый и сильный кровопийца! И был в Испагани один храбрый человек. Со своим караваном ходил он в Кандагар, а из Кандагара в Тегеран.

Вот и отнял Зили Султан у него караван, отобрал дом и деньги и оставил без куска хлеба; наконец похитил у него любимую красавицу-жену. Нож прохватывает до кости. Когда нож до кости дошел, человек этот поехал в Тегеран, к шахскому порогу. Бросается он в ноги шаху и просит защиты.

Шаха застал он в добрый час.

— Проклятие его доброму часу! — перебил Рагим.

— Проклятие его доброму часу! — отозва- лась оставшие.

— Хорошо. Шах своим ферманом² велит Зили Султану вернуть обратно жену, имущество и караван. С высоко поднятым на- головой ферманом, веселый и радостный, человек идет в диван³ Зили Султана. Перед иваном шахиншаха все двери настель.

Ферман в руках Зили Султана. Зили Сул- тан велит мирзе¹ прочитать ферман. Пока чи- тали ферман, у Зили Султана от гнева ки- пела кровь.

«Ой, ой, ой, паренек, ну и сердце же у тебя, что посмел ты переступить шахский порог и жаловаться на меня! Человека с та- ким большим сердцем я еще не видывал на свете. Хотел бы я видеть своими глазами, каково оно...»

И отдал приказ. По этому приказу прибе- жал главный палач с подручными. Валят жалобщика наземь, распарывают ему кинжа- лом грудь, вынимают сердце и на блюде подносят Зили Султану.

Зили Султан глядел, глядел и говорит:

«И впрямь большое сердце было у него. Отдайте это сердце самому большому из моих поэтов, — пусть он сегодня досыта поест».

Вот про этого несчастного человека сложили песню шаиры² Фарсистана. В этой песне и боль, и ужас перед смертью; тут и любовь, и тоска по жизни, по любимой жене, и по сво- ему народу; тут и жалоба на бога, что не карает деспотов, и жалоба на беззаконный и несправедливый мир. — Рагим помолчал. Набил трубку, подавил пальцем табак и продолжал печально:

— Тысячи, тысячи лет были такими все шахи, султаны, эмиры и цари. Теснили народ, утнетали, обирали, вынимали душу и сердце бросали псам.

Горе, горе, горе! —

Закурив, он лихорадочно затаился и с жаром сказал:

— Так остаться не может. Будет день и наступит расплата за пролитую кровь. Надир- шах тоже выкалывал глаза у народа, не сгибавшегося перед ним, но Надир-шах, и тот получил по заслугам. Игра с народом — дело опасное!

Послушай-ка, что говорит шаир:

Ночью
Надир-шах
Восседал на троне
В короне.
Утром
Надир-шаха тело
Головы не имело,
И короны на голове.

Надо, чтобы у народа были проколоты уши, чтобы открылись глаза. И этот день наста- вляет. И тогда с открывшим глаза миром труд- ненько будет шутить.

В этот день, так же как и Надир-шах, сгинут все богачи и деспоты па земле.

1933 г.

¹ Х а к ы м — губернатор, судья в Иране.

² Ферман — указ.

³ Д и в а н — суд.

¹ М и р з а — стряпчий.

² Ш а и р — певец.

Чингиз-хан

Тени от стен Кара-Курума покрывают целую страну. К Кара-Куруму обращены их глаза и уши.

Кровью народов залит Чингиз-хан степи Кара-Курума; пирамиды из бесчисленных человеческих черепов воздвиг Чингиз-хан.

В златобратых чертогах, на троне слоновой кости, восседает Чингиз-хан; на старческом черепе его белеют волосы, подобно вершинам Тянь-Шаня, что утопают под вечными снегами.

Подножие его трона захватывает необозримые пространства от Великого океана до Индийского моря и от пышущей бурями пустыни Гоби до улетающих в небесную лазурь снежных кавказских гор.

Со взором мрачным, как глубины Каспия, раскинулся на троне великий монгол. Он одряхлел: полн его, когда-то топтавшие горные выси, движутся с трудом; голос его, устрашавший народы, ослабел; руки, душившие льва и тигра, опустелись от бессилия.

Великий визирь и придворные, сидя попарясь, с поджатыми коленями на ковре, настроенно ждут повелений хана.

— Эй, визирь, — потухающим голосом восклицает хан, — скучаю я, безмерно скучаю... Наложниц сюда, наложниц! Пусть пляшут, поют, пусть плещутся в воде передо мной! Несите вина. Эй, вина несите — столетнего искристого вина!

* * *

Парчевые завесы на дверях распахнулись; с песнями и смехом, в облаках благоуханий в ханский сераль врываются вереницы юных газелей, — чудесные, точно шиваянские девушки, похищенные и привезенные сюда из перламутровых дворцов Кандагара, из садов Шираза, изобилующих розами.

В обширной зале сераля нескончаемыми веренищами под дымкой прозрачных ткапей пляшут они вокруг хана, полуднагие, разукрашенные цветами.

Их прекрасные, как заря, и чистые, как лилии, тела благоухают ароматами индийских притираний и аравийского ладана.

Вызывающе и нежно пляшут они.

Их волосы, черные, как ночь, или золотистые, как солнце, рассыпаются по светлым плечам, обвивая шлепительные шеи: так тоска обвивает сердце; опьяняя благоуханием, эти чудесные волосы выпадают на белоснежную грудь, подобно черным и золотистым тучам, играющим над снегами Буен-Луха.

Перси их, источающие сладость, как райские яблоки, трепещут, переливаясь лунным

сиянием; так пенится багряное вино в кристальном сосуде.

Как тысячеголовые соловьи в царских садах роз в Китае, поют эти девы-перси о тоске и грезях, поют о поцелуях и нечаян любви, поют и пляшут, благоухают и порхают вокруг хана, соблазняя его забвением в объятиях любви.

Но скучает Чингиз-хан — и не слышит; слышит, — но не слышит его потухшая кровь.

В изумрудных и яхонтовых чашах flame-неет вино, как кровь юноши-воина. Пламенеет и тот, на чей язык упадет капля...

И Чингиз-хан пьет.

В розовых струях водоемов плещутся перси. С гроздей их волос сбегает капля, подобно алмазным и жемчужным зернам, мешаясь со струями фонтанов, и алмазно-розовые брызги летят и падают на чело Чингиз-хана и остывают...

Смотрит Чингиз-хан на сверкающие тела гурий; смотрит — но не видит; видит — но остывшее сердце его не трепещет.

Созвучие арфы, флейты и литавр, сплетаясь и скользя вдоль мраморных колонн, вздымается и стелется по золотым потолкам, вырвавшись, летит к небу, но не доходит до ушей Чингиз-хана, не волнует его окаменевшей души.

Пламенные стрелы взоров солнцезащитных перси сыплются на хана, текут вокруг него паутину соблазнов, но сердце хана превратилось в стальной щит, и никакая стрела не сразит его, никакой огонь не согреет его.

В изумрудных и яхонтовых чашах flame-неет вино, как кровь юноши-воина. Пламенеет и тот, на чей язык упадет капля...

Оно прибыло из солнечной страны и пьянит солнечными, восторженными мечтами того, кто выпьет одну только чашу этого солнечного вина.

Пьет хан, но душа его заморожена, солнце ее не растопит.

— Пусть приблизится ко мне газель, изловленная в горах Гюрджистана! Пусть она ласкает меня!

И скользя, как ветерок, благоухая, как май, подбегает красавица; вот она припадает к коленям хана, легкая, как младенец, покорная, как мечта, садится она на его иссохшие колени.

Чингиз-хан с усилием протягивает свои скрюченные руки и обнимает обольстительницу-девушку; слабо и бессильно прижимает к остывшей груди и с трудом прижимает тихим,

¹ Грузия.

беззвучным поцелуем к ее персям, нежным, как зацветающий в садах Гюджистана, гранат.

II, обессиленный, опускает руки великий хан; колена его трясутся от нежных ласк.

Хан огорчен, злоба душит его.

— Прочь всех, всех! Не нужны они мне, надоели! — гневно, дрожащим голосом приказывает хан.

Поблекшие глаза его совсем потемнели.

«Царство мое ничто перед одним поцелуем молодого пастуха...» — Эта мысль вползает, как змея, в его голову и, как змея, жалит его сердце.

II, опуская голову на усталую, измученную грудь, Чингиз-хан отдается дремоте...

1907 г.

Гарibaldiец

Много лет назад в одном доме со мной, дверь в дверь, жил старый сапожник-итальянец, со своей слабой, робкой, как серна, двенадцатилетней внучкой.

Соседи называли его Джюванни.

Старый итальянец редко покидал дом. Сгорбленный, понурый от однообразной работы и унылой жизни, он выходил иногда на рынок и, возвращаясь, нес что-то подмышкой. II потом до позднего вечера в его комнате стучал молоточек.

Память моя живо мне рисует: он был высокого роста, грустным казалось его озабоченное лицо, но всего привлекательней были его глаза — мечтательные, с тихим блеском, ласковые, внушавшие доверие с первой же встречи.

Эти добрые глаза из-под высокого лба улыбались знакомым; голос у старика был сердечный и дружеский.

Эти дышавшие мирным приветом глаза тянули меня к себе, и я однажды заглянул к стареку. Нависая над старым сапогом, зажатым между старческими коленями, он забивал в каблук гвозди; под нос себе он тихо напевал победный гимн революции — «Марсельезу».

Я окликнул его. Приподняв голову и мило улыбнувшись, старик ответил на мой привет: встречаясь на улице, мы, как соседи, обыкновенно здоровались.

— Что нового, сосед? Добро пожаловать!

— А вот я пришел с вами побеседовать по-соседски. Прощу и вас иногда заглядывать ко мне, — сказал я.

Улыбнувшись, сапожник продолжал работу.

— Сейчас я кончу, дружок, и тогда мы спокойно побеседуем. Скажите-ка мне, что нового?

Я ответил, что новостей нет у меня, и стал оглядывать комнату — бедную и уютную, темную и тесную; дверь вела в соседнюю комнату, где спали дед и внучка.

Среди этой неприветливой, убогой обстановки бросался в глаза большой портрет Га-

рибальди в золоченой раме; портрет висел над головой старика. «Бедный старик, — подумал я, — борьба за существование забросила его, одинокого и нищего, на эти далекие и чуждые берега, но он не забыл национального героя и унес его с собой. Как пламенно любят итальянцы этого человека!»

Старик перебил мои мысли:

— Что ж ты молчишь, сосед?

— Отец Джюванни, тебе очень дорог Гарибальди?

— Ах, дружок, что ты спрашиваешь! — ответил он удивленно. — Да разве можно не любить Гарибальди? Он был нашей душой, душой! Такого человека не было и не будет; кто видел его, — другого не захочет видеть.

— II ты его видел своими глазами?

— Да о чем ты, не пойму я тебя? — и старик широко раскрыл глаза. — Как так видел? Ты разве не знаешь, что я был одним из его солдат? Я был среди удалых «альпийских охотников», бессменным добровольцем «тысячи». Сколько раз сам Гарибальди называл меня по имени и трепал по плечу!

II внезапно, выпрямив согбенную от старости спину, он весь заснял, и глаза его засверкали.

— Джузеппе Гарибальди, Джузеппе Гарибальди... вот моя слава, мое безмерное богатство, вот моя судьба, с которой я живу счастливее других! Святая душа Гарибальди вечно осеняет мою голову и точно говорит: «Не унывай, Джюванни, на чужой стороне; ты всегда был храбрым, таким и оставайся до конца, смерть соединит тебя со мной».

Голос старика зазвенел; швырнув молоток, старый итальянец пристально посмотрел на меня.

Я упрямил его рассказать мне о Гарибальди, обо всем когда-то виденном и пережитом.

Он удовлетворил мое любопытство. Посмотрев на меня своими добрыми глазами, старик пощупал свой лоб, точно пытаясь разглядеть морщины закрученными пальцами, с минуту подумал и начал:

Лет сорок назад наша родина, несравненная красавица мать-Италия, томилась под игом чужеземцев, скованная цепями, как рабыня. Все лучшие и храбрейшие ее сыны сгорали от стыда и пламенели местию; но всех больше сочилось кровью стиснутое скорбью великое сердце Гарибальди, и месть его была глубже и неодолимою всех наших морей.

Много раз сражался он и за родину, и за другие угнетенные страны. Вот и теперь он поднял свой голос, призывая всех удалцов, что захотели бы радостно биться и умереть за отечество.

Тогда мне было около двадцати пяти лет.

Услышал клич его, и сердце мое затрепетало. Я бросил родных, спарятился на битву и, как сокол, понесся к нему. Гарибальди был тогда в Ломбардии, близ Турина.

Увидев меня, он дружески осведомился о моем имени. В бороде его тогда была едва заметная проседь. О, как он был прекрасен! Мужчина в полном смысле слова — здоровый, мощный; глаза его, полные отеческого сострадания, сверкали любовью к родине и горячей местию.

Над головой его развевалось знамя, и я под этим знаменем дал клятву бороться и жертвовать собой за родину во имя свободы.

Вооруженные отряды патриотов, весело распевая, шли цветущими лугами Ломбардии. Все мы были молодец к молодцу; стелелись мы сюда со скалистых островов, с Аппенинских вершин, с берегов синего моря.

О, как сладко сражаться за родину, в рядах добрых товарищей и умереть у них на руках!..

Ах, эти прошлые, невозвратные дни!.. Знаешь ли ты, как мы любили друг друга?! Все мы были точно дети одной семьи. Голод и жажду, дождь и зной, бессонные ночи, мы все переносили, гордясь своими ранами.

За то и любили же нас итальянские крестьяне! С распростертыми объятиями встречали они наших славных бойцов.

Эх, Гарибальди, и сердце же было у него! Он не начальник был нам, а товарищ, вместе с нами переносил все трудности похода. Это что! Он первый бросался в самые жаркие битвы. Ах, стоило только ему появиться между нами, — и мы загорались, и яростных львов превращались. Бывало, диву даешься: да неужели эти любящие, сострадательные глаза могли ободрять нас на разрушения, на убийства?

И мы всегда побеждали, когда перед нами стоял он сам — наш Гарибальди — с оружием в руках! И мы сражались, забывая обо всем на свете, умирали, не своя с него глаз, с криком: «Да здравствует Италия! Да живет Гарибальди!» И у него для всех доставало слез.

И сколько раз нам приходилось вступать в бой с врагом и гнать его, как стадо трусливых овец, очищая Ломбардию! Нас было немного, врагов было в десять раз больше. Но разве дело в числе? Любим наш парень стоил сотни, тысячи!

Во главе с Гарибальди мы, как орлиная стая, врезывались в самую сердцевину вражеских ратей, кололи, промели и гнали их, как мощный ураган, взметающий осенние листья, — эти регулярные, снабженные пушками австрийские королевские войска.

И так мы гнали их до венецианских лагун. Всех их мы могли бы сбросить в море, но французский император, неизвестно почему, в письме к Гарибальди запретил нам это; сам Гарибальди в гневе разорвал императорское письмо на клочки и в талом виде отправил его обратно.

Все это мы видели своими глазами, и только, когда наш король написал Гарибальди, прося прекратить войну, Гарибальди вял его словам, и мы ототушили от города св. Марка.

Сколько мы потом имели схваток с волкоподобным владыкой Рима — папой, что вместе с князьями и кардиналами сосал крестьянскую кровь и обманывал людей.

Лет девять сряду находился я в отряде гарибальдийцев; я и мои товарищи немало нажили ран, исцеливших большую рану нашей родины.

Много моих близких и друзей пало на поле битвы. Слава их памяти и мир душе! И мне бы хотелось умереть вместе с ними на глазах у Гарибальди, но судьба готовила мне иной жребий.

Мечта великого человека осуществилась: Италия получила свободу, объединилась, окрепла... Кончилась война, мы разошлись по домам довольные и счастливые, унося с собой память о славных днях, пережитых вместе с Гарибальди.

— Он вечло тут, в моем сердце, — прибавил старик, ударив себя в костлявую грудь, — и образ его всегда со мной. — Дрожащими руками растегнул Джованни свою куртку, снял с шеи маленький головной портрет Гарибальди.

— Этот самый портретик вы найдете у любого бедного итальянца, у всех крестьян и пастухов... Никогда не покинет он меня и вместе со мной навеки сойдет в могилу.

Помолчав, старик взглянул на часы, а потом на мое снявшее от восторга лицо.

— Как счастлив ты, отец Джованни, ты был с Гарибальди, в его соколиной стае и честно отдал свой долг любимой родине! Но еще один вопрос: скажи, что заставило покинуть эту дорогую для тебя Италию, исцели-

ную твоими ранами, и очутиться в чужой земле, у незнакомых людей?

— Эх, дружок! — вздохнул он, и на ресницах только что сверкавших глаз его повисли две крупные слезы, — в сердце старика сочилась незажившая рана, которую я неосторожно задел. — Я долго жил в родном гнезде, я проводил в бессмертную жизнь священные останки Гарибальди... Ах, зачем умирают такие великие люди, ума не приложу!.. Избавленная нашей щедро политой кровью от чужеземных врагов, Италия подпала под новое ярмо, — очутилась в когтях наших собственных хозяев, в когтях богатей и чиновников. Богачи опутали Италию золотыми цепями и наложили свою тяжелую лапу на сердце трудового итальянского народа. Нерадостна жизнь наших крестьян и рабочих! Сына моего убили жандармы в одной из рабочих забастовок, а невестка умерла от чахотки, не выдержав тяжелой фабричной работы. Тогда я разгневался на своих неблагодарных собратьев и, взяв сиротку-внучку, покинул те поля, которыми когда-то проходил с победной «тысячью». Я не желал быть рабом на моей освобожденной родине. Как-никак, мы тоже люди, у нас тоже гордость!

Сел я на корабль и приехал сюда: все равно куда-нибудь надо было мне уйти... И покуда я жив, не возвращусь на свою порабощенную родину, — нет теперь ни Гарибальди, ни сил для борьбы... Но мне бы хотелось, чтобы останки мои были преданы родной земле, чтобы через много лет, когда, наконец, Италия и ее угнетенный народ освободятся от рабского ярма, услышал бы я свободный голос торжествующего народа, который слышал я во дни моей юности...

Но кто отвезет останки бедняка в такую даль?..

Теперь я живу только для внучки, только бы бог продлил мою жизнь: поставить бы мне внучку на ноги, а уж потом умереть, другого желанья нет у меня теперь. Какова же будет судьба моей внучки, если я скоро умру?.. Но великий дух Гарибальди, образ которого постоянно у меня над головой, бодрит меня и утешает в этом мире. Когда же настанет мой день — о, тогда я буду с ним, на небесах!..

Голос старика оборвался; подняв глаза, он долго-долго всматривался в портрет Гарибальди...

И наступило благоговейное молчание...

Я не хотел мешать порыву его души, стремившейся к великому и заветному.

Тут вошла его внучка и, робко поздоровавшись со мной, прошла в соседнюю комнату. Я встал, поцеловал черствую, почерневшую руку старика, поклонился и вышел...

★

Через долгие годы, снова попав в Одессу, я тщетно разыскивал старика. Тоскливо поглядывал я на опустевшее жилище сапожника и ясно вспоминал его.

Где он теперь? Погруженный в мечты, по-прежнему прижимает к своему героическому сердцу сапоги людей, исполняя свой долг перед внучкой? Или же суровые волны борьбы за существование разбили и развеяли этот чудесный осколок прошлого, оставив сиротку вдали от неблагодарной родины в жертву корыстным людям.

*Перевод с армянского
Я. ХАЧАТРИАНЦА*
1907 г.

Генерал-полковник О. ГОРОДОВИКОВ

Героическая конница русского народа

В героической военной истории русского народа конница занимала и занимает почетное место.

Не раз русский народ поднимал оружие против иноземных захватчиков, пытавшихся захватить богатства нашей великой Родины и заставлял их с позором убираться с нашей земли. И во всех этих многовековых битвах русская конница наносила врагам сокрушительные удары, покрыв свое имя громкой победной славой.

Конница Александра Невского наносит немцам «псам-рыцарям» решительное поражение в знаменитом «Ледовом побоище» 5 апреля 1242 года — за 700 лет до нынешних героических боев с гитлеровскими бандитами, пытающимися повторить набег своих предков.

Есть много общего, конечно, учитывая сопоставления техники того периода и нашего времени, в действиях обеих противников в этих боях. И тогда, как и теперь, немцы строили слугу своего удара на бронированном «клин»¹, получившем у русского народа меткое наименование «железной свиньи». Тогда только этот «клин» состоял не из танковых колонн, как теперь, а из закованных в броню «псов-рыцарей», сидевших на защищенных железными латами конях. Этим клином немецкие рыцари пробили было оборонительное расположение русских дружин, но конница Александра Невского, составлявшая резерв и располагавшаяся за одним из флангов боевого порядка, ударила по основанию клина и, совместно с пешими дружинами, окружила и разгромила «псов-рыцарей». Так было положено начало освобождению Новгородских и Псковских земель от немецких захватчиков.

Карл Маркс выразился об этом сражении следующим образом: «...прохвосты были окончательно отброшены от русской границы»¹.

Несколько позднее русская конница наносит

решительное поражение другому интервеннту — татаро-монгольским ордам, которые, используя распри между отдельными русскими феодальными князьями, в течение полутора веков разоряли и опустошали нашу Родину.

Решающая схватка русских с татарами произошла 8 сентября 1380 года на так называемом Куликовском поле — на берегах Дона.

Войска татарского хана Мамая насчитывали до 400 000 конницы, тогда как возглавлявший русское ополчение Дмитрий Донской имел всего 150 000 конницы и 50 000 пехоты.

Пользуясь своим двойным численным превосходством, войска Мамая потеснили левый фланг русских дружин и, охватывая левое крыло русских, начали отрезать их от переправ через реку Дон, но в то же время сами подставили свой фланг находившемуся в засаде отборному отряду русской конницы, которым командовал опытный воевода Боброк.

Сокрушительный удар этого конного отряда по флангу расстроянных битвой татарских конников решил участь сражения. После отчаянной рубки татарское войско было смято и, потеряв более 150 000 человек убитыми, в панике бежало, преследуемое конными дружинами русских.

Куликовская битва справедливо считается началом освобождения русской земли от полутравекового татарского ига.

В период так называемого Смутного времени русская конница героически дерется против польских интервентов.

22 августа 1612 года поляки, располагавшиеся на Поклонной горе, переправились через Москву-реку у Ново-Девичьего монастыря, перешли в наступление на русские дружины Дмитрия Пожарского, занимавшие Арбат, и достигли района Крапотыньских ворот. В этот критический момент русская казачья конница под командой Трубецкого, переправившись че-

¹ Архив Маркса и Энгельса, том V, стр. 344.

рез Москву-реку у нынешнего парка Культуры и Отдыха, ударила в тыл полякам и заставила их с большими потерями откатиться обратно к Поклонной горе. На следующий день, когда польские войска двинулись к Кремлю через Донской монастырь, завязался упорный бой на Ордынской и Пятницкой улицах, исход которого был решен 24 августа атакой трехсот отборных русских конников, направленных Кузьмой Мининым в тыл противнику. Поляки повернули было фронт против этого конного отряда, но из района Зацепы были атакованы русскими казаками и в панике бежали, понеся громадные потери.

В боях против иностранных интервентов XIII—XVII столетий русская конница выступала как временное ополчение, собиравшееся отдельными князьями только на период войны, и не являлась еще регулярной вооруженной силой.

Создание регулярной русской конницы, как и всей армии, принадлежит Петру I. 8 ноября 1699 года были сформированы первые два регулярных драгунских полка, в 1701 году их было уже 12, а к 1711 году — 33 полка по 1 328 человек в каждом и кроме того до 50 000 регулярной казачьей конницы. Драгуны Петра I впервые в военной мировой истории получили конную артиллерию.

Петр I в период борьбы против шведской интервенции использовал свою конницу массированно — целым конным корпусом с конной артиллерией, которым командовал один из талантливейших его сподвижников — Меншиков.

Вторгшись в пределы России, шведский король Карл XII оказался в тяжелом положении, так как русский народ встал единой стеной против интервентов, и шведские войска несли тяжелые потери. На помощь армии Карла XII двигался сильный шведский отряд генерала Левенгаупта с большими запасами военного снаряжения и продовольствия.

Петр I направил против этого шестнадцатитысячного отряда свою драгунскую конницу в составе 7 000 сабель, которая 17 сентября 1708 года у деревни Лесной нанесла полное поражение шведскому отряду. Только самому Левенгаупту с несколькими сотнями солдат удалось присоединиться к Карлу XII, а все военное имущество, в котором так нуждалась шведская армия, стало трофеями русских драгун.

В русской военной истории битва при Лесной названа «Матерью победы Полтавской».

Туда, на солнечную Украину, предмет заветы и захватнических стремлений многих интервентов, направился Карл XII и в апреле 1709 года осадил Полтаву, где встретил героиче-

ское сопротивление небольшого русского гарнизона в 4 000 бойцов, преимущественно — резервных частей, к которым присоединилось 2 500 вооруженных жителей города.

Два месяца шведская армия, кичившаяся своей «непобедимостью», не могла захватить старое русское укрепление. В начале июня Петр I с армией в 58 батальонов, 72 эскадрона и 72 орудия подошел на помощь осажденной Полтаве.

27 июня 1709 года Петр I зачитал армии свой исторический приказ, который очень характерен как для того момента, так и для нашего времени:

«Воины! Пришел час, который решит судьбу Отечества. Вы не должны шмышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество. Не должна нас смутить слава непобедимости неприятеля, которой ложь не раз доказали вы своими победами. О Петре ведайте, что ему жизнь не дорога. Жила бы только Россия во славе и благоденствии для благосостояния вашего».

Конница русской армии, руководимая Меншиковым, первой врубилась в шведский авангард и нанесла ему решительное поражение. Русские драгуны изрубили 5 батальонов шведской пехоты и 4 кавалерийских эскадрона, а остатки этого отряда захватили в плен. После этого армия Петра I, имея конницу на обоих флангах, перешла в решительное наступление и наголову разгромила шведскую армию, в течение почти 15 лет считавшуюся непобедимой. Преследуя бегущих шведов, конница Меншикова шла до самого Днестра и у деревни Переволочны захватила в плен остатки армии в 14 000 человек со всем военным имуществом. Только сам Карл XII с изменником Мазепой и несколькими десятками приближенных успел бежать за Днестр.

Фридрих Энгельс писал о Полтавском сражении, после которого Швеция утратила значение великой державы: «Карл XII сделал попытку проникнуть внутрь России; этим он погубил Швецию и показал всем неуязвимость России»¹. Многим неудачливым интервентам, покушающимся на нашу родину, не мешало бы крепко-накрепко запомнить эти слова!

В Семилетней войне с прусскими войсками, которыми предводительствовал король Фридрих II, кумир теперешних немецких фашистов, наносивший неоднократные удары своим соседям, русской армии пришлось встретиться с первоклассной прусской конницей, руководимой способными генералами Зейдлицом, Цитеном и др.

В сражениях при Корндорфе и Егерсдорфе прусская «непобедимая» армия была распата-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. соч. т. XVI, ч. II, стр. 9.

на русскими войсками, а в битве под Гунерсдорфом пруссаки были поголову разбиты русской армией, и «непобедимая» конница Зейдлица нашла себе могилу под саблями русской кавалерии. Из 48 000 армии Фридриха II было уничтожено русскими и взято в плен 42 000 и сам «непобедимый» и «великий» король шпал в Берлин: «Я теряю мужество... страшно ужасное несчастье... все потеряно. Спасайте двор и архив...»

28 сентября 1760 года русская конница, в авангарде своей армии, захватила прусскую столицу — Берлин.

Величайший русский полководец Суворов уделял исключительно много внимания боевой подготовке своей конницы, он учил ее смелым, быстрым конным атакам с саблей в руке, категорически запрещая стрельбу с коня.

В сражениях под Фокшанами, Яссами, Рымником, в беспримерном штурме Измаила, в польской кампании, в Итальянском и Швейцарском походах суворовская конница способствовала тем победам, которые вызвали изумление всей Европы. Именно суворовская выучка была заложена в основу победы русского народа над «великой армией» Наполеона Бонапарта в 1812 году.

24 июня 1812 года Наполеон I, покоривший до этого почти всю Европу, без объявления войны вторгся в русские пределы, имея под командой шестьсоттысячную армию при 660 орудиях, в составе которой было до 90 000 кавалерии, руководимой Мюратом, Напсути, Монбрепом и другими талантливыми кавалерийскими генералами.

Армия интервентов состояла, как ее тогда метко охарактеризовали, из «дванадцати языков». Кроме французов в нее входили: пруссаки, баварцы, саксонцы, вюртембергцы, австрийцы, итальянцы, поляки и пр. Русская конница перед Отечественной войной состояла из 64 регулярных и 124 казачьих полков, но значительная часть их находилась на турецком фронте и внутри страны.

В первом периоде русские армии, насчитывавшие всего 180 000 бойцов, отходили перед наполеоновскими полчищами, нанося им в аррьергардных боях тяжелые потери, причем аррьергард русской армии составляли кавалерийские и казачьи полки.

7 сентября 1812 года русская армия дала битву французам под Бородиным. К 12 часам создалось критическое положение на центральном участке фронта, где русская пехота и конница героически отражали следующие одна за другой атаки французов, во главе которых мчались на русские укрепления четыре кавалерийских корпуса Мюрата. Наполеон решил бросить на штурм русских позиций у села Семёновского дивизию молодой гвардии.

По как раз в этот момент 1-й кавалерийский корпус генерала Уварова и казачий отряд атамана Платова ударили по флангу и тылу наполеоновской армии, сорвав намечавшуюся атаку молодой гвардии Наполеона и заставив его сосредоточить в резерве и старую гвардию.

Бородинскую битву историки называют «могилой французской кавалерии». На Бородинском поле было впоследствии сожжено и похоронено 35 478 лошадиных трупов.

При фланговом марше русской армии на Калужскую дорогу русская конница прикрыла этот рискованный фланговый марш, введя в заблуждение и Мюрата, ведшего преследование, и самого Наполеона. С оставленным Кутузовым Москвой начинается мощное развертывание партизанского движения русского народа против иностранных интервентов, и конные партизанские отряды Дениса Давыдова, Сеславина, Фигнера, Кудашева, Дорохова, Чернышева и др. становятся настоящей грозой наполеоновской армии, прерывают ее коммуникации и громят подходящие резервы, склады и магазины.

В октябре конница Орлова-Денисова в составе 10 регулярных и казачьих полков нанесла поражение авангарду Мюрата под Тарутинным, и это поражение ускорило решение Наполеона об отступлении из Москвы.

Наполеон намеревался отступать по разоренной Калужской дороге, но его план был раскрыт партизанской конницей Сеславина, и фельдмаршал Кутузов преградил наполеоновской армии дорогу под Малоярославцем, нанеся ей поражение и заставив отступать по разоренной интервентами Смоленской дороге.

Преследуя «великую армию», русская конница, казаки и партизанские отряды окружали отходящие французские корпуса и непрерывными атаками наносили им поражение за поражением.

27 ноября при морозе, достигавшем всего 14 градусов, наполеоновская армия переправилась через реку Березину и через Борисов и Вильню бежала с русской территории, а в первых числах декабря, когда настоящие морозы еще только начинались, жалкие остатки «великой армии» — 1 500 вооруженных французов при 9 душках перешли обратно нашу границу.

В 1813—1814 гг. русская армия, победооградившая «дванадцати языков», совершает освободительный поход в Европу, нанеся окончательное поражение Наполеону.

В 1813 году казачий отряд атамана Платова занимает вторично в нашей истории Берлин, а конница Давыдова — Дрезден. В 1814 году русская гвардейская конница наносит решительное поражение остаткам наполеоновских войск под Фер-Шампенуазом

и во главе своей армии победно вступает в Париж.

Перед мировой империалистической войной русская конница царской армии насчитывала 24 кавалерийских дивизии и 8 отдельных бригад, была укомплектована прекрасным личным и конским составом и хорошо обучена. Но прогнившая сквозь романовская империя не могла дать этой прекрасной коннице достойных ее командиров. Во главе армий, корпусов и дивизий стояли старинки-генералы, представители родовой аристократии, военные чиновники, которые смотрели на военную службу как на занятие, дающее власть, почет и красивый мундир.

Нет ничего удивительного, что руководимая бездарностями вроде Хапа Нахичеванского, Скоропадского, Гилленшмидта, Маннергейма и др.—конница царской армии, имевшая после мобилизации 35 конных дивизий и ряд отдельных полков и сотен, а всего 250 000 сабель, была в этой войне использована самым неудачным образом.

Но и то — отдельные дивизии, бригады, полки и эскадроны не раз показывали исключительные образцы героизма, смело идя с пашкой и шккой в руке на немецкие и австрийские войска, имевшие решительное превосходство над царской армией в отношении вооружения.

В августе 1914 года под Ярославом 10-я кавалерийская дивизия наносит решительное поражение в конной атаке 4-й австрийской кавалерийской дивизии, изрубив более 600 человек и взяв 300 пленных, всю артиллерию и все пулеметы противника.

В 1915 году под Праньштем гусары и казаки 14-й кавалерийской дивизии в конной атаке смяли два полка наступавшей немецкой пехоты, позволив нашим резервам ликвидировать прорыв.

Под Гайворонкой ахтырские гусары в конном строю атаковали и опрокинули наступавший германский гвардейский фузельерный (стрелковый) полк, а 1-й Заамурский конный полк под Нивы Злочевском изрубил 83-й полк баварских стрелков. Под Нездвиской в Северной Буковине донские казаки конной атакой наголову разбили бригаду драгун и кирасир 5-й германской кавалерийской дивизии.

Неправильное использование конницы почти во всех армиях в период империалистической войны породило после ее окончания мнение о том, что против современной техники конница бессильна и что роль ее как самостоятельного рода войск безвозвратно прошла.

Повторялось то же самое, что уже имело место в отношении конницы и при первом по-

явлении огнестрельного оружия, и при изобретении нарезных ружей, и при введении на вооружение магазинных винтовок, скорострельной артиллерии, пулеметов и пр. Новые «теоретики» встали на неверную точку зрения, противопоставляя новой технике прежнюю «чисто сабельную» конницу, вместо того, чтобы перевооружить конницу, насытить ее новой техникой и перестроить тактику действий применительно к новому техническому оснащению армий.

Французская и английская военная мысль начинает склоняться к замене конницы новым видом оружия, появившимся в мировой империалистической войне, — танками и моторизованной пехотой.

В начале формирования вооруженных сил Советской России также были колебания во взглядах на конницу, и военные специалисты царской армии, щедро насажденные предателем Троцким на руководящие посты в центральном аппарате Красной Армии, решили ограничиться созданием только войсковой конницы из расчета один кавалерийский полк на стрелковую дивизию. Предполагалось сформировать всего две кавалерийские дивизии стратегической конницы на всю Красную Армию.

Но Красную Армию создавала великая партия Ленина — Сталина и формировалась она в огне боев зажженной буржуазией и помещиками гражданской войны.

Белогвардейские генералы, используя многочисленную казачью конницу, первые двинули против молодых отрядов Красной Гвардии крупные конные массы, действия которых облегчались маневренным характером гражданской войны.

Решающие схватки с внутренней контрреволюцией произошли на юге России, где руководство обороной Советской России находилось в руках гениальнейшего полководца Писифа Виссарионовича Сталина.

С исключительной прозорливостью товарищ Сталин определил громадную роль конницы как подвижного и мощного по ударной силе рода войск в маневренной гражданской войне, и, несмотря на отсутствие в мировой военной истории достаточных примеров, предопределил пути развития и оперативного использования конницы как одного из решающих факторов командования Красной Армии.

В процессе боев против белоказачьих полчищ начинается стихийное формирование красных конных партизанских отрядов. Родной их были Дон, Кубань, Ставрополье. Конные партизанские отряды Буденного в боях против генеральско-казачьей контрреволюции постепенно складываются в более крупные конные соединения, и в сентябре 1918 года под Царцыным уже начинают действовать

кавалерийская (впоследствии получившая № 4) дивизия под командой Семена Михайловича Буденного, а в северном Ставрополье — 6-я кавалерийская дивизия.

Принимая активное участие в обороне предатели советской власти на юге России — Царицына, конница 10-й армии была в июне 1919 года сведена в 1-й конный корпус в составе 4-й и 6-й кавдивизий, командиром которого был назначен тов. Буденный.

В период самой острой опасности для молодой советской власти, окруженной огненным кольцом контрреволюционных фронтов, в тот период, когда сильнейшая из белых армий — армия Деникина рвалась к Москве, товарищ Сталин принимает и проводит в жизнь историческое решение о сформировании из конного корпуса товарища Буденного — Первой Конной армии. Армии этой было суждено под мудрым сталинским руководством стать решающим фактором по разгрому внутренней контрреволюции и иностранных интервентов.

Несмотря на бешеное сопротивление Пуды Троцкого и его банды, Первая Конная армия была создана товарищем Сталиным и во главе ее он поставил полководцев — К. Е. Ворошилова и С. М. Буденного. 1-я Конная армия в октябрьских боях под Воронежем наносит первое поражение гордости деникинской армии, считавшейся до этого «непобедимой», отборной белоказачьей коннице генералов Мамонтова и Шкуро.

Разгром этой конной группы и взятие Воронежа, вместе с контрударом красных войск, руководимых тов. Орджоникидзе под Орлом, были переломным моментом «второго похода Антанты», началом разгрома сильнейшего и опаснейшего врага Советской России — генерала Деникина.

Выполняя сталинский план разгрома Деникина ударом через протатарский Донбасс в центр деникинщины — Ростов, 1-я Конная армия мощным стальным клинком разрезает на части донкинские армии.

Фланговым ударом на Касторную 1-я Конная армия подрезает под основание ударный добровольческий корпус Деникина, рвавшийся к Туле и Москве; разгромив группировку генерала Пестовского, конницу Мамонтова и Шкуро она начинает гнать деникинцев к югу. Под Осколом, Валуйками, Кулянском, Лисичанском буденновская конница наносит сокрушительные удары как белоказачьей коннице Мамонтова, Шкуро, Улагая, Науменко, Чеснокова, так и отборным офицерским полкам — марковцам, корниловцам и дроздовцам. 8 января 1920 года 1-я Конная армия, разгромив наголову деникинские резервы, с боем захватывает Ростов-на-Дону и Нахичевань.

Предатель Троцкий и его ставленники в

штабе Южного фронта пытались погубить буденновскую конницу, направив ее в Батайский укрепленный район, где был скован ее оперативный маневр, а противник имел там сильно укрепленные позиции и превосходство в силах. Но реввоенсовет Конной армии в лице тт. Ворошилова и Буденного обратился непосредственно к Ленину и Сталину, и 1-я Конная, искусно направленная на стык Донской и Кавказской армий Деникина, в героических боях Торгово-егорлыкской операции в феврале — марте 1920 года навсегда покончила с остатками деникинщины, освободив от белых Северный Кавказ.

Не менее почетную роль сыграла красная конница и в разгроме «третьего похода Антанты».

Заблаговременно перебросенная Главным Командованием Красной Армии с Северного Кавказа на Юго-Западный фронт, где в конце апреля 1920 года началась новая интервенция Пилсудского, 1-я Конная армия за 52 дня совершает беспрецедентный в истории тысячекилометровый марш от Майкопа до Умани. 18 000 конников с 52 орудиями, 350 пулеметами, 22 бронемашинами, 5 бронепоездами и 12 самолетами сосредоточиваются на решающем направлении контрудара советских войск.

Нанеся ряд поражений польской пехоте и коннице во встречных боях 30 мая — 4 июня, 1-я Конная Армия на рассвете 5 июня 1920 года мощным сосредоточенным ударом 22 кавалерийских полков и всей артиллерии и бронемашин прорывает оборонительную позицию 13-й Познанской пехотной дивизии и, разгромив конницу генерала Савицкого, входит в прорыв в направлении Житомир — Бердичев.

Этот прорыв конной массой укрепленной оборонительной позиции белополяков был началом краха интервенции Пилсудского на Советской Украине, и красные войска Юго-Западного фронта переходят в решительное наступление.

Фланговый марш 1-й Конной армии на Фастов в тыл армии генерала Рыдз-Смиглы приводит к бегству войск последнего из Блэва, и Конная армия резко поворачивает на восток.

Новоград-Вольнская и Ровно-Дубнепская операции буденновской конницы вошли в мировую военную историю как образцы наступательных действий крупных кавалерийских соединений против по-современному вооруженной пехоты, протекавших вдобавок в неблагоприятной, пересеченной многочисленными водными преградами лесисто-болотистой местности.

Доблестные дивизии 1-й Конной армии приближались к столице Западной Украины — старинному русскому городу Львову, разгромив во встречных боях Бродско-Львовской операции оперативные резервы Пилсудского, а Западная Украина в этот момент уже загоралась огнем крестьянских восстаний против польских панов и помещиков.

Но в этот момент снова выступил агент фашистского гестапо — подлейший из подлых изменник Троцкий, который «...воспретил взять Львов и приказал перебросить конную армию, то есть главную силу Южного фронта, далеко на северо-восток, будто бы на помощь Западному фронту, хотя не трудно было понять, что взятие Львова было бы единственно-возможной и лучшей помощью Западному фронту. Но вывод конной армии из состава Южного фронта и отход ее от Львова означали на деле отступление наших войск также и на Южном фронте. Таким образом, вредительским приказом Троцкого было навязано войскам нашего Южного фронта не понятное и ни на чем не основанное отступление...»¹

Переброшенная в лесисто-болотистый район Замостья 1-я Конная армия была окружена свежими войсками генералов Галлера и Желиговского, но благодаря исключительно искусно проведенной операции прорвалась из окружения и при начавшемся общем отходе служила надежным прикрытием отходящих войск Юго-западного фронта.

По заключении перемирия с Польшей, 1-я Конная армия, пополненная и освеженная, походным порядком перебрасывается на врангелевский фронт и, под гениальным водительством М. В. Фрунзе, наносит смертельный удар последнему российской контрреволюции, прибалтийскому немецкому барону, мечтавшему занять российский императорский трон. Удар буденновской конницы от Каховки на Чонгарский полуостров подрезал весь врангелевский фронт, и белогвардейцы стремительно побежали в Крым. Под Агайманом, Серагозами, Ново-Алексеевкой и Ново-Михайловкой буденновская конница разгромила «бронированную конницу» генерала Барбовича и кутеповских офицеров и, вместе со своей пехотой, ворвалась в Крым, очистив его от белогвардейской нечисти.

Руководитель боевых операций на юге России М. В. Фрунзе писал:

«...Своими бессмертными подвигами Первая Конная Армия заслуживает величайшей славы и уважения не только в сердцах и глазах пролетариев Советской России, но и всех

остальных стран мира. Имя Первой Конной Армии, имена ее вождей — товарища Буденного и товарища Ворошилова — известны всем и каждому. И пока будет существовать грозная сила Первой Конной Армии, наши враги не раз и не два призадумаются, прежде чем рисковать новой авантюрой...».

Помимо 1-й Конной армии и другие кавалерийские соединения Красной Армии в грозные годы гражданской войны покрыли свои знамена неувыдаемой славой.

Кавалерийская дивизия товарища Томина на Восточном фронте в 1919 году, 2-я Конная армия, сформированная также по инициативе товарища Сталина на Врангелевском фронте летом и осенью 1920 года, 3-й конный корпус на Западном фронте летом и на Крымском фронте осенью 1920 года, партизанская конница Забайкалья и Приамурья в 1921—1922 гг., 12-я и 18-я кавалерийские дивизии — в Закавказье в 1920—1921 гг., конница Туркестанского фронта в борьбе с контрреволюционным басмачеством в 1919—1926 гг. — все эти конные части своими блестящими боевыми действиями в самой разнообразной обстановке показали всему миру, что может сделать стратегическая конница при правильном ее использовании и руководстве, и развеяли в прах утверждения западноевропейских «теоретиков» об «отмирании роли конницы».

В чем же залог блестящих успехов советской конницы в период 1918—1922 гг., возродивший снова «золотой век кавалерии»?

Первым и основным залогом блестящих боевых действий нашей стратегической конницы было то, что она, как и вся наша Красная Армия, представляла и представляет собой вооруженную силу совершенно нового типа, построенную не для вооруженного подавления эксплуататорами миллионов трудящихся масс, а созданную трудящимися для борьбы с классовым врагом.

Конницу Красной Армии создал величайший пролетарский полководец — Носиф Виссарионович Сталин, и она завоевала громкую мировую славу, выполняя гениальные сталинские планы разгрома врагов нашей Родины, пытавшихся вернуть ее под капиталистическое иго.

Сталинский гений вывел стратегическую конницу из того тупика, в который ее завела империалистическая война, на широкий оперативный простор, свел ее в небывалые конные массы, оснастил мощным по тому времени оружием и использовал как решающую оперативную силу фронтового и даже Главного Командования на направлениях главного удара Красной Армии.

1-я Конная армия 1919—1920 гг. пред-

¹ История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), Краткий курс, стр. 231.

ставляла высоко подвижное и технически мощное по тому времени общевойсковое соединение, обладавшее громадной ударной силой и большой огневой мощью.

Кавалерийские полки имели по 16—40 станковых пулеметов, перевезенных на легких тачанках, запряженных четверкой отборных лошадей и сопровождавших конницу в ее лихих конных атаках. Кавалерийские дивизии имели конную и даже гаубичную артиллерию и бронемашину, огонь которых сопровождал действия конницы и которые, например, при прорыве белопольского фронта 5 июня 1920 года, решали успех боя. Командование армии имело в своем подчинении авиацию, бронепоезда и почти всегда одну — три стрелковые дивизии, которые служили осью, обеспечивавшей маневр и удар конной массы.

Вот эти все условия, плюс к ним — искусное управление со стороны выдвинутых революцией на командные должности военачальников, исключительный героизм и беззаветная преданность Родине и партии Ленина — Сталина всего личного состава красной конницы и обеспечили ей ее всемирно-исторические победы и неуязвимую славу.

Опыт гражданской войны лег в основу дальнейшего развития конницы Красной Армии. В то время как в армиях капиталистических стран кавалерийские дивизии и бригады постепенно заменялись мотомеханизированными соединениями, Красная Армия, формируя мощные танковые соединения, сохранила и в сильнейшей степени укрепила свою стратегическую конницу.

Бурный рост нашей промышленности в годы сталинских пятилеток позволил оснастить наши кавалерийские корпуса и дивизии самой передовой военной техникой, созданной на наших заводах из наших материалов, нашими инженерами, техниками и рабочими.

Конница Красной Армии была богато оснащена пулеметами и артиллерией всех систем, минометами, автоматами, средствами ПВО и ПТО, танками, бронемашинами и авиацией и приобрела еще более чем когда-либо характер мощного, самостоятельного и способного к ведению любых видов боя рода войск.

Первые схватки новой империалистической войны, когда началось широкое применение бронетанковых соединений и моторизованных войск, успели не только на Западе, но и у нас в СССР «теорией» о необходимости полной замены конницы мотомеханизированными войсками. Особенно велик был этот танковый психоз после «побед» бронетанковых полков немецкого фашизма в 1939—1940 гг., когда гитлеровские бронетанковые дивизии сломали и разрушили вооруженные силы Польши, Франции, Бельгии, Голландии и других стран.

При этом или недооценивались, или умышленно не принимались во внимание те исключительно благоприятные обстоятельства, которые способствовали победе немецко-фашистских бронированных колонн над армиями, а в том числе — и над конницей Польши и Франции, не говоря о других, более слабых государствах Европы, завоеванных, но далеко не поборенных гитлеровской Германией.

В 1939 году Гитлер по-разбойничьи напал на Польшу. Предательское правительство Мосцицкого, Бека и пр., не выразившее интересов польского народа, совершенно не подготовило страну и армию к борьбе против гитлеровцев, с которыми оно все время заигрывало. Высшие военные руководители не имели ни плана войны, ни достаточного количества военной техники, ни умения и опыта в командовании. Эти преемники Пилсудского предали польскую армию и польский народ, несмотря на героическое сопротивление, польская армия была сломлена внезапным сокрушительным ударом втянутого сильнейшей гитлеровской армии. При этом польская конница, особенно кавалерийская группа генерала Андерса, показала чудеса храбрости в неравной борьбе с технически сильнейшим противником. Значительная часть польских военных кадров была сохранена своими начальниками и в настоящее время продолжает борьбу с временно захватившими их родину гитлеровскими оккупантами.

В 1940 году Гитлер сосредоточил против Франции и Англии подавляющее превосходство в силах, особенно в бронетанковых соединениях и авиации. Немецко-фашистская армия на направлении удара сосредоточила втрое сильнейшую группировку и была вчетверо сильнее в танках и авиации.

Основной же причиной быстрого разгрома Франции было то, что руководители ее, являясь агентами Гитлера, вместе с подлецами-генералами, предали свою страну и положили ее под ноги бандита Гитлера, несмотря на героическое сопротивление французской армии.

Эти весьма и весьма веские обстоятельства и послужили причиной успехов немецко-фашистских армий, дав фашистским главарям повод кричать на весь мир о «непобедимости» немецкой армии и особенно ее бронетанковых полков.

22 июня 1941 года Гитлер совершил чудовищное и самое тяжелое из своих преступлений, вероломно напав на Советский Союз, с которым он, по своей собственной инициативе, заключил договор о ненападении и в верности которому он уверял весь мир всего за несколько недель до своего бандитского нападения.

Сосредоточив на советских границах $\frac{3}{4}$ своих вооруженных сил, достигавших 170—180 дивизий, из которых было 21—22 танковых и 17—18 моторизованных, сформировав на этот раз целые танковые армии, стянув на польские аэродромы $\frac{9}{10}$ своей авиации, титлеровское командование начало войну против нашей социалистической Родины, поставив себе целью превратить нашу страну в колонию немецких капиталистов и баронов, а наш народ — в рабов фашизма.

Гитлер строил расчеты победы над СССР на сокрушительном ударе своей громадной авиации и еще не выданных в военной истории бронетанковых колонн. Эти крупные соединения авиации, танков и моторизованной пехоты, составлявшие ударный авангард титлеровской армии, по замыслу фашистских генералов, должны были нанести неотмобилизованным частям западных военных округов Красной Армии предательский внезапный удар, от которого наши войска не могли бы оправиться. Гитлеровские главарь предполагали в 6—8 недель захватить советскую территорию до рубежа Уральских гор, разгромить по частям подходившие резервы Красной Армии, сорвать нашу мобилизацию, захватить нашу промышленность и транспорт и, таким образом, осуществить бредовые замыслы кровавого маньяка Гитлера о порабощении Советского Союза.

В неблагоприятной обстановке Красная Армия, а вместе с ней и наша стратегическая конница встретили предательский удар чудовищной гитлеровской военной машины, гордой своими почти двухлетними бандитскими победами и захватившей $\frac{3}{4}$ европейских стран.

Выполняя стратегический план товарища Сталина, Красная Армия в первом периоде войны с германским фашизмом с тяжелыми арьергардными боями отходила в глубь страны, обеспечивая мобилизацию всего необъятного Советского Союза, эвакуацию промышленности и народного хозяйства из западных республик и областей и сосредоточение главных сил Красной Армии. В этих тяжелых арьергардных боях, когда враг, помимо элемента стратегической и тактической внезапности, приобретенного им в результате его предательского, вероломного нападения, обладал еще и значительным численным превосходством, особенно в танках и авиации, части Красной Армии наносили немецко-фашистским полчищам тяжелые потери. Они уничтожали лучшие фашистские дивизии и корпуса, укомплектованные отборной гитлеровской молодежью, одурманенной пропагандой лжи, насилия, убийства и кровавой расовой ереси.

Конница Красной Армии в первом этапе Отечественной войны выполняла задачи главным образом оборонительного характера, обеспечивая частям своей армии выполнение общей стратегической задачи — планомерного отхода на соединение со своими главными силами и нанесения максимального ущерба и урона кадрам и военной технике гитлеровской армии.

Применяя свой излюбленный метод «бывания» в наше оборонительное расположение «клина», состоящего из бронетанковых соединений и моторизованной пехоты, сопровождаемых крупными авиационными массами, немецко-фашистские войска стремились обойти, охватить и окружить наши соединения, действуя им во фланги и в тыл. Но в то же время их собственные фланги и тыл неоднократно оказывались под ударами наших кавалерийских соединений, которые полностью использовали это и наносили гитлеровским бронированным колоннам мощные удары.

В июле 1941 года крупная группировка немецко-фашистских подвижных войск, прорвавшись в район Балты, угрожала выходом к Первомайску отрезать пути отхода наших стрелковых частей.

Направленный для ликвидации прорыва противника 2-й кавалерийский корпус генерал-майора Белова форсированным маршем с боями покрывает за двое суток более 100 км по бездорожью, внезапным фланговым ударом освобождает от противника Балту и наносит поражение 19-й моторизованной, 293-й и 297-й пехотным дивизиям немецко-фашистской армии, обеспечивая планомерный отход наших частей.

В Штеповской операции в октябре 1941 года, когда бронированные колонны гитлеровцев рвались на северо-восток к Сумам, стремясь создать окружение наших войск, конница генерала Белова, усиленная танковыми соединениями и моторизованной пехотой, искусным маневром вышла на фланг обходной немецкой группировки. Она мощным фланговым ударом разгромила 9-ю танковую и 25-ю моторизованную фашистские дивизии, уничтожив более 1 500 солдат и офицеров и захватив 300 грузовых машин, 180 мотоциклов и массу прочего имущества.

В августе 1941 года части немецкой 2-й бронетанковой армии пресловутого генерала Гудериана, одного из теоретиков танковой войны в фашистской Германии, выдвигались из района Чаусы, Кричев в направлении Рославль в стремлении выйти в тыл нашим войскам, действовавшим севернее Рославля, и окружить их.

В свою очередь группа Гудериана подста-

вила свой фланг нашим кавалерийским соединениям полковников Якунина и Кулиева. Сделав за ночь форсированный переход, советская конница на рассвете 2 августа атаковала в районе Шумячи бронированные колонны Гудериана, уничтожив 30 танков, 50 машин моторизованной пехоты и 2 минометных батареи, отвлекла на себя главные силы противника и, искусно маневрируя, обеспечила нашим войскам планомерный отход.

Могуче оснащенная первоклассной военной техникой, созданной в годы сталинских пятилеток, красная конница успешно отражала наступление гитлеровских бронированных полчищ. Остатки сгоревших и уничтоженных танков, искореженных орудий и автомашин, тысячи трупов гитлеровцев устилали дороги, по которым наступала фашистская армия, делая ее движение совершенно непохожим на торжественное шествие по полям Польши или Франции в 1939—1940 гг.

Кавалерийское соединение генерал-майора Крюченкина с 24 по 31 июня 1941 года обороняло рубеж реки Пиква против частей 1-й бронетанковой армии генерала Клейста. 26 и 27 июня, во взаимодействии с танками, оно нанесит поражение 16-й бронетанковой дивизии, уничтожив более 40 танков и батальон мотоциклистов, захватив батарею противотанковых орудий и массу мотоциклов, машин и оружия. В этом бою было уничтожено более 1 000 гитлеровских солдат и офицеров.

Кавалерийский корпус генерал-майора Белова в июне 1941 года, сковав с фронта на переправах через реку Реут немецко-румынскую армейскую группу, мощным ударом конницы и танков нанес решительное поражение 50-й немецкой моторизованной дивизии и 1-й и 5-й румынским пехотным дивизионам.

Наша кавалерийские части и соединения, опираясь на поддержку всего советского народа временно оккупированных фашистами территорий, проникли глубоко в тыл врага и смело и активно действовали на его коммуникациях. Особенно удачным был рейд по тылам 6-й немецкой армии казачьей группы полковника (впоследствии — генерал-майора и Героя Советского Союза) товарища Доватора.

Прорвав расположение противника, кубанские казаки с одними пулеметами, без артиллерии, произвели героический рейд по тылам немецких оккупантов, разгромили 430-й пехотный полк и только за период с 23 августа по 2 сентября уничтожили два немецких штаба, свыше 2 500 солдат и офицеров врага, 200 автомашин, 4 орудия, 2 танка, 30 станковых пулеметов, захватили 65 пулеметов, более 1 500 автоматов и винтовок и массу боеприпасов, которыми и вооружили крупный

партизанский отряд, действовавший в тылу противника.

Несмотря на то, что немецкое командование направило против казаков, появление которых навело ужас и панику в фашистском тылу, крупные силы, конница полковника Доватора мощным ударом вторично прорвала фронт врага и благополучно присоединилась к своей армии.

Насколько велика была паника в немецком тылу, можно судить по одному тому, что захваченные пленные показывали, будто бы в их тылы прорвалось «сто тысяч советских казаков», в то время как конница Доватора имела не более 2 000 сабель.

Обеспечив планомерное развертывание наших отоброзированных резервов, Красная Армия изматывает немецко-фашистские полчища активной обороной в течение пяти с половиной месяцев первого этапа Отечественной войны, наносит им колоссальные потери в живой силе и технике. Значительно расшатав все звенья военной машины германского фашизма и похоронив сумасбродные мечты Гитлера и К^о «победоносной молниеносной войне» против СССР, Красная Армия, руководимая своим великим полководцем товарищем Сталиным, зимой 1941—1942 гг. на важнейших участках советско-германского фронта переходит от активной обороны к наступлению.

Уже в Ростовской операции, где впервые за пять месяцев гитлеровские армии были контратакованы и бежали, где была разгромлена отборная 1-я бронетанковая армия фон Клейста, наша стратегическая конница проводит свои первые активные наступательные операции. Сильный удар кавалерийской группы Южного фронта, направленный генерал-полковником Черевиченко по флангу клейстовской армии, вместе с атакой нашей пехоты и танков, привел к полному разгрому группы Клейста в составе 13-й, 14-й и 16-й танковых и 60-й моторизованной немецких дивизий и к освобождению Ростова от врага.

В начале декабря немецкое командование сосредоточило сильную армейскую группу в районе Ельца и намеревалось овладеть для зимовки районом Грязи, Воронеж, перерезав железнодорожную линию из Москвы на Северный Кавказ. Наше командование предприняло операцию по уничтожению этой группировки, в которой активную роль сыграла наша конница.

3-й Гвардейский кавалерийский корпус генерала Крюченкина из района южнее Ельца 6 декабря 1941 года нанес удар на север, разгромил во встречном бою 95-ю немецкую пехотную дивизию и вышел в район Россошное на коммуникации 45-й дивизии противника. Здесь конногвардейцы сомкнули коль-

по окружения немецкой группировки с конной группой полковника Кулиева, наступавшей из района Телегино, и, взаимодействуя с нашими стрелковыми частями и танками, совершенно уничтожили 45-ю, 95-ю и 134-ю немецкие пехотные дивизии, которые потеряли 12 000 человек убитыми и ранеными и оставили 226 орудий, 319 пулеметов, 907 автомашин и массу прочего военного имущества.

Большие и почетные задачи выполняли соединения стратегической конницы на самом решительном этапе Отечественной войны против гитлеровских захватчиков — в великой битве под Москвой, где под личным руководством товарища Сталина части Красной Армии положили начало разгрому гитлеровской гвардии.

Поставив перед своими войсками задачу — «не считаясь ни с чем, любыми средствами в ближайший срок покончить с советской столицей Москвой», Гитлер бросил на штурм Москвы $\frac{2}{3}$ своей авиации, 13 танковых и 38 моторизованных и пехотных дивизий, решив захватить Москву в клещи с севера и юга и овладеть сердцем Советского Союза.

С юга широкий стратегический обход в направлении Каширы и Рязани выполняли отборные части гитлеровцев — 2-я бронетанковая армия генерала Гудериана, передовые части которой подходили на 25—30 км к Рязани и Кашире.

Героическим конногвардейцам генерала Белова, которые первыми в коннице Красной Армии заслужили почетное наименование сталинской конной гвардии, выпала честь первыми же нанести сокрушительный удар бронированным колоннам генерала Гудериана.

7 декабря 1941 года 1-й Гвардейский кавалерийский корпус мощным фланговым ударом на Сталиногорск и Венев подрезал под самое основание гудериановский «клин», разгромил наголову, во взаимодействии с танками, 17-ю танковую, 29-ю моторизованную и 167-ю пехотную дивизии гудериановской группировки и заставил их с громадными потерями в людях и технике откатываться в юго-западном направлении, отказавшись от попыток приблизиться к советской Москве.

В дальнейшем, развивая прорыв немецко-фашистского фронта, конница генерала Белова, совместно с другими частями фронта, выходит во фланг и тыл Козельской группировки фашистов. Произведя перегруппировку сил, генерал-лейтенант Белов захватывает город Козельск и подходит к ст. Сухиничи, превращенной противником в сильный опорный пункт.

Не ввязываясь в бой за укрепленный район и оставив против него свой заслон, конно-

гвардейцы 19 декабря выходят на шоссе в районе Юхнова. Они наносят мощные удары по флангам и тылам Малоарославцевкой группировке противника, обеспечивают нашей пехоте и танкам разгром этой висевшей над Московской обороной группы врага и освобождение города Малоарославца.

Исключительно удачно действовал при оперативном преследовании немцев, отброшенных от Москвы в декабре 1941 года, 2-й Гвардейский кавалерийский корпус Героя Советского Союза генерала Доватора. Потерпев жестокое поражение в районе Рузы, немцы начали отход, прикрываясь сильными арьергардными частями. Генерал Доватор направил за немецкими арьергардами часть своих сил, а главные силы корпуса бросил для параллельного преследования немцев по лесным дорогам, где конногвардейцы вышли на пути отхода 78-й немецкой пехотной дивизии и лихими атаками вымотали и уничтожили ее, истребив всю живую силу, захватив 82 орудия, 143 пулемета, более 400 автомашин и массу прочих трофеев.

Опять, как и в годы гражданской войны, мы видим блестящую оперативную деятельность и героические бои нашей славной конницы.

Отбросив в сторону «теории» горе-специалистов об «отмирании роли конницы», Советское Главное Командование в лице гениальнейшего полководца товарища Сталина увеличило, укрепило и еще более усилило технически стратегическую конницу Красной Армии, и она своими героическими делами полностью оправдала и продолжает оправдывать свое назначение и свою роль как самостоятельного, могучего рода войск, блестяще выполняющая оперативные задачи командования.

За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава 2-й, 3-й и 5-й кавалерийские корпуса переименованы в 1-й, 2-й и 3-й Гвардейские кавалерийские корпуса, а 31-я отдельная кавалерийская дивизия в 7-ю Гвардейскую кавалерийскую дивизию.

Над лучшими соединениями конницы Красной Армии развевается и зовет к новым победам, к полному разгрому гитлеровской армии Гвардейское ало-золотое знамя с портретом Великого Ленина.

Сталинская конная гвардия в 1941—1942 гг., так же, как и созданные Сталинским генералом в 1919—1920 гг. 1-я и 2-я Конные армии, — являются настоящей грозой для гитлеровской гвардии. Почетное звание сталинских конногвардейцев, являясь высо-

чайшим отличием, в то же время накладывает на тех, кто его носит, и величайшую ответственность — быть первыми в первых рядах в бою с германским фашизмом.

По сталинским конногвардейцам равняются остальные части нашей славной конницы, за ними идут они, выполняя приказ товарища Сталина — «...добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-

фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев...»¹.

Славное боевое прошлое героической конницы русского народа, боевая история конницы Красной Армии — являются залогом выполнения этого первомайского приказа нашего Великого Вождя.

¹ Из приказа Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 130 от 1 мая 1942 г.

Н. А. Ярошенко

ГЛАВА I

В давно минувшие годы моей молодости самым свободомыслящим, «левым» художником слыл, несомненно, Николай Александрович Ярошенко; безупречный, строго-принципиальный, он был как бы «совестью» художников, тогда как их «разумом» был И. Н. Крамской, и они в Товариществе передвижников выгодно дополняли друг друга.

Я узнал Николая Александровича в свои ученические годы, в год, памятный мне на всю долгую мою жизнь (1886). Тогда я кончал Училище живописи и ваяния, писал картину на звание «классного художника» в отведенной мне в школе мастерской, где пропадал я целыми днями. И не раз моя Маша, приходя ко мне, шутя говорила, что я не ее, а «картинкин», что было в какой-то мере правдой. Неудовлетворенный, неустанно работая над своей картиной, я, быть может, подсознательно чувствовал, что не в ней я найду себя, зато свое, а где оно скрыто — пока не ведал, не знал.

Помню, дело было ранней весной; в мою мастерскую постучалась, а затем вошли двое... Один был любимый наш преподаватель, другой — артиллерийский полковник. Плардон Михайлович Прянишников, так звали преподавателя, представляя меня своему спутнику, сказал: «Вот, Николай Александрович, рекомендую вам нашего будущего передвижника». Для меня такая рекомендация была в те годы «слаще меда», да и кто из нас не мечтал добиться такого счастья: ведь передвижники в то время были на вершине своей славы, они господствовали над всей художественной жизнью тех дней.

Николай Александрович понравился мне с первого взгляда; при военной выправке в нем было какое-то своеобразное изящество, было нечто для меня привлекательное. Его лицо внушало доверие, и, узнав его позднее, я все-таки верил ему (бывают такие счастливые ли-

ца). Гармония внутренняя и внешняя чувствовалась в каждой его мысли, слове, движении его. И я почувствовал это тогда еще — молодой, неопытный в оценке людей — всем существом моим.

Тема моей картины («До государя челобитчика») едва ли могла Николаю Александровичу быть по вкусу, но он о теме и не говорил, ее не касался, не трогал того, что было мною показано, указывая лишь на то, как было сделано, делая это осторожно, помня, что тут же стоит мой учитель, и он мне может сказать, что найдет нужным.

В свое время, когда картина была закончена, я получил за нее «звание», послал ее в Петербург на конкурс в Общество поощрения художеств, получил за нее премию и поставил своих «Челобитчиков» на Академическую выставку, где картину видел П. Н. Крамской, сурово, но справедливо осудил ее, сказав — с несомненным желанием помочь мне, — что в нашей истории есть много тем более значительных, что размер картины по теме, чисто эпизодической, слишком велик, он не согласован с ее содержанием, и что, придет время, я сам увижу, осознаю свой промах. Крамской не хотел меня обескуражить, а лишь направить на верный путь. Я был признателен ему за это, его слова берег и делился ими с кем мог всю свою жизнь.

Через две недели по получении мною медали и звания после радости пришли печали: не стало моей Маши, она умерла после родов, оставив мне дочку Олюшку, ту самую, что через девятнадцать лет послужила мне моделью для портрета в amazонке, в красной шапочке на голове. (Портрет был приобретен на моей выставке в Петербурге в 1907 году Государственным русским музеем.)

Смерть жены вызвала перелом в моей жизни, в моем сознании, наполнив его тем содержанием, которое многие ценят и теперь, почти через шестьдесят лет. Оно и по сей час согревает меня, уже старика, и чудится мне,

что и Крамской не осудил бы меня за него. Все пережитое мною тогда было моим духовным перерождением, оно в свое время вызвало появление таких картин, как «Пустынник», «Отрок Варфоломей» и целый ряд последующих, создавших из меня того художника, каким остался я на всю последующую жизнь.

Через три года, приехав с приобретенным у меня П. М. Третьяковым «Пустынником» в Петербург, я в тот же день встретился на выставке с П. А. Ярошенко. Ему моя картина понравилась, и я тогда же был приглашен им бывать у них на Сергиевской.

ГЛАВА II

Николай Александрович Ярошенко родился на Украине, в Полтавщине, окончил там кадетский корпус, перешел в Петербургскую артиллерийскую академию; окончил ее, был оставлен на службе при Петербургском арсенале, где и прослужил до выхода своего в отставку. Николай Александрович с ранних лет пристрастился к искусству. В Петербурге в свободное время стал посещать вечерние классы Общества поощрения художеств, где в то время кипела жизнь. Туда навдывались художники с «воля», бывали там и передвижники, заглядывал и Крамской. Он скоро обратил внимание на способного молодого артиллериста, познакомился с ним, найдя в нем много, хорошо образованного, развитого человека, сблизился с ним, стал давать ему уроки. Николай Александрович делал быстрые успехи. Это не были успехи, коими тогда поражали всех два необычайных дарования — Репина и юного телеграфиста-пейзажиста Васильева, тоже пользовавшегося советами Крамского.

Ярошенко скоро освоился с техникой дела, тогда еще не сложной, стал хорошо рисовать портреты мокрой тушью, потом перешел на масло, стал пробовать писать небольшие картины, постепенно креп, развивал в себе наблюдательность, стал присматриваться к жизни своего времени, проникаться тем, что называется его «духом». (Им в ту пору были пропитаны молодые артиллеристы и части инженерных войск.) Картины молодого художника становились заметными, не помню, когда он появился впервые на Передвижной выставке.

Я был учеником реального училища Воскресенского, и однажды, уже весной, в праздничный день, мне сказали, что директор училища Константин Павлович Воскресенский распорядился, чтобы я с воспитателем отправился на бывшую в то время в Москве — на Мясницкой улице, в Школе живописи и ваяния — Передвижную выставку. Такое исклю-

чение для меня одного было сделано потому, что к этому времени моя страсть к рисованию обратила на меня внимание, я «бредил» рисованием. Это было за год до моего поступления в Училище живописи и ваяния, где в те годы бывала Передвижная выставка, к чему уже привыкли москвичи. На выставку картин я попал тогда впервые. Мне было четырнадцать лет, и я совершенно был «ошеломлен» виденным там. Особенно остались в моей памяти четыре вещи. «Украинская ночь» Куинджи, перед которой была все время густая толпа совершенно пораженных и восхищенных ею зрителей. Она даже в отдаленной мере не была тогда похожа на изменившуюся за много лет теперешнюю «олеографическую» картину этого большого мастера.

Была тогда

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо, звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух..

Вот что восхищало и оцепеняло в ней тогда. Следующая, оставшаяся в моей голове картина была «Кобзарь» Трутовского, третья — «Опахивание» Мясоедова и, наконец, четвертая — «Слепцы» Ярошенко.

Все четыре художника были южане и позднее они играли в моей жизни немалую роль.

В «Слепцах» Ярошенко предавался как бы воспоминаниям о своей родной Украине. Слепцы-бандуристы бредут, как у Брейгеля, цепляясь один за другого, по живописным путям — дорогам Полтавщины. Все четверо художников-южан были с поэтическими шалостями, чем, быть может, и подкупали мое юное сердце, и я помню картины их до сих пор.

ГЛАВА III

Позднее стали являться одна за другой более зрелые вещи Николая Александровича. В самом конце 70-х или в начале 80-х годов, словом, после процесса над Верой Засулич, оправданной судом за покушение на старого градоначальника Трепова, появилась на Передвижной выставке картина Ярошенко «У Литовского замка». Она наделала тогда много шума и хлопот и навлекла на Николая Александровича недельный «домашний арест», кончившийся неожиданным «визитом» к молодому артиллерийскому офицеру тогдашнего всепьяного диктатора Лорис-Меликова. После двухчасовой беседы с опальным арест с него был снят. Картину эту я не видал, а слышал о ней по многим ходившим тогда рассказам. На ней была изображена девушка, прогуливающаяся около так называемого «Литовского замка», со сложным весьма напряженным вы-

раженном лица типа женщин-революционерок тех дней, которые шли на все во имя принятой идеи.

Хотя и были у Ярошенко фотографические карточки Софьи Перовской и Веры Засулич, как лиц характерных, типичных революционерок того времени, но в картине не было портретного сходства с Засулич, однако кому-то нужно было устроить неприятную историю передвижникам и в частности Ярошенко. Была пущена молва о том, что на картине изображена Вера Засулич. Картина немедленно с выставки была снята, сам художник оказался под арестом. Картина эта, отданная на сохранение знакомым Николая Александровича, плохо свернутая, у них погибла.

В те годы стали появляться одна за другой картины, так называемые идейные картины. Появился «Заключенный», как говорили тогда, написанный Ярошенко с его друга Глеба Ивановича Успенского и приобретенный тогда же П. М. Третьяковым для его галереи, потом «Кочегар», также взятый Третьяковым в галерею. Эти вещи показывают уже зрелого художника, мастера, знавшего, чего он хочет, верящего в свое дело, считающего его нужным, необходимым. В них Николай Александрович является художником своего времени, видевшим в общественной, социальной жизни тогдашней России, ее общества жестокие несправедливости. Он пытается пока одиноко в живописи указать на них, не складывая оружия, работает на избранном им пути. Одновременно он становится со смертью Крамского одним из самых деятельных руководителей художественной организации Передвижного товарищества, давая ему возможно серьезное направление, придавая в то же время моральную устойчивость. Голос его звучит на собраниях; слушают его внимательно, почти так же, как привыкли слушать Крамского.

ГЛАВА IV

Николай Александрович, правдивый, принципиальный, не выносил фальши ни в людях, ни в искусстве, он не терпел пошлости и людей, пораженных этим недугом. Им не было места в сознании, в сердце Ярошенко. Мы знали людей с большим именем, коим была раз и навсегда заказана дорога к Ярошенко, в их квартиру на Сергиевской или излюбленный всеми знавшими их балкон в Кисловодске. Таков был этот корректный, но такой кзыскательный к себе и к другим человек... Такова была его природа...

Чтобы еще яснее охарактеризовать Николая Александровича, отступил несколько назад, к его молодым годам, к его «женитьбам». Невеста его была ему под стать, она исповедыва-

ла те же убеждения, что и он, училась на Бестужевских курсах, была деятельной общественницей и, так же как и он, любила искусство, мечтала стать художницей. Вот что я слышал уже от пожилой женщины, когда Николая Александровича не было в живых.

Полюбив друг друга, строя планы на будущую жизнь, они подошли к вопросу: можно ли заниматься искусством серьезно, отдавая ему все свои силы, будучи супругами-друзьями? Не будет ли такое невольное соревнование им помехой? И пришли к тому, что один из них должен отказаться от мысли стать художником. Мария Павловна (так звали жену Николая Александровича), признавая за ним больше прав, больше шансов на серьезный успех, словом, его превосходство, мужественно отказалась на всю жизнь от мысли идти одной дорогой с ним, и за всю жизнь, живя душа в душу, ни разу не взяла кистей в руки.

ГЛАВА V

Вернусь ко времени моего дальнейшего сближения с Н. А. Ярошенко. Произошло оно в тот год, когда я приехал на Передвижную «Пустыньку», когда на той же выставке впервые появился В. А. Серов с чудесным портретом своего отца (коим он, говорят, тогда не был доволен). Крамского уже не было в живых, хотя память о нем была еще свежа. Николай Александрович встретил меня ласково, вспомнил свое посещение моей мастерской в Москве за три года перед тем. «Пустыньку» как искусство ему, как и всем, тогда понравился, ну, а как тому мне не ставили в вину, быть может, по молодости моих лет, «по неразумению» моему. Вот тогда-то я и был впервые приглашен на Сергиевскую, где позднее, на протяжении многих лет, привык бывать, как в родной семье, встречая неизменное радушие, встречая там немало интересных и симпатичных мне людей. Скоро я стал понимать, уяснять основные черты характеров супругов. Оба, согласные в главном, во взглядах на современную им жизнь, на общество того времени, различались, так сказать, в «темпераментах». Николай Александрович — всегда сдержанный, такой корректный; Мария Павловна — пылкая, непосредственная, нередко не владеющая собой, — но оба большой, хорошей культуры, образованные, глубоко честные.

Николай Александрович обладал тонким юмором лужанина-украинца, был приятный, остроумный собеседник, — конечно, среди людей ему любезных. Круг его знакомств был определенный — это передовые люди той па-

мягкой эпохи. Бывали и ученые, и артисты, но больше всего художники — передвижники по преимуществу. Встречал я на Сергиевской Д. И. Менделеева, Короленко, Михайловского, Петрушевского (химика). Бывал там П. П. Павлов, Е. В. Павлов и ряд профессоров Военно-медицинской академии и других высших учебных заведений прогрессивного лагеря. Мало ли кто не стремился на Сергиевскую тех дней. Шла туда и учащая молодежь. В своих «Давних днях» я описал одну из таких «ярошенковских» суббот во время «слета» членов Товарищества со всей России к выставке. То была суббота — ужин в год появления, после долгих лет молчания, П. П. Ге с его «Христом перед Пилатом».

К тому времени художественное лицо П. А. Ярошенко сложилось совершенно. Были написаны: прекрасный портрет Стрелетовой, «Курьестка», «Студент», что в Третьяковской галерее, и много других портретов с частных лиц.

Кому была дорога на Сергиевскую к Ярошенко заказана, — это людям с «подмоченной» моральной репутацией...

У Николая Александровича была цельная натура. Он всегда и везде держал себя открыто, без боязни выражая свои взгляды, он никогда не шел ни на какие сделки. Предлагаемых ему портретов с великих князей не писал, на Передвижных выставках, при ежегодных их посещениях царской семьей, не бывал.

ГЛАВА VI

Через год после «Пустынника» я привез в Петербург своего «Отрока Варфоломея». Часть старых передвижников его приняла враждебно, среди них Николая Александровича Ярошенко не было, чему я был несказанно рад. Против «Варфоломея» встали не только некоторые из старых «товарищей» с Мясоедовым во главе, но и их друзья с «воли»: В. В. Стасов, Д. В. Григорович и кое-кто еще. Однако моя картина, приобретенная еще в Москве П. М. Третьяковым, прошла большинством голосов, и попытка «стариков» навязать картине, несуществующий смысл, не удалась. Она писалась как легенда, как стародавнее сказание, шла от молодого, раненого сердца, была глубоко искренна, — такой осталась на многие годы, до наших дней включительно; так она воспринимается и современниками почти через шестьдесят лет по ее написанию.

Очевидно, всего вышеуказанного было достаточно, чтобы Николай Александрович не стал ко мне враждебно настроенным.

Близость моя к Ярошенко имела для меня во многом воспитательное значение. Узкая

в тот раз из Питера, я был зван обоими супругами «погостить» к ним в Кисловодск, не предполагая, что такие «гостины» наступят в то же лето. Вышло это совершенно неожиданно.

По дороге в Уфу на пароходе я сильно простудился, домой приехал больной, мне становилось день ото дня хуже. Пригласили доктора П., тогда считавшегося лучшим. Он осмотрел меня, покачал головой и объявил, что у меня эксудат, что этот гнойник необходимо вскрыть, и чем скорей, тем лучше. Послал к П. на квартиру за инструментами. Доктор был по специальности гинеколог, но, за отсутствием лучших врачей по другим болезням, был, что называется, «на все руки мастер». Но П. был не только врач, не только опытный гинеколог, главное, чем был он страстно увлечен, — это церковным пением; считая себя опытным руководителем созданного им любительского хора, увлекался этим делом, забывал все остальное. Вот и тут, у меня, больного, он с жаром повествовал о том, как вчера за обедней он «провел концерт Бортнянского». Затем, как бы опомнившись от столь сладостного воспоминания, мой счастливый регент-хирург приказал принести из погреба холодного квасу.

Мне было сказано встать с моего «огра болезни» и сесть в кресло против света, а тем временем мой «гинеколог» осматривал привезенные инструменты, говоря безумолку о своей музыкальной страсти и успехах в этой области.

Квас был подан, мне было сказано: сидеть «молодцом», все-де будет кончено в минуту, и завтра я буду здоров. На что, думаю, лучше!.. Ланцет вошелся в мою грудь, хлынул гной. Я сидел недвижимо. Мне дали выпить из ковша холодного, со льда, квасу и совершенно обессиленного уложили в постель. Прошел день... их прошло несколько, боль не унималась, лучше мне не было. П. ездил ежедневно, покачивал головой, что-то мычал нечленораздельное про себя до тех пор, пока не догадался свалить все на «плохой климат Уфы» («климат у нас в Уфе был прекрасный») и тогда же посоветовал мне, не откладывая в дальний ящик, отправиться на юг, в Крым или на Кавказ. Вот тут-то я и вспомнил о приглашении супругов Ярошенко приехать к ним летом в Кисловодск.

В тот же день послал им телеграмму, а на другой день был ответ: меня будут ждать и выедут, по телеграмме с дороги, встречать на Минеральные воды.

Через несколько дней я увидел красоты Северного Кавказа. На Минеральных меня ждала Марья Павловна Ярошенко. Со мной в поезде приехал на группы известный тогда

в Петербурге хирург, Евгений Васильевич Павлов (с него незадолго перед тем Ребин написал чудесную небольшую вещицу — «Евгений Васильевич Павлов во время операции»; она тогда же была приобретена П. М. Третьяковым). Я встречал Е. В. Павлова у Ярошенко на Сергиевской; тогда про его удачные операции и про его рассеянность ходило много толков. Евгению Васильевичу я поведал о своем недуге, и он обещал в ближайшие дни быть в Кисловодске у Ярошенко, осмотреть меня и назначить лечение...

Мы все, приехавшие с поездом и встречающие, двинулись на тройках, на двадцати или более, на группы.

ГЛАВА VII

Дамы нервные или настроенные на романтический лад ожидали встречи с «абреками». Вот и Пятигорье, слева Машук, против него красавец Бештау. Обогнув Бештау, увидели Пятигорск, а дальше, далеко слева, сиял на утреннем солнце Эльбрус.

Все это было до проведения узкоколейной дороги от Минеральных до Кисловодска, до разных новшеств, курзалов, театров, больших гостиниц. Проехали скучные Ессентуки, с их семнадцатым номером. Показалась Ольховка, а там Бургустан с Кольцом-горой, со станцией Кисловодской, с ее голубыми, розовыми, белеными казачьими хатками. А вот и сама кисловодская группа. Здесь все еще так примитивно! Проехали галерею нарзана и через несколько минут, поднявшись в гору, очутились у собора, в двух шагах от которого была усадьба Ярошенко. Мария Павловна купила ее случайно за бесенок, постепенно обстроилась там, заменив белые хатки небольшими домами, в коих стали летом проживать знакомые Ярошенко: Владимир Григорьевич Чертков с семьей, большая семья историка С. М. Соловьева, группа профессоров-врачей и кое-кто еще. Самы Ярошенко поместились в ближнем к улице домике, где была и небольшая мастерская Николая Александровича. К домику примыкал балкон, очень вместительный, на нем, как на балконе доктора Срегина в Ялте, постоянно были посетители. Кого-кого на нем не перебывало!

Николай Александрович задумал расписать балкон в помпейском стиле по увражам, ему в этом помогала дочь историка Соловьева Поликсена Сергеевна (ее псевдоним, как талантливой поэтессы, был «Аллегро»). Во втором доме, побольше, жили Чертковы, а когда-то там жила Э. А. Шан-Гирей (княжна Мери), у них бывал Лермонтов. От того времени остались лишь три каменных ступеньки, по которым частенько взбегал Михаил Юрьевич.

Осмотревшись, я не считал удобным для себя остаться у Ярошенко, нанял себе поблизости от них «вольную» комнату, постоянно бывая, столуясь у Ярошенко. Встречаясь там часто с Чертковым, беседуя о Толстом, о его учениц, я чувствовал немалое желание Владимира Григорьевича вовлечь меня в толстовство, однако, питая восторженное преклонение перед гениальным художником Толстым, я не чувствовал влечения к его религиозно-философским воззрениям. К тому же слышал, что и сам Лев Николаевич иногда будто бы непрочь был посмеяться над увлечениями некоторых толстовцев. Николай Александрович в это время писал небольшую картину «Больная» — с жены Черткова, той самой, с которой в свое время была написана им «Курсистка». Картина эта принадлежит Государственному русскому музею.

ГЛАВА VIII

Скоро началось для меня такое приятное по воспоминаниям время. Обычно к вечеру мы с Николаем Александровичем собирали свои художественные принадлежности и вдвоем уходили на этюды: в одну из балок, или в Ольховую, или в Березовую, там выбирали себе место по вкусу близко один от другого и начинали писать. Николай Александрович был опычнее меня. Он скоро ориентировался и начинал работать. Этюды были написаны сильно, точно, но в них не было «чувства», той поэтической прелести, что бывали в этюдах Левитана. Если мы сидели близко один от другого, то велись интересные разговоры, надолго памятные мне, а дивный воздух этих балок оцеплял меня, одновременно оздоравливая. Время летело, смеркалось, и мы, каждый на свой лад удовлетворенные, возвращались на «помпейский» балкон. Николай Александрович брал графин и приглашал меня пойти с ним по темному уже парку в галерею нарзана, чтобы принести к ужину свежего, только что полученного из источника чудодейственного напитка. На обратном пути, в разговорах, иногда спорах, проходили мы по темным аллеям парка домой, а там на балконе уже кто-нибудь был, ожидал нас. Евгений Васильевич Павлов давно успел побывать в Кисловодске, осмотрел меня, поставил диагноз, сказав мне, что будет к нам наведываться, а я чтобы хорошо питался, ел бы больше винограда, дышал бы этим целебным воздухом, равным, быть может, только несравненному воздуху «Вечного города». И я незаметно стал крепнуть; дренаж, вставленный в отверстие, сделанное «гинекологом» на моей груди, стал входить ту же и ту же.

У Ярошенко в это время гостила артистка Московского Большого театра Махина — маленькое избалованное создание (говорили, лучший Торопка из оперы «Аскольдова могила»). Махина вставала не раньше двенадцати часов — прифранченная, такая миниатюрная, — с большими капризами выходила в столовую, как на сцену, и тут же шопалала на острый зубок к Николаю Александровичу. Она бойко отшучивалась, была довольна собой, была неуязвима.

Рядом с этим шла у Ярошенко жизнь — каких жгучих вопросов там не было затронуто и разрешено теоретически! И все-таки, несмотря на строгий стиль хозяев, дышалось у них легко. Даже такой народ, как артисты, певцы, музыканты, раньше, чем появляться перед большой публикой в «Казенной гостиной» (лермонтовских времен), спешили на балкон к Ярошенко — показать у них свое искусство.

ГЛАВА IX

Николай Александрович в то лето написал еще одну картину: «Спящего ребенка» — в детской коляске, с маленького сына Чертыковых. Надо сказать, что такие интимные вещи не были доступны таланту Ярошенко, они подходили больше на добросовестные, внимательные этюды. Вскоре Николай Александрович покинул Кисловодск; он должен был быть в Крыму и в Киеве, а я расстался с ним до Петербурга, куда, по настоянию Е. В. Павлова, должен был приехать в сентябре и там от него узнать о своей судьбе, услышать о его решении: ехать ли мне на долгий срок на юг, в Италию, или Евгений Васильевич отпустит меня в Киев, где меня ждали работы в киевском соборе. Сентябрь разрешил этот вопрос для меня благоприятно: рана моя закрылась навсегда, и я немедленно уехал в Киев, хорошо попрощавшись с супругами Ярошенко. Стал наезжать в Петербург два-три раза в год, подгоняя эти свои наезды к выставочному сезону.

Как в предшествующие годы, так и в годы моей близости к Ярошенко Николай Александрович много и успешно работал. Тогда была написана им наиболее популярная в большой публике картина: «Всюду жизнь». Кто не видал ее тогда на выставках в столицах и в провинции, кто не знал ее по многим репродукциям, а затем в Третьяковской галерее! На ней изображен арестантский вагон на остановке, в нем идет своя жизнь людей, соединенных поневоле воедино. Их сейчас сближает хорошее человеческое чувство. К вагону залетели с «волп» голуби, и сейчас, каждый по-своему, рад им; их жуют, стру-

дившись у окна. Какой отдых усталой душе! Но вот поезд тронулся, голуби с шумом отлетели, и потянулись дни, недели, быть может месяцы, тяжелой, однообразной, полневольной жизни до самого «места назначения». Помню я еще одну картину Ярошенко с таким же трогательным содержанием, — это «Мечты». В предраассветный час, за письменным столом, в блаженном, сладком сне, при потухающей лампе, изображен писатель, может быть поэт. Перед ним проходят, как чудные видения, его темы, такие дорогие, совершенные, необходимые. В дверь входит озабоченная жена, видит своего друга таким радостным, счастливым... Увы! Лишь во сне! (А они уже не молоды.) Если бы так было наяву, как хорошо бы им жилось!.. Картина задумана поэтически, в нее вложено истинное чувство, но зачем такой большой размер: он давит ее, мешает ей быть такой, какой, быть может, представлял ее себе автор..

В те же годы были написаны Николаем Александровичем наиболее ценные его портреты деятелей умственного труда: Д. П. Менделеева в его рабочем кабинете, Короленко, Михайловского, прекрасный портрет Владимира Соловьева и, на мой взгляд, лучший — Н. А. Стренепетова; написаны «Студенты», что в Государственной Третьяковской галерее, и ряд портретов с частных лиц.

ГЛАВА X

Чем больше узнавал я семью Ярошенко, тем больше привыкал к ним, любил их. В один из моих последующих приездов в Кисловодск Николай Александрович собрался со знакомым проводником-чеченцем в горы. Он хотел посмотреть на жизнь, на быт в аулах. Поездкой он остался доволен, принял его там хорошо. Он написал интересные этюды к задуманной картине. Картина эта меня не тронула, она не имела в себе обаяния, той жизни, какая должна быть в такой теме, какую взял Николай Александрович (в ауле горцы слушают рассказы о былом). Не было ничего, что бы меня восхитило и в его «Снежке». Впей старый дьячок с традиционной «косичкой» дирижирует хором мальчишек у себя в саду. В картине не было ни южного юмора Николая Александровича, ни сатиры, какая в свое время была в таких темах у Перова. Талант Ярошенко был особый, — талант художника идейного, в таких картинах он был «как у себя дома», он их чувствовал..

Как-то, приехав в Петербург по делу, я чуть ли не в тот же вечер был у Ярошенко. Это было тогда, когда роспись Владимирского собора в Киеве была окончена. Участников

его росписи прославляли на все лады, конечно, были «скептики», к ним принадлежал и Н. А. Ярошенко, не упускавший случая при встрече со мной связываться по поводу нашей содеянного. И на этот раз не обошлось без того, чтобы не сострить на этот счет, а тут, как на беду, попалась на глаза Николая Александровича книжка рапных рассказов М. Горького — «Челкаш» и другие. Он спросил меня, читал ли я эту книжку? И узнал, что не только не читал ее, но и имени автора не слышал. Досталось же мне тогда — и «прокис-то я в своем Владимирском соборе», и многое другое. Я, чтобы загладить свою вину, уезжая, попросил мне дать книжку с собой, и дома, лежа в постели, прочел эту чудесную, живую, такую молодую, свежую книгу. На другой день на Сергиевской мы с Николаем Александровичем вполне миролюбиво рассуждали о прекрасном даровании автора.

Сколько пророчество и упований было тогда высказано по его адресу! Его рассказы и понятия остались такими же свежими, в этом их привлекательность, их неувядаемость...

Время стало брать свое. Николай Александрович стал прихварывать, и я, живя в Киеве, узнал, что врачи у него находят горловую чахотку; он лишился голоса, говорил шепотом или писал.

Приехав в Петербург, я мог в этом убедиться, а из рассказов узнал, что рядом с нависшей бедой у него явилась жажда писать новую большую картину — «Пуда». Тема одна из трагических на страницах евангелия. Но Николай Александрович подошел к ней не столько как художник, а как публицист, как отличитель худых нравов, причём для Пуды послужил ему один из собратий.

Такое начало в искусстве не предвещает хорошего и не в силах оправдать себя. Драма вытекает из ряда событий, ему предшествующих, и должна перебродить в сознании, в чувстве артиста. Если этого не произошло — нет ни драмы, ни картины, и никакая поездка в Палестину и этюды, написанные там, не дадут художественного произведения. Так вышло и с новой затеей Ярошенко. Картина была написана, но ничьего, ни в каких кругах общества, интереса к себе не возбудила, прошла, к огорчению Николая Александровича, незамеченной и поступила в свое время в Полтавский музей.

ГЛАВА XI

Николай Александрович во время своей поездки в Палестину был уже в отставке, носил вместо генеральского мундира штатское

платье и шляпу à la Vandyk, что ему шло больше, чем мундир отставного генерала. Когда в ближайшее лето, по его возвращении из путешествия, я приехал в Кисловодск, то нашел его бодрее, свежее и хотя голос к нему не вернулся, но говорить с ним было легче. Я предложил написать с него портрет тут же около дома, в саду. Он охотно согласился и хорошо позировал мне, сидя на садовой скамейке в покойной позе, в своей шляпе à la Vandyk. Я писал с большим усердием, но опыта у меня не было, и хотя портрет и вышел похож, но похожесть не есть еще портрет, не есть и художественное произведение. Портрет этот также находится в Полтавском музее.

Это было мое последнее свидание с Н. А. Ярошенко. Он умер внезапно, — как показало вскрытие, не от горловой чахотки, все следы которой исчезли, а от разрыва сердца. Утром он сидел у себя в мастерской читая, перед тем попросил их воспитанницу, Александру Александровну Голубеву, принести ему кофе. Когда она вошла к кофе в руках в дверь мастерской, то тотчас же увидела, что все кончено. Николай Александрович был мертв.

Друзья-врачи ревностно лечили его от одлого, позабыв о другом — о сердце, а оно-то и было причиной его смерти.

Похоронили Николая Александровича близко от дома, в ограде собора. Скульптор Позен, передвижник, сделал надгробный памятник с бюстом Николая Александровича. Позднее, в 1915 году, в ту же могилу опустили и Марию Павловну Ярошенко, лучшего друга и спутника по путям жизни его.

По давнему соглашению супругов Ярошенко, их имущество, усадьбу душеприказчики должны были продать, а на вырученную сумму построить в Кисловодске «Горное училище». Наступившие затем события 1917 года, Великая Социалистическая революция дали иное направление наследству Ярошенко: па их усадьбе, объединенной с соседними, был образован позднее Бюдиологический институт имени В. И. Ленина. Бывшие душеприказчики Ярошенко, из коих один — инициатор эти воспоминания, еще до 1917 года принесли в дар Полтавскому музею все собрание картин, рисунков и альбомы его, где все это и хранилось до сего времени в полном порядке в особом зале имени Николая Александровича Ярошенко.

ГЛАВА XII

Летом 1918 года на Северном Кавказе шли бои. Кисловодск переходил из рук в руки, и я как-то получил телеграмму, в которой меня

просили обратиться в Москве к кому-либо из правительства и ознакомить с положением дела усадьбы Ярошенко, в которой белые уничтожили музей.

Мне посоветовали обратиться с этим делом к Надежде Константиновне Крупской, что я и сделал. Она приняла меня, внимательно выслушала и сказала, что к восстановлению порядка в усадьбе Ярошенко будут приняты меры.

Через какое-то время я получил письмо из Кисловодска, в котором мне сообщили, что по распоряжению В. И. Ленина, который, как и Крупская, любил и ценил Ярошенко, на

его могиле было устроено траурное торжество, говорились речи, посвященные его памяти, а затем огромная процессия двинулась к дому Ярошенко. Был восстановлен музей в этом доме, и улица, прежде «Дондуковская», была переименована в «улицу Ярошенко». Так кончилась эта чудесная жизнь, жизнь человека, неустанно думавшего, чтобы людям жилось лучше, чтобы социальные условия их быта были иными.

Жизнь Ярошенко была хорошая, достойная жизнь. Кто не помянет добром художника Николая Александровича Ярошенко, горячо любившего свою родину и так много поработавшего для блага ее народов!

Рыцарь театра

(1. А. П. ЮЖИН-СУМБАТОВ. Воспоминания. Записи. Статьи. Письма. Редакция, статьи и комментарии Вл. Филиппова. Изд-во «Искусство». М.—Л. 1941. Стр. XX + 702

2. В. ФИЛИПPOB. Актер Южин. Опыт характеристики. ВТО. М.—Л. 1941. Стр. 147)

1

«Давно по Шиллеру мы знаем судьбу актера. Мим умирает и вместе с ним все его создания. Но трагедия его творческой судьбы этим не исчерпывается: имя актера живет как воспоминание, а через немного лет — как пустой, хотя иногда и громкий звук, и звучит еще тогда, когда уже навеки, безвозвратно погибло все, что он создал. Творец величайших, но умирающих в момент своего рождения созданий остается перед лицом всего будущего одиноким и незащищенным»¹.

Эти горькие слова о судьбе актера А. П. Южин-Сумбатов произнес в 1921 году — в год, когда величайшая из русских артисток Мария Николаевна Ермолова покидала навсегда сцену после пятидесяти лет героического ей служения. Но как ни всеобща, казалось бы, применимость этих слов к судьбе каждого актера, — они менее всего применимы к самому Южину.

Он был счастливцем во всем.

Он с детства мечтал стать актером — и стал им рано, на самой заре; почти без усилий, всего двадцати пяти лет, вошел он в 1882 году в знаменитую, строго замкнутую труппу Малого театра и в течение срока пяти лет развернул в нем свой актерский талант во всей доступной ему полноте. Можно утверждать, что ни один из актеров Малого театра не проявил на его сцене свою творческую волю с такой свободой, как Южин. За сорок пять лет он сыграл в

Малом театре 235 ролей, и не было той грани, того оттенка в его актерском даровании, который не удалось бы ему обнаружить в той или другой из этих ролей. Южин сыграл все, что хотел, — а какой другой актер может повторить это про себя? Южин сыграл шестнадцать ролей в пьесах Шекспира, — и в их числе Гамлета, Яго, Отелло, Макбета, Ричарда III, Шейлока, Петруччио. Со времени В. Каратыгина Южин был единственным русским актером, которому удалось выступить в «Кориолане», — и он же был первым русским актером, который выступил Цезарем в «Антонии и Клеопатре» и Постумом в «Цимбелине».

Ни Мочалов, ни Каратыгин не могли помыслить об «Эгмонте» Гете. Он был запрещен Николаем I, а Южину улыбнулось счастье: он первый из русских актеров выступил в образе этого борца за свободу своей отчизны.

Сколько русских актеров мечтало о маркизе Позе в «Дон-Карлосе» Шиллера, но трагедия была под запретом, — и только Южину удалось, для своего бенефиса, разрушить этот запрет и сыграть «рыцаря духа» Позу без всяких вымарок. Какое количество актеров героического амплуа, любителей красивого слова и благородного жеста влек к себе рыцарь Дюнуа в «Орлеанской деве», — и Южину первому посчастливилось выступить в этой роли и быть ее бессменным исполнителем с лучшей в мире Иоанной д'Арк — с великой Ермоловой. А «Мария Стюарт»? Наши отцы помнили Южина порывисто-страстным Мортимером; в свои самые

¹ А. И. Южин-Сумбатов, стр. 463.

раппине годы мы видели Южина в той же драме надменным и изящным Лейстером, а много лет спустя мы видели его там же суровым и благородным Паулетом¹, — кто же другой, кроме Южина, в течение четверти века не выходил из драмы Шиллера, как из романтического замка? Ведь даже Ермолова, великая артистка, с грустью рассталась с Иоанной д'Арк и с Марией Стюарт, не перейдя на роли королевы Изабы и Елизаветы. А Южин не расставался с вечно юной «бурей и натиском» Шиллера.

Но удача Южина была еще больше, счастье еще полнее.

Южин много раз признавался, что, вместе с Шиллером, его любимейший драматург — Виктор Гюго, и Южину суждено было открыть в России филиал романтического театра Гюго; он первый сыграл запрещенных ранее «Эрнани» (роль Карла V) и «Рюи-Блаза». С этими ролями был связан особый — не только театральный, но, так сказать, гражданский — успех Южина.

«Монолог «Так вот они, правители страны!» читался артистом с необычайной силой. Все изгибы чувства, гражданская скорбь о погибающей родине, любовь поэта-юноши к прекрасной королеве и честное возмущение полостью грандов, грабящих страну и обративших попрание государственной деятельности в арену для аферы, — все это передается артистом превосходно»².

Все это передавалось Южиным так, что действительные, статские советники, сидевшие в театре, спрашивали недоуменно: «Чего же смотрит пензура?»

В глухие годы — в «восьмидесятые годы» — Южин речами Рюи-Блаза громил российских «грандов», мечтавших о возвращении крепостного права.

За исполнение «Эрнани», великодушное по своей романтической звучности, Южин был увенчан соотечественниками В. Гюго: он получил от Французской республики знаки академических пальм (Officier d'Academie).

Актер, признанный основателем романтического театра, Южин, так же, как в трагедии и романтической драме, был счастлив и в высокой комедии и в современной пьесе.

Ему рукоплескал Островский в «Без вины виноватых», сам вручивший молодому актеру роль Муроа. Когда Островский ставил своего

«Воеводу», он записал в дневнике: «Генеральная репетиция «Воеводы». Выдаются: Рыбаков, Садовский, Южин»¹; великий драматург, строгий к актерам, поставил Южина, игравшего молодого Бастрыкова, в ряд с любимейшими своими актерами и ни словом не упомянул об Ермоловой и Ленском, занятых в том же спектакле. В репертуаре Островского Южин создал отличный образец реалистического мастерства — памятную всем фигуру «московского барина с ветром в кармане» — Телятева в «Бешеных деньгах».

Как труден бывает для актера переход от героико-любовных ролей молодости к характерным ролям средних лет и к старикам, — для иных этот переход просто бывает невозможен.

Блестящая Савина так и не научилась играть пожилых женщин.

Для Южина и этот переход был нетруден ни в романтической драме (вспомним его трилогию: Моргимер — Лейстер — Паулет), ни в высокой комедии.

Была у него такая же удачная актерская трилогия в любимом им «Горе от ума»: один из самых ярких Чацких, Южин был потом еще более ярким Репетиловым, а 7 декабря 1926 года, в последний свой выход на сцену, он продолжал быть своеобразным, никого не повторявшим, Фамусовым. Было и есть много тонких ценителей актерского мастерства, истинных распознавателей тайн и чарований актерского искусства, которые именно в комедии видели высшее торжество Южина-актера.

Одна из самых блестящих актрис советского театра, наследница артистической славы рода Самойловых, народная артистка республики Вера Аркадьевна Мичурнина-Самойлова, не одному мне передавала свое впечатление от игры Южина в роли лорда Болинброка в «Стакане воды» Скриба. Она вошла к нему в уборную с недовольным видом, и он не без заботы спросил ее:

— Ну, что?

— Да что, — с деланным неудовольствием отвечала она. — Звали на стакан воды, а угостили стаканом шампанского!

Как часто актер бывает безгласен в своей речи на сцене: он не умеет ничего сказать и написать о своем искусстве, не умеет защитить себя словом, не умеет высказать свое творческое credo на бумаге. Южин, наоборот, словом и пером защищал себя как актера от нападок всяких противников, развивал свои теоретические взгляды на театр, боролся за эти взгляды с кафедры и со страниц книг и журналов. И более того:

¹ А. Н. Островский. Дневники и письма. Под ред. Вл. Филиппова. М.—Л. 1937, стр. 87.

Южин с блестящим красноречием писал и говорил публично о том, что ему близко и дорого в искусстве. Его речи о Федоре Волкове, о Мочалове, о Щепкине и об Ермоловой широко разносились из залов, где они произносились, по всей стране.

Я помню заседание Общества любителей русской словесности в 1902 году по случаю пятидесятилетия со дня смерти Гоголя. На нем выступали профессор и академики, но запомнил я только речь Южина (он — редчайшая честь для актера! — был членом этого общества), хотя читал он всем известное стихотворение Некрасова «Блажен незлобивый поэт».

Это была речь страстная, полная мысли, речь о великом драматурге,

чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений.

Стихами Некрасова Южин выражал свои заветные мысли о величии театра как художественного подвига во имя общественной правды и человеческой свободы, — и я до сих пор помню то скорбные, то гневные интонации этой политической речи, произнесенной стихами: они глубокой железной бороздой врезались в сердце и в совесть.

В своем «Дневнике» Сумбатов записывает: «В этот же сезон (1882—1883 года. — С. 7.) кончил драму «Сергей Сатилов» и отнес на просмотр к Островскому. Он очень хвалил, сделал свои заметки на полях и советовал предоставить пьесе на его усмотрение, чтобы переделать ее и провести».

Островский — прославленный классик русской драматургии — предлагал начинающему драматургу Сумбатову (ему было тогда только двадцать пять лет) то, на что с такой величайшей готовностью шли Н. Я. Соловьев, автор «Кениты Белугина», П. М. Невежин, автор «Блажи», — предлагал вступить с ним в соавторство. Это означало прямой путь для пьесы в Малый театр и в лучший журнал эпохи — в «Отечественные записки» (там печатались пьесы Н. Соловьева и Невежина, написанные с помощью Островского).

Но, признается сам себе Сумбатов, «мне этого не хотелось»¹. Он не согласился на соавторство с Островским, а предпочел идти своим собственным путем. Путь этот не был свободен от терний.

Драма «Сергей Сатилов» (где выведен кулак Левшафанов, «мелкий трус пред всяким начальством, лютей зверь пред всякой слабостью», добывающийся ссылкой в Сибирь своего противника, честного и прямого Сергея

Сатилова) была запрещена цензурой и никогда не появлялась на сцене в царские времена. Еще раньше такой же участи подверглась его пьеса «Дочь века», а несколько позже — драма «Царь Иоанн IV»¹.

Но у Сумбатова-драматурга был такой же крепкий волевой закал, как у актера Южина, — и он продолжал идти своим путем.

Сила воли была и в творческой, и в жизненной натуре Сумбатова-Южина. Его вдова, М. Н. Сумбатова, вспоминала:

«Будучи второклассником, он никак не мог добиться среди школьников популярности. Однажды он на пари предложил лечь под идущий поезд. Весь класс, не доверяя мальчику, высыпал за город, и Саша Сумбатов лег между рельсов под проходивший товарный поезд. Его нашли с окровавленными руками, глубоко зарывшегося в железнодорожную насыпь, мертвенно бледного, с расширенными от ужаса глазами и с гордой улыбкой на устах».

Передавая этот эпизод, В. А. Филиппов справедливо видит здесь в Саше Сумбатове «и крепкую волю и любовь к эффекту, яркости и красочности»².

То и другое осталось и расцвело пышно и в актере Южине и в драматурге Сумбатове. Первый умел играть сильных людей — от юного Цезаря до железного Кромвеля (в трагедии А. В. Луначарского), и не только не боялся, но любил на сцене «эффект, яркость и красочность». Второй, драматург Сумбатов, писал всегда то, что диктовал ему актер Южин. В персонажах Сумбатова, будь это молодой Иоанн IV, будущий Грозный, кавказский герой, полковник Олтин («Старый закал») или знаменитый хирург Белой («Припийская община»), — через оболочку психологическую, через бытовую плоть или историческую одежду всегда просвечивает актерский образ, написанный с таким «эффектом, яркостью и красочностью», что, кажется, он сам играет себя.

Эту волю актера Южина — писать для театра, творить для актера и на актера — драматург Сумбатов исполнял всегда и превосходно: так превосходно, что не одни русские, а и чужие актеры тянулись к его пьесам, как к желанному Эльдorado для актерского мастерства и таланта. Многие пьесы Сумбатова шли за границу. Сама Сарра Бернар, заслужившая мировую славу, пожелала играть царшу Зейнаб в его трагедии «Измена». Но и тут случилось почти то же, что в истории с Островским. Сарра Бернар после обильных комплиментов трагедии Сумбатова заявила автору, что в одном важном месте ее роль ей

¹ Обе эти пьесы впоследствии были допущены на сцену.

² В. Филиппов. «Актер Южин», стр. 53—54.

необходим большой монолог, так как простой вопрос, выражающий в одном слове всю бурю чувств Зейнаб, встречающейся с юношей-сыном, не дает материала для игры.

«Может быть и не дает, — любезно согласился вежливый автор «Измены», — но Ермоловой, создавшей эту роль в Москве, этого одного слова было достаточно», — и наотрез отказался дополнить пьесу.

Пьесы Сумбатова не читались в книге (за исключением разве «Измены»), а смотрелись в театре и в литературе появление их проходило мало заметно.

Но Сумбатов был не менее богат счастьем, чем Южин: один из немногих драматургов нового времени он был избран в 1917 году в почетные академики разряда изящной словесности Академии наук¹.

Небывалый случай в истории русского театра: зритель, а не читатель, провел в «разряд изящной словесности» своего любимого актера-драматурга, и академия признала Сумбатова достойным занять кресло «почетного академика», опустевшее со смертью Сухово-Кобылина.

Когда в 1908 году праздновался двадцатипятилетний юбилей Сумбатова-Южина, среди множества речей и подношений самыми замечательными были одна речь и одно подношение.

Актер К. Месхи, от лица грузинских актеров говорил Сумбатову: «Родина твоя гордится тем, что отдала твои дарования, твои силы, твой талант сердцу России — Москве. Мы же, артисты, младшие твои братья, бесконечно счастливы тем, что ты самое великое творение твоего таланта всецело посвятил Грузии. Так пусть же никто не скажет, пусть никто не посмеет сказать, что ты изменял родной сцене, ибо твоя «Измена» исключает всякую измену».

А под адресом от Литературно-художественного кружка первой подписью стояла подпись Льва Толстого. Вместе с тем Сумбатову был преподнесен первый том полного собрания сочинений Л. Н. Толстого с надписью, сделанной самим автором².

Сумбатов-Южин мог гордиться этим даром: он исходил от великого драматурга, автора «Власти тьмы» и от самого сурового из критиков театра и актеров.

В 1901 году Южин в «Личных заметках об общих вопросах современного театра» выразил всю свою горечь большого художника, острую горечь, вызываемую униженным положением

актера и печальным разложением театра в старой России. «Но я все-таки должен кончить мои заметки моей заветной мечтой, — писал тогда Южин: — пусть русский театр в полном распоряжении просвещенного и готового к своему делу актера с полным правом займет в культурной жизни место рядом с важнейшими просветительными учреждениями!

Жаль только: жить в эту пору прекрасную Уж не придется ни мне, ни тебе!

А все-таки только ради стремления к этому и стоит жить в театре теперь¹.

Южин имел величайшее счастье ошибиться на этот раз в своем предвидении будущего: ему — вопреки его предположению — довелось жить и работать в ту «пору прекрасную», когда театр и актер заняли небывало высокое место в жизни и культуре страны, строящей свое новое бытие.

Южин умер народным артистом республики, после десяти лет плодотворной работы для советского театра.

Но и после смерти Южину выпало счастье, какое не выпадало на долю лучших из русских актеров.

В те месяцы, когда фашисты разрушали культурные ценности его страны, когда от варварских бомб рушились чудесные созданные русской архитектурой, — Южину создавался неруководимый памятник, сохраняющий для новых поколений творческую мечту и художественный труд его жизни.

Перед нами большой, прекрасно изданный том в семьсот страниц, посвящий длинное название: «А. П. Южин-Сумбатов. Воспоминания. Записки. Статьи. Письма».

Если б Южин увидел этот том, вышедший под грозой войны, он вряд ли повторил бы много раз повторявшиеся им слова:

«Актер — пробежавшая зыбь, скользящий луч».

Если это и так, то как этот прекрасный «луч» творчества и мысли Южина «своят и тайно светит» в дневниках, письмах, записках, статьях, речах, даже «докладных записках» Южина-Сумбатова, заботливой рукой В. А. Филиппова, выбранных из огромного архива Южина, сбереженного его вдовой, покойной М. П. Сумбатовой, и собранных в один большой том, которому настоящее название: «Труды и дни Южина».

Перед нами книга о жизни и творчестве замечательного актера, раскрывающая весь его жизненный путь от первого его выхода на сцену в захоластном Одоове, когда он «ля-

¹ А не в «почетные члены Академии наук», как указано В. А. Филипповым («А. П. Южин-Сумбатов»), стр. VIII и 614.

² Ежегодник имп. театров». Сезон 1907—1908, стр. 129—130.

¹ А. И. Ю ж и н - С у м б а т о в, стр. 398.

тилетним мальчишкой играл в любительском спектакле казачка в водевиле Соллогуба «Беда от нежного сердца», до того момента, когда 27 сентября 1927 года жена застала его «за письменным столом; рука его лежала на рукописи,— он был мертв; пьеса («Рафаэль») была закончена, и он успел начертать слово «Конец».

Эта повесть о большой творческой жизни от слова до слова рассказана самим Южиным,—рассказана со всей силой искренних борений, сердечных исканий, умственной борьбы и творческих скорбей и радостей.

Когда страницу за страницей читаешь статьи Южина о театре («Мысли о театре», «Вынужденное возражение», «Культура театра», «Будущее театра», «Романтизм и Островский», «Драматург, актер и их театр»), частью извлеченные из давно забытых изданий, частью впервые печатаемые, когда вслушиваешься в речи Южина о великих актерах прошлого — об Ф. Волкове, Щепкине, Мочалове, Ленском, Ермоловой, когда вчитываешься в доклады и прбкты Южина — руководителя Малого театра, когда, наконец, с живейшим интересом следуешь за беседой Южина в письмах с Г. Н. Федотовой, Вл. П. Непровиачем-Данченко, А. А. Остужевым, П. А. Кропоткиным, А. В. Луначарским,— то невольно думаешь, что жив этот старый рыцарь театра, жив в своей любви к театру и в своем творческом служении ему.

Пусть Южин прав: и «актер — пробежавшая зыбь», но вот актера Южина давно нет на свете, а спящая морская зыбь, подпятая им, продолжает зыбиться в книге его «Труды и дни» и от нее, по слову Пушкина, «душа стесняется лирическим волненьем» — любовью к великому искусству театра и благодарностью к его истинным служителям, одним из которых был Южин.

Книга, изданная Вл. Филипповым, радуется своей цельностью. Можно пожалеть лишь об одном: что составитель не вступился некоторыми второстепенными документами (например, письмом Южина в редакцию «Новостей дня», некоторыми письмами к Южину П. П. Гнедича и т. п.) ради того, чтобы ввести в книгу две статьи Южина о Л. Н. Толстом — «Три встречи», и «Что даст Толстой театру?» Отсутствие этих статей в книге — несомненный пробел. Сам Южин писал про свои встречи с Толстым: «Точно я попадал в ярко освещенное солнцем место, и этот свет моментально, без всякого усилия со стороны Льва Николаевича, вдруг, при каком-нибудь его слове, взгляде, улыбке — разрастался в ослепительное сияние, наполнявшее меня непередаваемым, бессознательным счастьем... Он сам был сильнее того, что он

говорил, и не теми мыслями, которые он высказывал, а всем, чем он мыслил и говорил, он неотразимо и властно охватывал мое внимание»¹. Достаточно этих строк, чтобы посоветовать на отсутствие в книге статей Южина о Толстом.

В книге отведено больше ста пятидесяти страниц «дополнительным материалам» и комментариям, составленным Вл. Филипповым. Комментарии не свободны от оплошностей, но они дают немало ценного для понимания творческой биографии Южина и для истории Малого театра.

2

Что больше всего привлекает в книге А. Н. Сумбатова-Южина, что больше всего руднит нас, советских зрителей и читателей, с Южиным-актером, драматургом, мыслителем, деятелем, человеком?

Это — его страстная, героическая любовь к театру.

В начале своей вступительной статьи В. А. Филиппов ставит имя Южина в ряд великих имен: М. С. Щепкина, А. П. Ленского, К. С. Станиславского. Нет никакого сомнения, что Южин не уступит ни одному из этих славных художников прошлого в своей любви к театру, в своей преданности ему как могучему искусству,— не уступит и в своей борьбе за свободу театра.

Южин, как Мцыри,

Знал одной лишь думы власть.

Одну — но пламенную страсть.

Ей имя — театр, свободный театр свободного актера.

Театр, утверждает Южин в своем предсмертном, итоговом, заключительном слове о театре,— «это художественный отклик на общественные запросы, разрешение их не средствами или приемами кафедры или трибуны, а путем воплощения на сцене, в живых людях, самых сложных коллизий общественной и личной психики. Оратор на трибуне или профессор на лекции может для иллюстрации своего положения или своей теории в одной и той же речи или лекции привести, как нам всем случалось слышать, несколько отрывков

¹ А. Н. Сумба т о в. Три встречи. «Международный толстовский Альманах». «О Толстом». Изд-во «Книга». М. 1909, стр. 325. Кстати сказать, самый этот альманах, выпущенный П. А. Сергеевко к годовщине рождения Л. Н. Толстого, был издан «при содействии Литературно-художественного кружка» (председателем которого был А. Н. Сумбатов).

из монологов Гамлета и Шейлока, Чацкого и Городничего, Поэты и Фигаро, и как мысли, как блестящие выражения тех или других обобщений, все эти отрывки могут произвести сильное впечатление. На сцене не то. Эти же монологи должны быть артистом неразрывно связаны с тем образом, который он дает в данный вечер. Как бы пламенно и темпераментно ни произносил актер, скажем, монолог Поэты, но, если он не дает самого Поэты во всей полноте его человеческой личности, если он не сумеет заставить публику поверить, что эти слова есть выявление живых переживаний живого лица и не могут быть отделены от его морального существа, от его мук и стремлений, от всей его трагической судьбы,—остается пустая, красивая декламация и никакая благая цель ее не оправдывает. Вот почему сцена не может, не должна превращаться в кафедру или трибуну. Актер не поучает словами, а взводит свою душу в душу зрителя и заставляет его жить собою. Если он этого достиг, он заложил в зрителя навеки неизгладимую черту. Меняются этические, религиозные, общественные убеждения в человеке, но художественное восприятие сростается с его существом навеки. В этом разница путей сцены, кафедры и трибуны»¹.

Утверждая внутреннюю автономность, глубокую самообусловленность театра, как искусства, Южин меньше всего хотел, чтобы театр был оторван от жизни, устранен от общественных функций. Наоборот. Чем возвышенней и независимей по существу своему искусство театра, чем могущественнее оно по своим свободным творческим возможностям, тем ответственней его долг перед обществом, тем сильнее, неотступней его обязанности перед народом.

Южин с негодованием говорил по адресу старого, дореволюционного, предпринимательского театра, угождавшего «публике» ежедневным произведением дешевых приторных мелодрам и еще более дешевых обывательских фарсов: «Без всякого остроумия скажу: гораздо честнее развратничать с женщиной, чем с искусством. Не для того люди создали эту чудную арфу, над которой надо плакать слезами счастья и восторга, эту драгоценную розу поэзии, драму, чтобы Корин мог сделать из нее свою мыловарню, публичный дом, что хотите, но приносящее доход»².

В отрывке из «Книжки о театре» Южин писал: «Спектакль, с одной стороны, образец искусства, как картина, как статуя, как поэма, а с другой — это общественное дело

широкого духовного значения... Театр — воплощение духа в жизни, в художественных образах всех глубин человеческого существования, человеческой мысли, страданий и радостей, а живой человек со всем неизмеримым богатством его мечтаний, чувств и переживаний и со всем разнообразием его индивидуальных внешних форм, а также его действий — единственный объект театра и как искусства и как общественного дела»¹.

Величайшее достоинство искусства театра, величайшее счастье актера как творца-художника состоит, по Южину, в том, что театр — самое человеческое из всех искусств: это искусство человеческого коллектива по преимуществу. Мыслимо существование картины без зрителя, книги без читателя, но театр без зрителя есть абсурд, есть уничтожение самого искусства театра как такового. Южин счастлив тем, что искусство актера есть искусство деятельного, непрестанного общения с коллективом зрителей: «Творя на сцене, сценический художник или в действительности, или в воображении, но непременно чувствует, как каждый его вздох и взгляд, каждое слово и движение непременно отражаются на жизни кого-то, кто молча сидит там, в темном зале на спектакле, или кого воображает себе там, в этом зале, актер на речитации или даже в одиночестве своей комнаты, разучивая роль. В сценическом творчестве одним из неизменных условий его процесса должно быть ощущение другой, в о с и р и я н и м а ю щ е й жизни. Это ощущение еще сильнее тогда, когда актер, как принято выражаться, забывает о публике. Он верит тогда и чувствует, что на него глядят, его слушают, с ним вместе живет тот объединенный человек, который называется в давние, шиллеровские времена, человечеством»².

Эти слова писаны (и произнесены) на одном из многочисленных тогда диспутов о «кризисе театра» в 1913 году, задолго до того времени, когда в театр пришел новый зритель и когда коллективное начало в искусстве театра получило высокую оценку у теоретиков театра. В ту пору, когда Южин радовался, что «спектакль есть единственная форма такого создания художественного образа, в котором весь материал живой, живой в самом простом и буквальном смысле этого слова, где не и н у ж н о в е щ е й для создания художественного произведения, а нужны люди», — в ту пору проповедывалось «оуклеение» актера, чтобы лишить его человеческого права на слезы и смех, в ту пору создавались

¹ А. И. Южин - Сумбатов, стр. 534—535.

² Вл. Филиппов. Актер Южин. ВТО. М.—Л. 1941, стр. 19.

¹ А. И. Южин - Сумбатов, стр. 412.

² Там же, стр. 409. (Все разрядки в цитатах принадлежат А. И. Южину.)

системы «театра для себя», изгонявшего «толпу» из театра.

Блестящий исполнитель романтических ролей в театре Виктора Гюго, первый и непревзойденный русский Карл V («Эрнани») и Рюи-Блаз и в то же время чудесный по исторической достоверности Репетиллов и Телятев («Бешеные деньги»), драматург, одним и тем же пером написавший романтическую «легенду из прошлого Грузии» — «Измену», с ее высокими страстями и волнующими монологами, и резко реалистического «Джентльмена», продолжающего сатирическую историю купеческой Москвы, начатую Островским, — Южин-Сумбатов имел полное право на основании собственного творческого опыта утверждать:

«Настоящий реализм есть нечто иное, как органическое слияние быта с романтизмом. Односторонняя разработка романтического начала неизбежно ведет театр к мелодраме в прошлом, к безжизненной символической драме в настоящем, односторонняя разработка бытового начала — к пошлomu натурализму, к мертвой фотографии во все времена.

Лучший пример такого двуединого искусства жизненной правды и жизненной же красоты дает Островский: «драматург влетает в серую ткань быта золотые нити романтизма, создавая из этого соединения изумительно художественное и правдивое целое — реалистическую драму»¹.

В своей речи, произнесенной еще в 1900 году в Ярославле, на торжествах в честь основателя русского театра Ф. Г. Волкова, Южин, воздав пламенную благодарность основателю русского театра и вспоминая с волнением провинциальных русских актеров, которые «делают свое большое культурное дело, голодают, холодают, отчаиваются, мрут... по из года в год... неуклонно продолжают дело» Волкова, с горячей убежденностью восклицал: «Но настает время, когда русский театр выработает и утвердит бессмертные заветы Мочалова, создавшего школу русского театра; когда русский актер, образованный и обеспеченный, чуткий и трудолюбивый, пробьет себе в обществе то место, на которое он имеет полное право по сущности своего дела, — место общественного и государственного слуги-деятеля; когда он завоеует общее уважение к себе и полное признание своего дела; когда он об руку с русским драматическим писателем создаст тот национальный театр в широком смысле этого слова, основу которого положили Фонвизин, Грибоедов, Гоголь, Островский, Мочалов, Щепкин, Садовский и Мартынов, тот театр, которому чужды будут все

пошлые искажения и искривления, навешаемые модой и извращенными, пресыщенными вкусами меньшинства; театр, свободный от пошлых и низменных родов сценического дела, присвоивших себе имя театра без всякого права; театр, в котором русская жизнь и русские идеалы сольются с вечными идеалами человечества, не утрачивая своего национального, народного духа, своей тесной связи с родной семьей»¹.

Это время настало в 1917 году, когда впервые за все время существования русского театра он стал народным в прямом и полном смысле слова. Южин принял Октябрьскую революцию как могучую эпоху, «когда, наконец, осуществилось то великое ожидание, которым был полон русский театр прошлого, теперь, когда его двери перестали быть запертыми для широких народных масс, когда театр расширил до необозримых размеров горизонт своего влияния, встретился лицом к лицу в своих залах с теми, чьей свободе и праву на счастье, свет и красоту он служил лучшими своими силами неустанно более века»².

Как актер, как художественный руководитель и директор Малого театра в годы революции, Южин сделал много для того, чтобы старый славный корабль Малого театра, построенный Щепкиным и Мочаловым, оснащенный Гоголем и Островским, молодо, твердо и верно поплыл по великому руслу, проложенному широким потоком революции. Малый театр первым из старых театров включил в свой репертуар пьесы советских драматургов, и Южин, едва ли не первый из крупнейших актеров бывших императорских театров, выступил в пьесе советского драматурга, с большим увлечением и творческим подъемом создав монументальный образ Оливьера Кромвеля в одноименной трагедии А. В. Луначарского.

Новый зритель внушает старому рыцарю театра глубокое уважение. Любовь этого нового зрителя к Малому театру засвидетельствована наркомом просвещения: «Публика инстинктивно идет к нему, и в прошлом году он имел наивысшие среди всех других театров сборы в смысле количества посещаемости»³.

Этот новый зритель умел оценить романтическую красоту и реалистическую правду Южина-актера.

В сезон 1918/19 года Южин впервые сыграл роль новгородского посадника, Глеба

¹ А. И. Южин-Сумбатов, стр. 96—97.

² Там же, стр. 254. Статья «Культура театра».

³ А. В. Луначарский. Будущее Малого театра. Сборник «Сто лет Малому театру». М. 1924, стр. 20.

Мироновича в драме А. К. Толстого «Посадник».

По свидетельству А. В. Луначарского, «Посадник» с участием Южина производил на рабочую и красноармейскую массу неотразимое революционное впечатление... Я никогда не забуду тот спектакль, на котором вся зала была наполнена проходившим через Москву на запад полком красноармейцев-крестьян, набранных в захолустных уездах Заволжья. С огромным такам-то, подавленным вниманием, а в завершительном моменте даже со слезами, смотрели красные солдаты на внезапно раскрывшееся перед ними зрелище»¹.

Южин верил в отзывчивость Малого театра на запросы нового зрителя, потому что был убежден в вечно живой и цветущей силе реалистического искусства и потому что верно понимал творческую природу театра:

«Театр есть коллективный и вечно обновляющийся, а не единственный, индивидуальный художник, переживающий свои стадии роста, расцвета, увядания и, конечно, смерти. Театр вечно молод тем притоком талантов, какие выделяет из себя народ. И все эти бредни о смерти театра — клевета на него, полного неистощимых сил. Смертен и мимолетен лишь тот театр, который построен на одном человеке, его создавшем на принципе преобладания»².

По чем больше убежден был Южин в правде реалистического театра, тем сильнее борьбу пришлось ему выдержать с противниками реалистического искусства.

Это было, помнится, в 1921 году.

Вспоминается холодное, унылое помещение одного из второстепенных театров в переулке, полузапесенном снегом.

Там происходило собрание московских актеров; должны были обсуждаться по программе дня насущные, творческие вопросы, сводившиеся к одному: чем быть театру в дни революции и какое искусство актерам нести в народ, широкой волною вливающийся в двери театров, настель раскрытые для нового зрителя?

Таково должно было быть содержание этого актерского митинга. Но оно не было таким. «Завоевателями» на нем оказались крикливые представители левого, левейшего и налевейшего фланга, сплошь зараженные формализмом, экспрессионизмом, футуризмом, биомеханизмом и прочими видами «детской болезни».

¹ А. В. Луначарский. Староста Малого театра. Сб. «А. П. Южин-Сумбатов. 1882—Малый театр — 1922». М. 1922. Изд. Ю. Писаренко, стр. 8.

² А. П. Южин-Сумбатов, стр. 341.

левизмы». Они просто-напросто требовали закрытия Малого театра, как непоколебимой крепости-твердыни реализма. На меньшем они не согласны были помниться. Чем холодней было в театре, чем плотнее собравшаяся актерская публика куталась в шубы и пальто, тем шумливее и озорнее раздавались лозунги вроде: «Долой Островского! Смерть быту! Долой Малый театр! На пенсию собеза Щепкина и Садовского!» Эти люди словно отогревались на этих жарких словах и горящих выкриках. Но другие — актеры Малого и Художественного театров, присутствовавшие тут же, — словно зябли от этих же слов, рубивших с плеча то здание художественной правды, которое воздвигнуто Щепкиным и Гоголем, Садовским и Островским.

В это время из рядов публики поднялся Южин и попросил слова. Грузный и пожилой, он протискивался не без труда к столу президиума. В толстой шубе, в меховой шапке, он тяжело дышал, и на его открытом, с резкими чертами лице были написаны усталость и... негодование.

Председательницей собрания была какая-то актриса, фамилия которой ничего не говорила даже самому внимательному московскому театралу, но в костюме, в гриме которой (да, был грим, хотя она и не играла в данный момент никакой роли, кроме роли председательницы) было много кричащего экспрессионизма.

Председательница оглянула Южина, медленно поднимавшегося на сцену, в черепаховую лорнетку и процедила сквозь зубы:

— Слово принадлежит гражданину...

Пауза подчеркнула, что это слово сознательно выбрано вместо другого: «товарищу». Она заглянула в бумажку, словно позабыв фамилию, и повторила:

— Гражданину... Ю ж и н о м у.

Это был презрительный трюк по адресу руководителя Малого театра: Южин был актер фарса, одно время «державший» весьма легкомысленное кабаре в помещении Камерного театра. Невозможно было допустить, чтоб «председательница» не знала Южина по фамилии, по ей, конечно, казалось, что она, смеяв Южина с Южиным, очень едко высмеяла знаменитого актера и руководимый им театр.

Некоторая часть присутствующих отлично это поняла, и один из старых актеров Художественного театра вслух крякнул от негодования:

— Чорт знает, что такое!

Южин же, взойдя на подмостки, ничем не отозвался на дерзкую выходку. Он будто не слышал и не видел ни председательницы, ни

смеющихся «футуристов» в первом ряду. Он распахнул шубу, перевел дух и начал говорить.

Я не берусь передать содержания его речи, но она вся, от первого до последнего слова, была полна глубочайшей любви к театру жизненной правды и жизненного же подвига, она была полна негодования на всякое извращение театра, старое и новое, она утверждала, что вне широкого пути, проложенного к правде и красоте Щоплиным и Гоголем, Островским и Садовским, нет других путей для народного театра, рожденного под октябрьской грозой 1917 года. А что касается до закрытия Малого театра, вот как высказывается об этом Южин в статье «Вынужденное возражение» (1921 год):

«Какое дело, в сущности, всем этим застрельщикам и загощникам до того, что эти художественные коллективы (Южин разумеет реалистические театры — Малый, Художественный, б. Александринский. — *С. Д.*) слагались десятилетиями, путем долгого и осмысленного труда, что их вольная творческая сила создавала и совершенствовала из поколения в поколение русский театр, делала из него сильного борца за труд и свободу, за победу и труда и свободы над угнетением духа и мысли, в каких бы видах и формах этот гнет ни проявлялся?..»

Южин произнес эти слова после только что прозвучавших и в печати и на описываемом собрании призывов: «взорвать Малый театр, как реакционный театр-музей, театр-богадельню». Южин принимал вызов и отвечал на него так, как отвечают лишь те, кто сознает историческую правоту своего дела: с величайшим достоинством и с непоколебимой твердостью:

«Зоя не обвинял Гюго за неблагонадежно легитимистические ноты Рюи-Блаза или империалистические тенденции его Карла V из «Эрнани» перед молодой Третьей республикой, а просто писал свою «Терезу Ракен» или переделывал свой «L'assomoir». Антуан, создавая свой театр, не обращая к министру *des cultes et des Beaux Arts* с мольбой передать ему *Comédie Française* с имуществом, субсидией и правом прикрепления актеров к его театру!»

Говоря об Антуане и о «*Comédie Française*», Южин опять-таки попадал не в бровь, а прямо в глаз: он знал, что формалисты всех толков, прикрываясь фиговым листком левизны, осаждают наркома просвещения А. В. Луначарского просьбами о передаче им русской «*Comédie Française*» — Малого театра, «с имуществом и субсидией». Южин произносил эти слова с внутренним спокойствием, так как хорошо знал, что все эти просьбы

встречают неизменный отказ со стороны первого советского наркома просвещения, высоко ценившего творческое дело Малого театра.

Подлинным волнением вспыхивала речь Южина, когда он возвращался к своему театру. Великолепный оратор, он был преданнейшим работником великого дела Щепкина и Гоголя, когда утверждал бестрепетно, прямо, смело:

«Говорить о дряхлости дуба только потому, что он дуб, а не береза, не липа, не тополь, — ложь. А когда еще будущие березы и липы существуют только как пророчество, когда надо еще с прискорбием установить, что многое, показавшееся из-под земли под псевдонимом молодого тополя, оказывается просто-напросто чертополохом, то рано еще рубить тенистый и очень еще молодой, очень богатый будущим, могучий лес».

Будущее показало, какую правду говорил Южин, когда так убежденно, со всей полнотой ответственности протестовал против «левацких» призывов «итти немедленно с топором и рубить деревья, которые своими глубокими корнями вросли в землю и мешают выбиться... чертополоху, — только чертополоху, потому что настоящее дерево великого леса всегда найдет себе и место и простор, как бы оно ни было молодо и мало вначале!»¹

Малый театр, — или еще точнее: реалистический театр, старейшим отпрыском которого является Малый театр, — действительно оказался дубом — могучим, крепким, связанным своими корнями с матерью-землей, дубом, зеленеющим молодо и свежо. А те театры и театрики, актерские и режиссерские школы и школы, которые так назойливо провозглашали: «Смерть реализму!» и требовали «взорвать» реалистический театр, — оказались чертополохом, который давно выкорчеван плугом жизни с пыльных полей советского театра. То же, что было двадцать лет тому назад, по слову Южина, «молодо и мало», по свежо своим жизненными соками, то оказалось теперь «настоящим деревом великого леса», и никого не удивляет теперь, что наряду с многоветвистым столетним дубом (Малым театром) зеленеет стройная липа театра им. Вахтангова.

Теперь, читая приведенные и им подобные страницы, о значении и величии реалистического искусства, — хочется рукоплескать Южину еще горячее за его мужество в защите реалистического искусства, за его умную зоркость, позволившую ему видеть, что будущее в нашей стране может принадлежать

¹ Вынужденное возражение (1921). А. И. Южин-Сумбатов, стр. 245—247.

только реалистическому искусству жизненной правды и героического подвига, — в никакому другому.

3

Южин и как актер, и в книге, полно и правдиво отражающей его жизнь, много раз (и в течение многих лет) являлся в страстной роли оппонента и идейного противника Художественного театра. Южину, с его верой, что «театр — это актер, это актеры, это труппа» (стр. 120), казалось, что в Художественном театре отрицается этот «винт» всего театра (это выражение Л. Н. Толстого об актере Южине любил повторять) и заменяется тем, что у Южина обозначалось общим определением «nature morte» (мертвая природа): сложностью режиссерского замысла, картинностью постановки, богатством обстановки, красочностью декораций, обилием музыки и т. д.

Но, отстаивая свой щепкипо-мочаловский принцип первенства в театре актера, как истинного «винта» всего спектакля, Южин зорко вematривался в жизнь молодого театра с его исканиями и опытами. Всего через несколько месяцев после открытия Художественного театра Южин уже выписывает в свой «Краткий перечень главнейших событий моей жизни»: «Царь Борис» (А. Н. Толстого. — С. Д.) в бенефис Медведевой не имел успеха после «Царя Федора» в Художественном театре. У нас постановка — бездарная, обстановка — мизерная». А через восемь лет, в 1907 году, Южин подает уже директору императорских театров записку, в которой решается утверждать, что «Малый театр, в своем настоящем положении, не отвечает высоте художественных требований, что казенный Малый театр надо ликвидировать», а вместо него создать автономный театр, в котором «главные артисты императорской московской драматической труппы соединятся с главными силами Московского Художественного театра, который приобрел заслуженную и громкую известность за последние годы, в одно товарищество»¹.

Невозможно без изумления читать эту записку Южина! Так она неожиданна для него, исконного и ревностного защитника Малого театра; и столь же невозможно читать ее без глубокого уважения к тому, кто ее написал.

Южин умел любить Театр (с большой буквы) — настоящий, подлинно нужный народу театр — больше и сильнее, чем тот театр, в

котором он играл и которому отдал столько сил. Вот эта большая, подлинная любовь к театру, как к народному искусству, заставила Южина признать художественные успехи и заслуги театра-соперника и принудила его открыто объявить, что спасение для своего старого театра он видит в слиянии с этим молодым театром. Но столь же характерно для Южина, для его активной, кипучей природы и то, что всего через год-двухтора после этой записки он сам становится во главе Малого театра и не покладая рук работает для его возрождения. Начинаясь два «южинских» периода Малого театра — досоветский (1909—1917) и советский (1917—1927), когда железной энергией и пламенной любовью к театру Южину удалось вернуть публику в опустевший было Малый театр, сделать этот театр близким, желанным и родным для новой публики, для пришедшего в годы революции демократического зрителя.

Южин советских лет — уже не противник, а друг Художественного театра. «Крайности течений уже давно сгладились, края сблизились, — пишет Южин в 1921 году. — Давно уже Художественный театр отодвинул вглубь чересчур зажившуюся на сцене первых лет nature morte и выдвинул вперед живую силу — актера. Уже давно и Малый театр перестал пренебрежительно относиться к декоративно-постановочной части спектакля... И там и тут есть достижения великой высоты»¹.

А год спустя Южин был, по случаю сорокалетия его деятельности, избран почетным членом Художественного театра. Театр-новатор хотел показать этим, как он ценит самоотверженную любовь Южина к единому искусству правды и общественной мысли. Ответное письмо Южина на имя Вл. П. Немировича-Данченко принадлежит к числу наиболее примечательных и самых благородных документов в вековой истории русского театра.

«Совершенный вами великий сдвиг почти двадцать пять лет тому назад был слишком значителен и силен, чтобы те, кто стоял близко к русскому театру, могли отнестись к нему безразлично. С каждым новым сезоном вы продолжали этот сдвиг, зачастую отбрасывая и отрицая то в ваших смелых исканиях, что еще год назад утверждали как огромное достижение. Эта, если можно так сказать, всесторонняя беспощадность (хочется тут прервать Южина: не только можно, но должно так сказать, пельзя никак сказать о Художественном театре! — С. Д.) дала русскому театру необычайное расширение горизонтов, почти небывалое углубление, а вам — торже-

¹ А. И. Южин - Сумбатов, стр. 215—216.

¹ А. И. Южин - Сумбатов, стр. 251.

ственную победу и всемирное признание, но вместе с тем целые полосы таких художественных течений, которые частью или целиком шли против вашего. Так и надо, так и следует. Не маслом смазаны те колеса и рельсы, на которых и по которым катится искусство в беспощадную даль будущего».

Великолепные слова истинного художника, умеющего ценить творческие заслуги прошлого, деятельно живущего настоящим и в то же время колеблемо верящего в то, что будущему суждена такая великая доля творчества, которой не знало прошлое и еще нет в настоящем.

С прямой подлинно большого человека в искусстве и в жизни Южин делает признание: «Когда мне казалось, что вашу центробежную силу нельзя не считать угрозой большим накопленным прошлым, когда мне казалось, что ваши держания могут с корнем вырвать многое, что я считал и считаю особенно ценным и нужным театру, я прямо и открыто говорил против вас. Но мало найдете таких постоянных ваших друзей и поклонников, которые так любовно и радостно приветствовали бы вашу действительную победу — а их было много, — как я. ...Я часто ошибался в оценке явления, но если оно казалось мне верным, ярким, талантливым — будь то талант актера или драматурга, или успех целого театра, — я повстиг и искренне был счастлив. Может быть, именно это свойство и помогает мне бодро нести мои шестьдесят пять лет и во всяком случае оно дает мне я нравственное право принять от Художественного театра ту великую честь, которой он меня осчастливил».

Письмо к Непировичу-Данченко заканчивается так:

«Еще раз, мой горячо любимый друг и брат Владимир Иванович, прими и передай мой благодарный привет и совершенно искренние пожелания всему художественному составу нашего (с гордостью пишу это слово) Театра счастья, покоя, радости и успеха. Обнимаю вас всех. Почетный член Художественного театра А. Сумбатов-Южин»¹.

«Наш театр» — это устами Южина сказал Художественному театру старейший русский театр, — и сказал в эпоху, когда широчайший, истинно народный зритель сказал это реалистическому театру: наш театр.

У Южина слово не расходилось с делом — и дело часто предшествовало слову. Так было и в этом случае. Наш театр — Южин сказал Художественному театру делом раньше, чем промолвил словом.

Примерно за год до письма Южина в Худо-

жественном театре состоялся необычайный спектакль, осуществленный по мысли Южина и при полнейшем сочувствии со стороны руководителей Художественного театра К. С. Станиславского и Вл. И. Непировича-Данченко. Актеры Художественного театра показывали советскому зрителю в этот вечер «Провинциалку» Тургенева с М. П. Ляпшиной и К. С. Станиславским в главных ролях и 5-й акт из «Царя Федора» — из пьесы, которую Художественный театр начал свою славную жизнь и в которой с такой трагической простотой обнаруживает свою силу талант И. М. Москвина. Но в тот же вечер из подмостки Художественного театра взошли славнейшие артисты Малого театра и выступили в пьесах тех двух драматургов, которых имена столь прославлены искусством «Дома Шекспира» — в трагедии Шекспира и драме Островского. Величайшая из трагических артисток русского театра М. П. Ермолова выступила в образе инкини Марфы в «сцене в шатре» из «Дмитрия Самозванца и Василия Шуйского» Островского, а А. П. Южин исполнил сцену из лучшей своей шекспировской роли — из «Ричарда III».

Спектакль был дан в пользу Всероссийского театрального общества, но внутренней целью спектакля было творческое единение сторонников реалистического театра, — и цель эта была блестяще достигнута. Пред очарованным зрителем (а он состоял из актеров, из рабочих, из красноармейцев, из представителей советской интеллигенции) предстал со всей силой и правдой бессмертный образ великого реалистического театра и актера, которым доступна высота человеческой мысли, жизненного подвига и которому столь же покорна глубина человеческого страдания, как и радость бытия.

Спектакль произвел неизгладимое впечатление не только на зрителей, но и на его исполнителей. М. П. Ермолова на другой же день после выступления в Художественном театре писала Южину:

«Спасибо, дорогой Александр Иванович, спасибо вам! Я очень счастлива, что спектакль вчерашний в Художественном театре прошел блестяще! Ваша М. Ермолова».

Блестящий успех одного спектакля двух когда-то соперничавших театров больше всех радовал самого Южина: он воочию показал врагам реалистического театра, что реалистическое искусство едино и в то же время допускает множество творческих подходов к нему, указуемых одним стремлением к правде.

К таким доказательствам делом, фактом творчества, а не рассуждением о творчестве, Южин любил прибегать в своей жизни.

¹ А. И. Ю ж и н - С у м б а т о в, стр. 162 — 163.

Его — счастливица на сцене — не раз обвиняли в жадности к выигрышным ролям и в пренебрежении к тем, кто играет малые роли.

Но вот что рассказывает провинциальная актриса О. В. Арди-Светлова о спектаклях двух гастролеров — Маюнта Дальского и А. Н. Южина:

«С Дальским работать было и наслаждением и мукой. Актер, работая под его руководством, несомненно приобретал новые сценические возможности, но терял в себе достоинство человека. Все поведение Дальского и обращение с актерами сводилось в конечном счете к укреплению в них одного «полезного» убеждения, что они — ничто, муль... Придет, бывало, на репетицию в два-три часа, вместо одиннадцати, проиграв за ночь огромные деньги в карты, злясь на весь мир, — и начинается ругань. Попадает всем, от первого актера до парикмахера.

Как легко вздохнулось, когда уехало, наконец, это гениальное чудовище!

И нужно же было так случиться, чтобы сразу после Дальского приехал к нам на гастроль Александр Иванович Южин! Какой разительный контраст! Какое бережное отношение к человеку-актеру! Сам великолепный артист, Южин охотно делился с нами своим огромным техническим опытом и большой актерской культурой. Очень часто Александр Иванович заступался за актера, если его сверх меры перегружали работой. Он всегда говорил, что поражается выносливостью провинциального актера, который, ежедневно репетируя и играя в спектаклях, ухитряется в то же время выучить за два дня огромную роль.

— Вот заставь меня, — говорил Александр Иванович, — выучить этажку машину, да еще в стихах, — не сделаю, хоть убей.

Помню такой случай. Присылают мне новую для меня роль королевы из пьесы «Рюи-Блаз». Спектакль назначен через два дня. Посмотрела я в тетрадь — и ужаснулась. Стихи! И сколько их! Не одолею. Побежала к Любову (антрепренер. — С. Д.) со слезной просьбой освободить меня от непосильной работы. Александр Иванович тотчас взял меня под свою защиту и очень скоро убедил Любовь взять обратно роль и дать мне небольшую передышку»¹.

Это удивление провинциальных актеров понятно, ведь они не знали заветного убеждения Южина, в корне противоречившего всей практике дореволюционного театра:

«По своей природе театр, во всей своей совокупности, есть не что иное, как коллективный художник. Начиная с артиста и кончая последним плотником, все сли-

вается в одно лицо, в один объединенный организм, и он, этот организм, подчиняется тем же законам развития, какому подчинен и индивидуальный художник»¹.

Это убеждение Южина выказал в записке, поданной в 1917 году директору императорских театров, для которого услышать от премьеры Малого театра, что «последний плотник» участвует в «коллективном художнике» театра, было так же поразительно, как для провинциального актера увидеть, что знаменитый гастролер полон внимания к маленьким актерам и заботится об едином ансамбле.

Южин, переигравший все коронные роли европейских гастролеров-трагиков от Гамлета до Шейлока, создавал истинные шедевры в маленьких ролях.

В торжественном спектакле по случаю пятидесятилетия смерти Гоголя премьер Малого театра взял на себя роль... жандарма.

Но что это был за жандарм! В. А. Филиппов отлично сделал, что поместил снимок с Южина в этой роли.

Это был сгусток грузной грубости, зычной тупости, свойственной большим и малым слугам жандарма империи Российской — Николая I. Это было живое, — но нисколько не карикатурное, — воплощение тех «жандармов», которые конвоировали декабристов в Сибирь, убитого Пушкина — в могилу, Достоевского — на каторгу.

Один из московских профессоров, покойный П. Н. Сабулин, сказал Южину после спектакля:

— Ну, Александр Иванович, хорошо, что ваш пылкий Чацкий сел «в карету» да ускакал за границу, — не то плохо бы ему пришлось, если бы он, после 14 декабря, попал в лапы такого жандарма, какого вы сегодня нам показали.

А в «Театральном разъезде», поставленном по случаю столетия со дня рождения Гоголя, премьер и руководитель труппы Малого театра вышел «первым *comme il faut*», начинающим пеструю молву зрителей «при разъезде, на крыльце» после представления «Ревизора». Жест у него один — он в цилиндре, в ожидании бареты, натягивает лайковую перчатку на холеную руку, а пока задает вопрос другому *comme il faut* (им был незабвенный Ф. Н. Горев): «Как зовут эту молоденькую актрису?»

Второй *comme il faut* — престарелый селянон — оживленно бросает: «Нет, а очень недурна».

Но первый *comme il faut* делает полупре зрительную гримасу: «Да, недурна; но все чего-то еще нет». Он жует брезгливо губами

¹ «Русский провинциальный театр». Сборник I, М.—Л. 1937, стр. 173—174.

¹ А. Н. Южин-Сумбатов, стр. 213.

Но миг — и нет следа ни безразличности, ни полупрезрительного равнодушия.

«Да, рекомендую: новый ресторан, вчера нам подали новый свежий зеленый горох (целует концы пальцев). — Прелесть!»

Это — гастроном, это — гурман: «Зеленый горох» оказался вкуснее другого блюда — «молодежьей актрисы»: когда упоминалось об актрисе, он только невкусно пожевал губами, а при воспоминании о «прелести» гороха он расцеловал все пальцы — даже и те, что были уже в перчатке.

Чудесная по мастерству, сильнейшая по бронии, истинно гоголевская миниатюра! И — поверят ли? — в ней па миг, но очень звонко, прозвучала давняя, поистине романтическая ненависть актера-Южнина, драматурга-Сумбатова вот к таким гастрономам *comme il faut*, точно так же рассуждавшим о зеленом горохе на разезде Малого театра после первого выхода актера Южнина в «Гамлете», после первого представления «Джентльмена» Сумбатова.

Когда в 1909 году Южнин, вступив в управление Малым театром, держал речь к труппе, он потребовал от нее: «Главное, считать, что каждое представление есть первое и каждая роль в пьесе — роль главная»¹.

Он потребовал этого после того, как в гоголевском спектакле сыграл «*comme il faut*», вся роль которого выписана выше; а когда в следующий же сезон он, полномочный художественный руководитель театра, возобновлял «Марию Стюарт», он взял себе второстепенную роль Паулета, — и, право, это был совершеннейший образ во всем спектакле.

Южнин действительно умел «каждую роль» в пьесе сделать «ролью главной».

Но и играть малые роли, и заботиться об ансамбле, и работать с маленькими актерами, нарушая «величие» гастролера, Южнин мог только потому, что он свято верил в то, что театр есть не что иное, как «коллективный художник».

В этой святой вере и в деле своем, подтверждающем эту веру, Южнин необычайно близок нам, и оттого книга Сумбатова-Южнина, где эта вера и это дело раскрыты с большою силой, должна быть настольною книгою советского актера и зрителя.

4

«Театр, — писал Южнин в 1901 году, — если он не хочет утратить своего самоудовлетворяющего значения и играть служебную роль кафедры, газеты, трибуны, парламента, школы, храма, чего еще от него требуют, — должен говорить образами».

И это же самое повторял Южнин в эпоху революции (1922): «Театр кует души народа, раскрывает их потенциальные силы и возвышает их не поучениями, не научными приемами, не великим красноречием, не убежденностью ораторов, а образами»¹.

Южнин глубоко прав: искусство театра есть прежде всего искусство актера, а искусство актера есть создание образов.

Щенкин вошел в историю русского театра не тем, что высказал в письмах и записках своих ряд замечательных мыслей о творчестве актера, а тем, что создал образы Фамусова, Городничего, «скупого рыпारा».

И как ни дорог нам Южнин своими мыслями и идеями, о театре и об актере, самым мыслям этим мы благодарно внимаем лишь потому, что это — мысли того, кто создал замечательные образы Эгмонта, Ричарда III, Шейлока, Репетилова, Фигаро, Фамусова.

Факт художественного творчества — создание художественного образа — вот основа творческой биографии актера. После писателя остается книга, после живописца — картина, после композитора — партитура, и мы, говоря об их творчестве, можем просто сослаться на роман «Дворянское гнездо», на полотно «Боярыня Морозова», на партитуру «Янковой дамы»; читатель сам может найти пути творчества Тургенева, Сурикова, Чайковского, перечитав роман первого, посмотрев картину второго, прослушав оперу третьего. От актера — об этом много раз писал Южнин, — не остается такого твердого, постоянно пребывающего факта творчества: образ, созданный актером, исчезает вместе с ним, сошедшим со сцены.

Вот почему первой задачей всякой книги об актере является запечатление в сознании читателя сценических образов, созданных актером.

Сам Южнин так и понимал задачу монографии об актере. Центром его замечательной статьи об Ермоловой является не оценка ее деятельности в целом, а живое запечатление великих образов, созданных ею: Южнин оживает (или, говоря иначе: реконструирует) пред нами ее Эстрелю («Звезда Севильи»), Иоанну д'Арк, Негинну («Таланты и поклонники»), Купавинну («Волки и овцы»), Зейнаб («Пашена»). Благодаря этому оживлению образов силой творческой памяти мы, живущие в 1941 году, на несколько минут сами делаемся зрителями Ермоловой и, хоть вполглаза, видим ее Иоанну или Негинну, переставших жить на сцене с лишним сорок лет тому назад. Увидав эти образы с помощью

¹ А. И. Южнин-Сумбатов, стр. XVI и 267.

¹ А. И. Южнин-Сумбатов, стр. 123.

Южина, мы с удвоенным интересом внимаем тому, что он открывает нам об их создании, — о работе над ними великой артистки.

К сожалению, В. А. Филиппов только отчасти последовал за Южиным в этом насущнейшем деле — воссоздания образов актера Южина.

В «приложениях» к сборнику — «Сумбатов-Южин» — В. А. Филипповым дан погодный список ролей, атражных Южиным. В «приложениях» к «Опыту характеристики» приведен список ролей Южина по главнейшим драматургам.

В сборник («Южин-Сумбатов») включены В. А. Филипповым восемьдесят пять снимков Южина в разных ролях. Снимки снабжены обширными комментариями. В своем «Опыте» Филиппов также поместил восемьдесят снимков — Южин в ролях, — причем большая часть снимков не повторяет тех, что даны в сборнике.

Это прекрасно: читатель имеет благодаря этому возможность хорошо ознакомиться со зрительной, внешней стороной образов, созданных Южиным, хотя именно эта сторона (грим, мимика) никогда не была особенно сильной у Южина. Он сам в заметках для себя (1892) признавал: «Плохо гримируюсь на молодые роли... Мимика однообразна. Нет игры в глазах, есть только игра глазами... Все еще сутулюсь»¹. Во вторую половину сценической работы Южин во многом преодолел эти недостатки, но никогда не был таким виртуозом грима и мимики, какими были в его же время А. П. Ленский и К. С. Станиславский.

Как бы то ни было, для того чтобы дать читателю зрительный облик Южина в разнообразных ролях, Вл. Филиппов сделал очень много: не вспоминается ни одной книги об актере, которая давала бы столько систематизированных воспроизведений в ролях, как обе книги Филиппова.

Но с тем большей грустью приходится признать, что Филиппов уклонился в своем «Опыте характеристики» от насущнейшего дела — от опыта реконструкции по крайней мере нескольких главных образов, созданных Южиным в трагедии, драме и комедии. В «Опыте» Филиппова есть много пристальных наблюдений, тонких замечаний, верных оценок, относящихся к отдельным ролям Южина, но ни для одной его роли Филиппов не сделал того, что Южин сделал для нескольких ролей Ермоловой: не попытался превратить читателя рассуждений об исполнении Южиным той или другой роли в зрителя, смотрящего Южина в этой роли.

Казалось бы, от Вл. Филиппова, так много раз видевшего Южина в Репетилове и Фамусове, так много писавшего о нем в этих ролях, отводящего такое видное место этим гримовским ролям в творчестве Южина, — казалось бы, от автора статьи «Пять Фамусовых» и от исследователя гримовского стиля мы вправе были бы ожидать живой и правдивой реконструкции этих образов во всей их полноте. Но ни Южина-Фамусова, ни Южина-Репетилова, как больших реконструированных образов, нет в книге Филиппова. Есть только отдельные — иногда превосходные — зарисовки некоторых моментов в этих ролях. Приведу здесь одну такую зарисовку:

«Обычно — особенно за последние годы — Репетиловы говорят:

«Тапощицу держал! Да не одну!! Трех!!! Разом!!!!», а Южин произносил эти слова «в одно», легко и быстро, и чувствовалось, что Репетилов не может позволить себе хвастаться, что это одни из привычных ему и обществу фактов; сопровождая эти слова опущенными глазами и застыванием пуговицы на чертаче, мастер больше, чем кто-либо из русских актеров, оттенял «самоуважение» Репетилова и его восторг перед широтой и «либерализмом» своей природы, — взрыв хохота всего зала был ответом на эту фразочку»¹.

Вл. А. Филиппов в этом наброске зарисовывает только одну сценическую минуту, лишь один поворот Южина-Репетилова, — но как благодарен ему читатель! Ведь он на эту минуту стал зрителем: он видит, он слышит Репетилова, будто присутствует на самом спектакле. Если бы из таких зарисовок минут и поворотов сложить весь образ Репетилова, все его действование на сцене! Тогда читатель оказался бы зрителем целого образа, заполняющего собою всю середину 4-го действия «Горе от ума». По приведенному отрывку можно судить, что Вл. Филиппов мог бы это сделать. Но он уклонился от подобного воссоздания целостного образа Южина-Репетилова в действительности (как уклонился от такого воссоздания и всех других образов Южина) и ограничился для Репетилова лишь такой общей характеристикой: «Вивер и допжуан, подлинный бария и член «Английского клуба», пустомеля и болтуш, добродушный и легкомысленный, увлекающийся и глупый, но имеющий ли своих слов, ни своих мыслей. Репетилов вставал перед зрителем в исполнении Южина с ярчайшей убедительностью. И сверх того, его Репетилов обаятелен и смел, нагл и самоуверен. Роль до тожкости сделана; даже такие детали ясно доходили до зрителя: его опьянение вызвано не в меру

¹ А. П. Ю ж и н и - С у м б а т о в, стр. 9—10.

¹ Вл. Ф и л и п п о в. «Актер Южин», стр. 33.

вышитым шампанским, чем и объясняется большая, чем обычно, болтливость. Подлинная сатира не только на «заговорщика» фамусовской Москвы, но и на «либеральничашего» аристократа предреволюционной эпохи звучала отчетливо в этом образе Южина»¹.

Все это вполне верно, но это — не раскрытие образа в его действии (как раскрыт один его момент в эпизоде о «таяловцах»): эта характеристика достаточна для литературного образа, но недостаточна для образа сценического; эта характеристика, сама по себе мастерская, не превращает читателя в зрителя.

И именно потому, что Южин-Репетилов не показан в ней в живом действии, из нее выпали многие черты образа, которые непременно засияли бы яркими красками, если бы Филиппов взял на себя полную реконструкцию сценического образа.

Сколько Репетиловых, отвечая на вопрос Чацкого, где он был: «Чай в клубе?» — сколько Репетиловых заставляли зрителя не верить его словам: «В Английском». Нет, конечно, не в Английском: в Немецком, в Русском, в Приказном, — в каком угодно, только не в Английском: не та повадка, не тот склад речи, не тот жест. А у Южина было все из Английского клуба, из того самого, куда Пушкин послал скучающего Онегина:

В палате Английского клуба
(Народных заседаний проба),
Безмолвно в думу погружен,
О кашах пренья слышит он.

«Английский клуб» просуществовал в Москве до революции. Сумбатов сам врывал в нем в карты. И я знаю наверное, что оставшиеся старьяки-генералы из Английского клуба, оставив «прения о кашах», отправлялись в Малый театр посмотреть на Южина-Репетилова. Они были недовольны тем, что в нем слышалась «подлинная сатира» на их дедов из грибоедовской Москвы, но они не могли не признать: да, Репетилов-Южин был в клубе — в «Английском», ни в каком ином: «Вкус, батюшка! Отменная манера!»

С какой «отменной манерой», — барски-дилетантской манерой, — Репетилов-Южин напевал:

«А! по н л а ш ь я р м и, н о, н о, ш о».
Вот этого нет в характеристике Филиппова, а это непременно было бы в его реконструкции образа: Репетилов у Южина был отъявленный театрал. От него пахло не одним аристократическим запахом «Английского клуба», но и легкомысленным ароматом кулис, откуда он вынес серьезнейшее убеждение:

«Да! водевиль есть вещь, а прочее все гиль».

Репетилов был у Южина и драматургом, который, в «муках творчества», участвует в коллективном рождении «водевильчика».

Удивительно комичен и вместе трогательно-наивен был у Южина этот рассказ про «рождение» водевиля «вшестером». У Южина-Репетилова, в его повеселевших от Ан глаз, светилась в это время «авторская гордость»: ведь он оказывался чуть ли не собором по перу умному Чацкому, который, даже на суд Фамусова, «славно пишет, переводит».

Репетилов-«театрал», Репетилов-«писатель» слетались у Южина в один человеческий комок с Репетиловым — политическим «радикалом» («радикальные потребности тут лекарства!»), с Репетиловым — другом «почного разбойника, дуэлиста», сосланного на Камчатку! Почему знать, может быть, он был секундантом на одном из поединков этого «дуэлиста»? Почему знать, может быть, он сражался за зеленым столом вместе с «умным человеком», который «не может быть не плутом»?

Все это было в южинском Репетилове.

Какие великолепные оживленные портреты «москвичей» восставали из неумных речей Репетилова «при разезде, на крыльце»? Все эти не действующие в пьесе, но живые грибоевские персонажи — англомаг «князь Григорий», дилетант-певец «Воркулов Евдоким», «Левон и Боренька, чудесные ребята», глубокомысленный автор «Взгляда и нетто» — Удушьев Ипполит Маркелыч, найрадикальнейший говорун «Лохмотьев Алексей», — все они в речах Южина-Репетилова на секунду превращались в действующих участников трагикомедии о горе от ума, и зритель невольно начинал искать их среди гостей, разъезжавшихся с бала Фамусова.

Но — вот следствие удивительного мастерства чуткого реалиста и умного художника — в то же время верилось, что этот приятель Лохмотьева Алексея был знакомым и Василия Львовича Пушкина, и язвительного эпиграмматиста кн. П. А. Вяземского, и самого Александра Сергеевича Грибоедова.

Да, это был «подлинный барин», и барин, уже почувствовавший, что в моде не только водевиль, но и толки «о Байроне», о котором уже начал писать кн. Вяземский, и о «матерях важных», о которых уже заговорили московские любомудры из «архивных юношей».

Удивительный по полноте образ и столь совершенный художественно, что ни ранний Чацкий, ни более поздний Фамусов того же Южина не могут идти в сравнение с ним.

Но какое было бы наслаждение и поучение для читателя-зрителя, если бы В. А. Филиппов рядом с Южинным-Репетиловым дал им

¹ Вл. Ф и л и п п о в. «Актёр Южин», стр. 63.

возможность увидеть Южина-Чацкого и Южина-Фамусова. Это и был бы творческий показ художественной эволюции Южина.

К сожалению, вместо этого показа Вл. Филиппов предлагает читателю только рассуждение об этой эволюции, само по себе весьма интересное, но не дающее читателю место зрителья в театре Южина.

Не приводит Вл. Филиппов зрителя и в романтический театр Южина. Мы читаем в дневнике самого Южина о том, что Дюнуа в «Орлеанской деве» был его «первый шумный, громкий успех», а немного позже успех его в Мортимере («Мария Стюарт») был равен успеху Ермоловой в ее бенефис, а еще позже читаем о том, что «успех» в «Эрпани» был самый выдающийся из всех предшествовавших. Отзывы исполнителя подтверждаются отзывами зрителей, и читатель ищет, не может не искать, в книге Филиппова подробно, живого запечатления хотя бы одного из этих образов — и не находит: автор книги об актёре Южине предлагает ему лишь общий анализ романтических его ролей.

Вспоминается Дюнуа.

Я видел Южина в этой роли уже в поздние годы, в последние представления «Орлеанской девы», когда Южин уже отходил от романтических ролей. Но несмотря на то, что душой и сердцем, пламенем этого спектакля была Иоанна-Ермолова и опалая своим героическим искусством сердце и волю зрителей, — это сердце зрителя как-то расширялось и находило место для образа Дюнуа, создаваемого Южиным.

Я не ошибусь, если скажу, что никто на русской сцене не передавал так образ рыцаря, — действительно рыцаря, и на самом деле без страха и упрека, с открытым забралом и благородным мечом, — как Южин в роли Дюнуа.

Когда на двадцатипятилетнем юбилее Южина, среди лавровых и золотых венков, ему подали меч от Ермоловой, весь театр разразился рукоплесканиями. Это был меч рыцаря, меч героического Дюнуа, хотя на рукоятке его были изображены фигуры Дездемоны и Отелло (в этой роли Южин выступал в свой юбилей).

Этот меч героя был лучшей оценкой образа Дюнуа, сделанной величайшей из героических художников русского театра.

Удивительное дело: Южин-Дюнуа охватывал нас могучим чувством, объединял, увлекал порывом идти на врага за орлеанской востельницей, — иначе говоря, Южин оплянял нас крепчайшим и благоуханнейшим вином романтизма; а между тем я (как, вероятно, и другие зрители моей поры) помню каждый его шаг, храню в памяти каждый его жест, мог бы припомнить отдельные его интонации и,

если б обладал способностями актёра, мог б. возобновить их изустно.

Отчего это?

Не оттого ли, что Южин понимал, что «романтические глубины и красота только тогда глубоки и красивы, когда тесно связаны с живым человеком и его живым бытом».

В его Дюнуа красота образа была предельным, но ясности и силе, выраженном бурной правды его чувств и волевых движений.

Служенье муз не терпит суеты —
Прекрасное должно быть величаво.

Эти два пушкинские стиха часто бывали на устах Южина-оратора, и, кажется, они всегда сопутствовали Южину-актёру.

Если Мочалов для Южина всегда оставался художником героической красоты, то Щепкин всегда был для Южина великим стражем художественной правды в Малом театре.

Мне вспоминается рассказ, слышанный мною от покойной М. Н. Сумбатовой.

Однажды, после одного особенно удачного выступления Южина в роли Рюи-Блаза в драме В. Гюго, драматург П. Д. Боборыкин, любитель и знаток французского театра, поклонник Сарры Бернар и Мунэ-Сюлли, заметил Южину, расточая похвалы:

— Прекрасно, прекрасно! Но отчего вы боитесь большей свободы в декламации, большей напевности в речи, большей игры в жесте?

— Вы правы, — отвечал Южин, — боюсь.

— Чего жё? Цензуры?

— Нет, боюсь старика...

— Какого старика?

— А вот того, что у нас в фойе всегда не спит и за всеми нами смотрит. Как бы он не замахнулся на меня своей палкой, если я откажусь безудержу французской напевности и жестам.

Боборыкину пришлось вспомнить, что в фойе Малого театра висит писанный Решинным портрет М. С. Щепкина, во весь рост, с палкой в правой руке.

Рассказ М. Н. Сумбатовой помогает нам понять, почему Южин так горячо любил Гюго и вовсе не любил Мунэ-Сюлли, признаваемого лучшим воплощением его драм на французской сцене.

Красота, лишенная правды, превращается в красивость, лишенную красоты.

Южин отлично понимал это и в лучших из созданных им образов — каковы Дюнуа, Ричард III, Шейлок (говорю о тех, в которых пришлось его видеть) — достигал возделенного знака равенства между правдой и красотой.

Когда Южин, в своих теоретических выска-

ываниях упорно подчеркивал, что романтизм и реализм — два лица одной и той же правды о человеке, раскрываемой в искусстве, он знал это из собственного опыта актера, — все своеобразно Южина-актера было в том, что романтическое начало предохраняло его реализм от натурализма, а реалистическая основа его творчества спасала его романтизм от перерождения в холодную декламацию и откровенно декоративную позу.

Одна из последних ролей Южина — железный «протектор» английской революции Оливер Кромвель в трагедии А. В. Луначарского — тем и радовала советского зрителя, тем и влекла его к старому актеру, что Южину удалось реалистическую суровость Кромвеля слить с его пламенной любовью к родине в монолит героического борца за ее свободу.

А. В. Луначарский выражал подлинное мнение нового, советского зрителя, когда писал об Южине: «Широкий талант имеет Александр Иванович — от добродушного юмора, делающего из него незаменимого комедийного актера, до высокого пафоса, всегда сдержанного, всегда театрального — только в лучшем смысле этого слова»¹.

Эта благородная, «в лучшем смысле этого слова», театральность Южина происходила из его великой любви к театру, в творческую силу, в светлую, обновляющую силу которого он верил с детства до смерти.

Когда Октябрьская социалистическая революция дала Южину полную силу воздействия

на жизнь, Южину, которому ко времени революции уже исполнилось шестьдесят лет, нашел в себе новые силы и для актерского творчества, и для огромной работы по руководству Малым театром, и для широкой, всесторонней защиты великого принципа реализма в искусстве театра.

Когда в предверии десятой годовщины советской власти Южину предложили ответить на два вопроса анкеты, на первый вопрос: «Что сделала советская власть за 10 лет в области театра?» он отвечал:

«Для театра советская власть за эти десять лет сделала все, что возможно было сделать в условиях тигантской революционной ломки старого и строительства новой жизни, чтобы сберечь новому государству культурное наследие прошлого, дать укрепиться новым течениям русского театра и сблизить его с широкими народными массами».

На второй вопрос: «Каким должен быть советский театр?» Южин отвечал: «Талантливым и свободным».

Историк советского театра, в руках которого теперь «Труды и дни Сумбатова-Южина», может засвидетельствовать, что Южин-Сумбатов всегда, в течение всей своей жизни, желал, чтобы театр был «талантливым и свободным», а в советскую эпоху много поработал для того, чтобы «сберечь новому государству культурное наследие прошлого» — «сблизить театр с широкими народными массами».

С этой оценкой его деятельности А. И. Сумбатов-Южин навсегда войдет в историю советского театра.

¹ А. В. Луначарский. Староста Малого театра. Сб. «А. И. Южин-Сумбатов». М. 1922, стр. 10.

З. КЕДРИНА

Испытание характера

Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Пушкин

Герой стихов и проза Константина Симонова «настоящий человек» — так недаром называется первый его сборник стихов. Человек этот — «победитель», несущий в себе «мужество века, как штык простое». Это — Онцыфор Туча, яростно, до последнего дыхания обороняющий от ненавистных «псев-рыцарей» псковскую землю. Это — Александр Невский, железной рукой поднимающий Русь на борьбу с заклятым врагом («Ледовое побоище»). Это — боец испанской народной армии, это — «Орлы», красноармейские кашевары, смело и просто въезжающие со своими кухнями в самое пекло боя.

Охваченные одним стремлением — завоевать победу, добиться своей великолепной цели, люди эти упорно лезут в небеса на своих машинах («Мальчишка»), бегут из почетного заточения, на которое обрекла их мировая слава, навстречу желанной опасности («Старик»), бросаются в ледяные волны и в огонь кровавой сечи.

Презрение к смерти отличает мужественных героев Константина Симонова, и единственный страх — страх сделаться ненужным обществу, лишиться права на битву — знаком «настоящему человеку». Он даже прекрасное будущее не представляет достойным и радостным вне борьбы.

Лишь мечанин придумать мог
Мир без страстей и без тревог.
Не только к звукам арф и лир
Мы будем приучать детей.
Мир коммунизма — дерзкий мир
Больших желаний и страстей.
Где пограничные столбы —

Там встанут клены и дубы,
По звуку боевой трубы
Вновь будут звать нас для борьбы.

Перед внуками будет задача — покорить
человеку могучую природу:

Чтоб все стихии нам взнуздать,
Чтоб все окопы раскопать,
Придется холодать, страдать,
Придется жизнью рисковать.

В славной судьбе четырех панашинцев поэт видит «начало завтрашних времен, прообраз будущей борьбы». Однако для героя Симонова борьба не самоцель, — им руководит любовь к человеку, мысль о том:

Как сможет он людям теперь одолжить
Все, что пришлось коммунисту в тревожной,
В суровой жизни своей нажить. (Победитель)

Им движет горячая преданность родине, родной земле. Где бы ни сражался солдат революции, он видит над собой небо своей страны и революционное знамя отчизны.

В первых трех книгах Симонова родина предстает возвышенной, величественной, но отвлеченной. Герой первых трех книг Симонова, беспрдельно преданный родине, как-будто не видит ее в определенном укладе общественной жизни и частного быта, не видит этих уют людей — любимых и близких. В образе родины нет чувственной полноты и плещающей в искусстве жизненной конкретности.

Герою Константина Симонова в период творчества 1935—1940 годов известно одно лишь родство — родство товарищей по оружию; его отношения к людям прямолинейны